

*Наталья Кривицкая-Барабаш*

*Прольётся*

*дождь*

*зимой*

*Роман в двух частях*

Москва  
Серебряные нити  
2009

*Художникам и музыкантам,  
поэтам и просто мечтателям,  
всем, кто верит в любовь, по-  
свящается эта книга*

*На обложке изображен  
фрагмент картины Клода Моне*

**По слову Канга  
В нас есть одна  
Святая правда —  
Испей до дна.  
Есть звездность в небе,  
Но есть и в нас,  
И чтобы свет тот  
Вдруг не погас,  
Смотрите в небо  
Легко и ясно,  
Тогда и звездам  
Жить не опасно.  
Во власти света  
И звезд миров  
Одна из истин  
Нашла покров.**

Роман этот — действительно то, что могло бы случиться, да и случается с каждым из нас. Реальность и вымысел, провалы во времени и живое оно, настоящее, физически оформленное так сплелись, что нет разделения, где начинается одно, а где — другое. Все это в жизни имеет место. Так почему не побывать в самых неизведанных и разных местах мира, истории, фантазии, наконец?!

*Н.Б.*

В последнее десятилетие в русскую литературу пришла интересная самобытная писательница Наталия Барабаш. Она начала свой творческий путь со стихов, рассказов, повестей. С подлинной глубиной ее талант раскрылся в крупном прозаическом тексте — романе. Одна за другой были опубликованы ее книги «Кира Алексеевна и Кира Игоревна» (в соавторстве с дочерью), «Отступник». И вот выходит в свет новый роман Наталии Барабаш «Прольетса дождь зимой». В содержании всех произведений автора вечная нравственная проблема — проблема взаимоотношений женщины и мужчины. Она «стучит в сердце» людей разных поколений. Достаточно вспомнить «Анну Каренину» Льва Толстого. И это делает роман «Прольетса дождь зимой» притягательным, интригующим для читателей. Раскрытие этого вопроса во всех произведениях Наталии Барабаш осуществляется на основе серьезного психологического анализа, религиозной философии. Новый роман продолжает линию — философскую линию предыдущего творчества писательницы. Видение жизни автором отражается не только в «надземном», образном строе романа, но и в укрепленных в его текст стихотворных строках. Они чаще всего вкладываются в уста главной героини Ильзе в момент ее сильных эмоциональных переживаний. Стихи выступают и в качестве эпиграфа перед первой и второй частями повествования. Они как бы предваряют повороты судьбы, коллизии в жизни героини, намекают на неоднозначность ее характера, поступков. Линия жизни, внутренний мир Ильзе сложен. Автор не оправдывает ее, но, несомненно, любит свою героиню и стремится понять ее. Художественная форма — язык, сюжет, композиция книги — вполне соответствует замыслу автору и находится в полной гармонии с содержанием романа. Особенной выразительностью отличается язык произведения. Эта книга имеет все шансы дойти до ума, сердца, души читателей.

*Зиновьева Маргарита Дмитриевна,  
доктор филологических наук, профессор*

*Дождь падает сверху вниз, из промежуточных пространств в какие-то определенные части...  
Потом вы видите красивое безоблачное небо, затем в одно мгновение на нем появляется маленькое облако, оно все разрастается и разрастается так, что спустя час проливается большим дождем...*

*Карл Густав Юнг*

*...Задача поэта говорить не о действительно случившемся, но о том, что могло бы случиться, следовательно, о возможном по вероятности или по необходимости.*

*Аристотель*

**Часть первая**

**ПРИУГОТОВЛЕНИЕ**

«Probate Spiritus si ex Deo sint»  
(лат. — испытывайте духов, от Бога ли они)

Сплетаю дух в одно большое тело,  
И напрягая ум, чтоб жизнь не потускнела,  
И не зачахла узкая тропа у дома,  
Что все ведет меня от дома и до дома,  
И запинается в извилинах ненастий,  
А я все мчусь и мчусь, и вид ее прекрасен.  
Оставим острые осколки разговора,  
Вот стихнет день и мы найдем у мола  
Заброшенный давно квадратный красный мячик,  
В него легко играть, он стал почти прозрачен.  
Столетия унести округлую упругость,  
Он сдулся и обвис и превратился в глупость,  
Как этот чудный день, что поспекает к ночи,  
Как светлая метель, что счастье напророчит,  
Обрывки шорохов, шагов, воспоминаний,  
Тебя мне в этом кружеве лесном лишь не достанет,  
И не смогу я дошагать до той тропинки,  
Что притаилась, ждет, но перед ней — опилки.  
Я не могу пройти сквозь их тягучий шепот,  
И дух перевести, легко унять свой ропот,  
И бесконечно ждать, как на исходе лета  
Мы встретимся опять и будем ждать поэта.  
И он придет в свой срок, положенный и верный,  
Взимать с любви оброк, полуденный и гневный.

И вот тогда всем раздадут подарки:  
Кому — столетний мяч, кому — любви огарки...  
Соединив навек бывшее с настоящим,  
Любовь уйдет на дно, оствшись проходящей  
Кометой на пути безмолвного поэта.  
Но как его найти, коль песня не допета?

Пробираться по лесу было совсем нетрудно. Он, хотя и стоял совсем непроходимой чащей, сквозь которую и видно-то было немного, однако, Ильзе дорога давалась легко. Ей постепенно становилось даже весело, потому что она различала такие звуки и такие незначительные колебания деревьев, кустов, веток, что с сожалением думала, отчего это она не стала пианисткой, как того хотела мама. И пианино было в доме, и учиться отдавали, но все учителя в один голос заявляли, что девочка не вписывается ни в какой стандарт, учить ее трудно, пусть растет так. Да некоторые и отказывались. Была одна женщина, жившая в их же дворе, и даже стены их комнат соприкасались, так что Ильзе всегда могла слышать, как играет тетя Дина и другие будущие пианистки, которые приходили к ней заниматься. С мальчишками она не любила возиться, считала, что они редкостные хулиганы, а на вопрос, откуда взялся, к примеру, Гилельс, затруднялась ответить, пожимала плечами и говорила, что бывают же в жизни исключения. Да и то только в Москве, или еще где-то.

Что делать, учительница музыки, тетя Дина, не желала видеть в мальчиках будущих скрипачей, виолончелистов, вообще музыкантов. Она также полагала, что в городе, где это происходило, в Ташкенте, сама природа, климат, уклад жизни, наконец, не располагают к углубленным занятиям музыкой. Там была своя, совсем иная музыка: музыка необычного, слегка гортанного языка, музыка базаров, музыка особенных звуков. Когда, например, проходил за улицей Карла

Маркса поезд, его можно было слышать не только во дворе, но и в самом доме. Он сливался со звуком старого пианино у тети Дины и получалось удивительное сочетание, где уже неразличимы были поезд и инструмент.

Наверное, она была отчасти права, но лишь отчасти. Особый ритм города, его уклад, привычки не особенно загружать себя работой, жить свободно, весело, припеваючи наложили свой неповторимый отпечаток и на характеры людей, на их жизнь. Сидеть за роялем по шесть-восемь часов — ну что вы, кто ж такое выдержит?! Немного играть, быть музыкальным — это хорошо, это приветствовалось, но чтобы в городе воспитался в ту пору настоящий крупный музыкант — вряд ли? Хотя ведь все построено в жизни на таких противоречиях, что и не поймешь сразу, как должно быть, а как получается на деле и что из этого всего лучше.

Обо всем этом в который уже раз в своей жизни думала Ильзе, все еще пробираясь сквозь чащу леса. Была в ней, в молодой совсем женщине, одна странность. Открыла она ее для себя не так давно и так увлеклась причудами, которые предлагала ей судьба, что порой заигрывалась и забывала об опасностях. Она не чувствовала боли. Но это еще не все. Она наделена была и другой способностью: проходить, словно проскальзывать сквозь деревья. Никакая чаща не была ей страшна. Иногда женщине казалось, что она и родилась-то в лесу, а не в местности, в которой о лесе слышали разве что только в сказках. Эта особенность возникла неожиданно после происшествия, которое едва не стоило Ильзе жизни.

Она вот так же, как и теперь, шла по своему любимому лесу, никуда не сворачивала, не проскальзывала, как, впрочем, и всегда. И вдруг в какой-то момент увидела на тропинке лося. Тот стоял совершенно спокойно, смотрел на нее и не отходил. Было понятно, что в лес он не собирается. Тогда и Ильзе остановилась. И вдруг услышала голос. Нет, говорил, конечно, не лесной незнакомец, но кто-то, кто был совсем неподалеку

и кто, быть может, очень хотел, чтобы Ильзе подумала, будто и вправду говорит лось.

— Не туда идешь, дорогая, — сказали ей.

— Кто это?

— Как, ты и не догадываешься? Да не бойся, никто не тронет тебя. Подойди ближе.

— Куда? — Ильзе не тронулась с места.

— Сюда, иди сюда, не трусь. Ты еще порадуешься, но потом, совсем потом. Я хочу наделить тебя тем, чем обычные люди не обладают.

— Но почему? И что я такое сделала?

— Пока ничего. Но все впереди. Еще благодарна будешь. Ты помнишь тетю Дину? Так вот, привет от нее. Помнишь, она говорила, что ты не вписываешься в общие рецепты и правила? Помнишь? Я так и думала. Да и другие говорили. Ты так и не научилась играть на пианино, правда?

— Откуда вы знаете и кто вы?

— Ах, как много вопросов! Я знаю все, ну ладно, почти все. Только не надо просить, чтобы я вышла. Ты же видишь лося? Ну и ладно, этого достаточно. Так будет всегда.

— Кто вы? И что вы задумали? Почему?

— Ах, ах, опять вопросы. Потом, договорились? Не теперь. Сейчас другое. Не бойся, ты ничего не почувствуешь, но скоро окажешься совсем в другом месте. Готова?

— Нет, конечно. Я боюсь, не надо, очень прошу вас, я ничего не сделала.

— Так сделаешь. Все, разговоры в сторону.

И тут раздался хлопок, затем послышался шум веток, все завертелось, стало одним общим клубком, а потом и вовсе все исчезло. Только звон и легкий шум в ушах. Но и эти звуки постепенно ослабевали, и Ильзе уже ничего не понимала, а только каким-то особым чувством сознавала, что случилось нечто такое, что теперь перевернет всю ее жизнь. Она почувствовала странный запах. Не леса, не озера, которое было неподалеку, а совсем непривычный запах, едкий, резкий,

словно ее кто-то хлестнул прутиком и она вздрогнула. И все же никаким усилием воли она не могла открыть глаза, подняться. «Это все сон, — на короткое мгновение подумала она. — Это только во сне не слушаются ноги и нет никакой возможности побежать, преодолеть опасность, спастись». Она поняла, что все дело в этом: в спасении. Ей во что бы то ни стало нужно было спастись. Но ничего не могла для этого сделать. Просто чувствовала запах и все. Не было рук, ног. Не было тела, не было привычных ощущений, которые часто посещали ее и после работы: она вспоминала, как давала наркоз, какой попался больной, как постепенно он переходил в неведомое состояние, описанное множеством раз, но лично ею не испытанное никогда. Она — хоть и молодой, но хороший (все так говорили и она охотно в это верила) врач — анестезиолог, столько раз уводила человека в другую реальность, всякий раз напрягаясь и покрываясь бисеринками пота, и думая, что не приведи Господи, чтоб этот переход закончился трагически; и снова возвращала человеку его привычные ощущения, видела, но уже после операции, как он открывает глаза, как постепенно естественный, а не мертвенный цвет лица возвращается к нему и как вообще снова в нем просыпается человек. Это удивительное было чувство! И напряжения, и ожидания, и страха, и любви! Она властвовала над жизнью — такая мысль, гордая и не вполне зрелая, порой посещала ее, но она, как человек справедливый и честный, отгоняла ее, а та все топталась рядом и все тревожила и тревожила ее существование.

— Открывай, открывай глаза, — услышала она над собой голос и попыталась послушаться, но ничего не получилось.

— Возвращайся, пора, пора, милая, — это, кажется был голос их хирурга Константина Эдуардовича, дяди Кости, как его называли все, кроме времени, когда шла операция.

«Что это он меня зовет куда-то? Зачем? Здесь так хорошо. Хоть бы они не дозвались, лечу себе и лечу.

Бывает же такое спокойствие. Как давно-давно в Ташкенте, еще до отъезда в Москву. Еще в то время, когда все были братья и сестры и никто и не думал покидать славный, цветущий город. Даже после землетрясения, когда, как рассказывала мама, можно было уехать в любую точку Советского Союза, считанные семьи решились на такой шаг. И то, скорей всего, по необходимости, которая в любом случае сработала бы. У кого-то были где-то дети, кто-то служил, у кого-то создавалась новая семья. Но чтобы просто сбежать, от страха или — Боже упаси — от нелюбви к городу и его обитателям — нет, такого не было.

И тут она открыла глаза. На нее смотрел дядя Костя, как обычно, улыбаясь и потирая руки. Это была неизменная его привычка. Он даже когда сердился, все равно словно улыбался. Как это у него получалось, непонятно, но вот получалось же.

— Ты что же нас так пугаешь? Полетала? И что, видела что-то привлекательное? Молчи, молчи, потом расскажешь.

Ильзе внимательно смотрела на доктора, силилась что-то сказать, но слова застредали и снова, как в недавнем сне, все стопорилось и она была недвижима.

— Где я? — спросила наконец она, но дядя Костя замахал на нее руками и велел молчать.

— Потом. Сейчас ты со своими. А была — ну, это тебе виднее, где ты была. Только не забудь, что там видела, очень надо будет записать. Для докторской собираю, сама знаешь.

Ильзе вдруг обожгла мысль: если их дядя Костя говорит о том, где она была, да еще просит запомнить, стало быть, все не просто так, а много сложнее. Это означает одно: Ильзе перенесла клиническую смерть, не больше, не меньше. Но мысль сразу испарилась и снова стало легко. Но уже как-то по-другому, уже не как в Ташкенте.

Она уснула, или это наркоз делал свое дело, но все же успела подумать, что еще несколько часов и она все поймет и проснется окончательно. Снов было мно-

го, все они так или иначе повторяли недавнюю картину легкого парения и блаженства и возвращаться поэтому в реальность не очень хотелось.

Спустя некоторое время она уже вполне отчетливо отметила про себя, что способна разумно рассуждать, думать и поняла, какой именно наркоз ей дали. Непонятным оставался вопрос, что с ней случилось и как она вообще оказалась здесь. Она попыталась провести руками по своему телу, чтобы понять, все ли цело, но в последний момент раздумала, поскольку и так убедилась, что может шевелить и руками, и ногами. Значит, цела. Повернула немного голову — та тоже поддалась. Ильзе вздохнула и прислушалась теперь к сердцу: что там с ним? Но и оно вело себя вполне прилично.

«Раз я соображаю, значит, мозг цел, значит...» Дальше додумать она не успела, так как подошла Зина, их санитарочка, и вынула из-под Ильзе что-то, а что-то другое подложила. «Надо же, все все знают, все, кроме меня!» Зина очень по-доброму велела не заморачиваться и скорее начинать кушать. «Вот, попей, моя милая», — и она дала Ильзе кружку с носиком и разрешила сделать только один глоток.

— А что со мной случилось, Зина?

— Потом, милая, узнаешь. Говорят, в лесу тебя отыскал дяденька какой-то, вызвал уже в поселке скорую и почему-то сюда привезли. Наверное, мы самые близкие. Бывает же такое. А улетала ты от нас — не приведи Господи! Спасу не было, насилу выгатачили.

— Из лесу, говоришь?

— Ну да.

— А кто этот дяденька?

— Да кто ж его знает? Вызвал, сделал доброе дело и исчез.

— Он что, действительно был поблизости?

— Наверное. Телефон оставил, я и забыла. Хороший такой, работающий. Сама на него засмотрелась.

— Ты?

— А что, я еще не списанная. Не смотри так. Он кому хочешь понравился бы.

— И мне?

— А то...

Зина подмигнула Ильзе и ушла. Было тихо— тихо, как только бывает в редкие минуты в реанимации, когда все куда-то разбегаются и только отгороженные условными занавесками больные тихо лежат и думают о своих болезнях. Ильзе огляделась и поняла, что помимо нее есть еще один человек, молодой парень, лежащий через койку от нее. Он лежал с закрытыми глазами и было непонятно, в сознании он или нет. Ильзе не стала долго изучать его, а посмотрела на бутылочку, подвешенную на штативе. Жидкости оставалось еще прилично и правильно, что медсестры все припрятались в своей сестринской. «Им не сладко», — подумала Ильзе и вспомнила о Кате, светловолосой девчужке, которая работала уже лет пять, а то и больше и все говорили, какая она замечательная сестра, все умеет. «Интересно, она здесь? И сколько я-то тут? Хоть бы сказал кто». Так думала Ильзе о своем состоянии, но не очень спешила с разговорами и выяснением всех обстоятельств дела. Она из слов Зины поняла многое, остальное нужно было домысливать самой. Она вообще многие темы, которые так и напрашивались, чтобы о них поразмышлять, намеренно отводила от себя. Ей только хорошо запомнилось ощущение легкости и перемещения в какую-то иную реальность, в которую, наверное, не однажды отправляла и своих пациентов. Сейчас же ни о них, ни о подробностях лесной встречи думать не хотелось, а вот только так мирно лежать и прислушиваться к необыкновенному покою, разлитому во всем теле.

Но как бы она не отгоняла разные тревожащие мысли, одна, тем не менее, все чаще и настойчивей подступала к ней, словно прося о том, что нечего отмахиваться. И Ильзе уступила. Она, наконец, подумала об Алеше, не видела которого уже дней десять. А если учесть пребывание здесь, то и вообще неизвестно сколько. В последнюю их встречу, закончилась которая весьма печально, было сказано столько ненужных слов



обоими, что правда, думать о ней действительно не хотелось. Но мысль о его руках, необычном тембре голоса, походке все чаще и настойчивей наступала ее и было понятно: не отвертеться, лучше додумать все до конца.

Она вспомнила, как девчонкой, еще только осваивая Москву и приезжая к своей крестной тете Тамаре, она натолкнулась у нее в доме на журнал «Америка», где была помещена большая статья о Хемингуэе. И она вычитала в ней и на всю жизнь запомнила, что умный, необычный писатель сказал о проблемах жизни. Как он это сказал! Лучше не отмахиваться, не забывать, не соглашаться, что так легче, а додумать все до самой изнанки, до последней крупиночки, до дна. И станет легче.

И Ильзе захотелось, чтобы стало легче.

Алеша пришел в тот день скорее неожиданно. Она его не ждала. И с порога начал свою песню.

— Ты сколько еще будешь вести такую жизнь? И не переспрашивай, какую. Ясно и тебе и мне.

— Не кипятись, что случилось?

— Нового — ничего. Но есть процесс, есть переосмысление, есть, как в вашей вечно неработающей двери — доводка. Я на той доводке.

— Посмотри, какая зима. Ты видел? Я ночью плохо спала...

— Да, знаю...

— Ничего ты не знаешь и знать не можешь.

— Почему?

— Потому хотя бы, что спишь сам, а во-вторых, спишь без меня.

— И это тебя напрягает? Нет, ты скажи.

— Меня напрягает только твое настроение. Больше ничего. И еще луна. Сегодняшней ночью она была новорожденной, а для меня это всегда проблема. Вот и все. В жизни вообще все довольно просто. И сам человек не так уж сложно устроен. Знаешь, что удивляло древних? Думаешь, мозг, умственная работа? Нет. Работа кишечника. Видишь, какая проза.

— Проза. А ты уходишь от ответа.

— Чего ты ждешь? Какого ответа? Я не слышу вопроса.

— Я его задал.

— Ах, этот... Нет, не устала. Я живу так, как живу. И ты — тоже. Я просто вижу чуть больше, нет, неправильно, вижу с другого угла что ли.

— И что же ты видишь?

— Что ты сам не созрел для того, чтобы наблюдать, сплю я по ночам или нет. Понятно излагаю?

— Нет, непонятно. Полгода я призываю тебя изменить жизнь.

— В какую сторону?

— В мою! Неужели непонятно? В мою?

— А знаешь, ты слаб. Ты так ни разу и не сказал...

— Что, что еще я не сказал?

— Ты что так кипятишься?

— Я не слаб. Ты хочешь о чувствах? Но зачем? И так все ясно.

— Ах, как вы недалновидны, молодой старый человек. Зачем вам не менее старая сорокалетняя, ну или почти сорокалетняя женщина?

— Затем...

— Вот именно. Даже сам не знаешь.

— Знаю.

— Не уверена.

— Черт-те что. Ты за кого меня принимаешь? Сколько ждать? Ты еще родить можешь. И не сорок, а тридцать с хвостиком.

— У тебя этот вопрос не может быть актуальным, твоему Мишке уже десять. Зачем тебе еще?

— Это я знаю.

— Я тоже хочу знать.

— Узнаешь. Придет время — узнаешь.

— У меня такое чувство, Алексей, что ты почему-то суетишься. Неуверенно так суетишься. Что-то у тебя не ладится. А что, не знаю. Ты не хочешь сказать? Может, у тебя неприятности? Ты скажи, я пойму.

— Ты, наверное, уже ничего не поймешь. Я пошел. Даю тебе время... даю тебе три дня. И все!

— Все? Это удручает.

— Да, все. До свидания.

Ильзе даже не поднялась, когда за Алексеем захопнула дверь. Просто смотрела в окно и сама не заметила, как по щекам стали скатываться слезы. Она смахивала их и смотрела на зиму, которая все больше и больше забирала свои права. Она так вошла в свою роль, что напрочь отмела ненужные уже редкие пожухлые листья, столь же редкие травинки и все-все, что хоть как-то напоминало другие времена. И, наверное, она была права, в этом что-то было. Пора, ее несомненная пора наступала яростно и торжественно.

День постепенно стал стихать, и в палате тоже было по-прежнему тихо и спокойно, словно это было не лечебное учреждение, а читальный зал какой-нибудь библиотеки. Рядом вот так же мирно лежал юноша с закрытыми глазами и Ильзе решила, что как только придет снова Зина, спросит у нее, кто это и с чем лежит. Ее вновь полоснула мысль об Алексее, но она уже так пристально и подробно не перебирала детали их встречи. Что-то надломилось в ней, это было ясно и не хотелось опять возвращаться к больному. Ей и так сполна хватала боли и болезненных ощущений. Нет, ничего не болело, но только само пребывание в реанимации мало радовало, если учесть, к тому же, что она все еще не знала, что же на самом деле с ней стряслось.

Наконец пожаловала Антонина Петровна, чуть постарше нее врач, которая прекрасно оперировала и часто беседовала с Ильзе, а потом они вместе шли к троллейбусной остановке. Словом, это была та женщина, с которой можно было все обсудить.

— Ну что, дорогуша, как мы выглядим? — начала она сразу и причем не с медицинских показателей. — Думаю, вполне прилично. Ты нас так больше не пугай, пожалуйста. А то привозят нашу девочку какие-то чужие толстые дядьки, ничего толком не говорят... Нехорошо.

— Почему толстые? — засмеялась Ильзе.

— Потому, что нормальные в областной скорой работать по определению не могут. Ясно излагаю?

— Вы мне лучше другое поясните, что это со мной приключилось, то, чего не должно быть никогда? Обморок?

— Ну, знаешь, после обморока в реанимацию не попадают. По крайней мере, на моей памяти такого не было. А было вот что. Поступила ты с еле прослушивающимся пульсом, давление 70 на 40, сердце тоже не радовало. Но довольно быстро мы тебя из этого состояния вывели. Правда, быстро. А лежишь тут все еще потому что своя, не хотим рисковать. Понятно излагаю? Теперь твоя очередь поделиться, где ты была, кем, что видела, отчего плохо стало.

— Да, понятно. Но мне-то и излагать не придется: я просто ничего не знаю, не помню, не видела. Хотя вру: слышала. Слышала странный голос, который к тому же еще со мной и говорил. Рядом стоял лось. Стоял и не шевелился.

На этих словах Антонина Петровна строго глянула на лежащую перед ней женщину, поправила почему-то у ней одеяло, взяла за руку, посчитала пульс, провела по лбу рукой, по ее лбу и снова присела на край кровати.

— Ничего не понимаю. На мониторе — благодать, показатели в норме. Ты сама-то понимаешь, что говоришь?

— Естественно.

— И что ты говоришь, какой лось, что за голос?

Ильзе рассмеялась. Так залихватски, как это обычно она делала в нормальные, небольшие времена.

— Понятно, вы думаете, я ку-ку? Нет, уважаемая Антонина Петровна, я в полном здравии. Не ку-ку. — И снова расхохоталась. — Надо же, самые невероятные вещи происходят с нами почти в неправоподобном виде. Так и кажется, что это выдумка, бред, больное воображение. Не тревожьтесь, я в полном не ку-ку. И всем того же желаю. И чего вы меня тут держите? Может, меня эти, инопланетяне... того? А? От контакта остоленела? Сердце в норме? Сама вижу. — Ильзе повернулась, чтобы взглянуть на монитор. — Вот, бьется себе, как у девочки в шестом классе.

— А ты и есть шестой класс, все в следующий не перейдешь. Сколько уже говорить об этом!

— Ну, и я о том же. Отпускайте, я даю полный карт-бланш.

— Бланш в лесу, а здесь другие правила. Молчи. Лежи и не кукукай. Разберемся.

— Антонина Петровна, ну что же мне валяться, когда дел невпроворот? И плановые, и экстренные. Выписывайте. Пусть подойдет дядя Костя.

— Он-то подойдет, собирался как раз. Но все же не стоит торопиться. Видишь ли, если бы хоть что-то было понятно. А то полная ерунда. Можно сказать, беспросветная. Ты сейчас в норме, но привезли-то совсем никакую.

— Так то три года назад было.

— Не скажи. Не года, а дня. Ладно, я переговорю.

Хирург Антонина Петровна покинула комнату, снова стало тихо, как в раю, но внезапно влетела Катюша, у которой вечно какие-то дела и вечно в другом совершенно месте. Ей всегда некогда. От нее давно бы избавились, но на операциях она вела себя божественно. Быстрая, покорная, все соображающая с полунамека, она была чудом. А в обычные дни ей, видимо, было так пресно жить, что она постоянно изобретала какие-нибудь необычные дела, пробежки, встречи, отлучки. Все с этим смирились и уже перестали обращать внимание на отсутствие дисциплины у красавицы Катюши.

— Лежишь? Я так и думала. Что хочешь: кваса, пива?

— Кать...

— Что, Кать? Я двадцать семь лет — Кать, пошли яйца катать, а ничегошеньки. Понимаешь, ничегошеньки еще не случилось в моей жизни. Ты и то вот, в реанимации успела побывать...

— Спасибо.

— Да ты не сердись, я же не со зла. Значит, что-то брякнуло в твоём организме. Где-то винтик открутился. А это о чем говорит? А о том, что ты живешь. Можно сказать, переживаешь. Что ты не пустым бобылем на свете прохлаждаешься. Не то что я.

Катя запечалилась и это ей явно не шло. Ильзе обняла девушку и заключила:

— Вези меня, Катюнь, в палату, а еще лучше — вон из этого отделения и из другого тоже. Завтра — на работу. Ясно?

— Чего ж не ясно? Но как дядя Костя?

— А мы его уломаем. У нас же завтра пятница, кажется. Операционный день. Я нужна? — нужна. Ну и какие могут быть вопросы? Вопросов нет.

Катя засмеялась и Ильзе тоже. Хоть Катя и была лет на десять почти моложе доктора-анестезиолога, это не мешало ей называть ее на «ты», как, впрочем, и других тоже. Никто не обижался: такая была Катюха.

Теперь надо было поджидать дядю Костю и улаживать выписку с ним. Не идти же под расписку, неудобно как-то со своими.

Ильзе поднялась на локтях, покрутила головой и увидела окно. А главное — что там за ним. А там была зима, которая и не думала прятаться или скрываться. Она всё заграбастала под себя: и скамейки во дворе больницы, и дорожки, и козырьки крыш, да и сами крыши, все пространство вокруг. Весь воздух был пронизан зимним духом, это ощущалось даже здесь, за двойными рамами и стеклами. Но это и было великолепно: в конце концов, должна же была, наконец, прекратиться осень с ее неурядицами, выяснением отношений, обидами и недосказанностью. В зиме, по крайней мере, все было безукоризненно чисто и ясно. Вот так-то!

Ей показалось, что в ее жизни вместе с этой неведомой болезнью случилось еще что-то, названия чему она пока не подобрала. Что-то ясное и неоскверненное прежними хлопотами и неприятностями. А их у нее тоже хватало. Взять хотя бы Алексея с его прагматизмом и намерением жениться без особого, как ей казалось, чувства. Да разве один только он?! Пожалуй, самое важное, а с попаданием ее в клинику — тем более. То, что она не боялась боли, она, да и окружающие смирились, и обстоятельство это было, скорее, забав-

ным. Но вот наличие у нее опасной болезни, с проявлениями которой она боролась сама, не ставя никого в известность и не напрягая, — это, пожалуй, было постыднейшей дяди Пети, который отсутствовал уже четыре года.

Болезнь хоть и имела, конечно, название, но произносить его не хотелось, а хотелось одного: навсегда забыть о ней и мечтать, чтобы когда-нибудь случилось чудо: чтобы болезнь, как в сказке, взяла, да и исчезла. Именно поэтому она так взволнованно ощупывала свои руки-ноги, вертела головой, да и прислушивалась к сердцу. Главное — к сердцу. Дело в том, что оно, непослушное, частенько давало сбой и вело себя вообще странно. То сторонилось самой Ильзе, то держалось и впрямь особняком, то, строптивное, выходило из-под контроля и вело себя безобразно. Тогда возникла нехватка воздуха, все начинало прыгать и вертеться перед глазами и вообще становилось муторно. До терминов ли тут? Суженье устья аорты, порок, который не всякий врач-то и выслушивал. Это обстоятельство было крайне на руку самой Ильзе: это означало, что работать она могла беспрепятственно, а ежегодные диспансеризации были настолько формальными, что до сужения тут устья было кому-то?!

Так она и жила, вверяя свою тайну одному лишь существу, живому и родному, которое сейчас мается неизвестно где. Нет, она понимала, конечно, что соседка тетя Гриня, а в торжественных и официальных случаях — Гринелла Аркадьевна, имевшая ключи от квартиры Ильзе, непременно забеспокоится ее долгим отсутствием, проникнет в дом и спасет бедное животное. Но мысль о том, что это может случиться не совсем скоро, угнетала Ильзе и она снова беспокоилась.

Поэтому ее нынешние переживания имели под собой почву. За многие вещи в жизни она переживала, хотя умные врачи говорили, что нервничать нельзя и советовали ей набраться побольше пофигизма. Иногда у нее это получалось, а порой ... порой не очень. Вот как теперь примерно. Вдруг дядя Костя что-то

выведал, что будет с ее работой, что вообще ее ожидает и т.д.?

В таком примерно состоянии и застал ее хирург Константин Эдуардович, пришедший навестить Ильзе. Он молча склонился в церемонном поклоне, приложил руку к сердцу и произнес: «Милая девочка, слышал, слышал: торопитесь выздороветь. Понимаю. Сам бы не стал залеживаться. Но вот какое дело. — Он почему-то оглянулся, обвел взглядом не такое уж большое пространство вокруг них обоих и еще загадочнее сказал: «Вы не думаете же, что мои уши, хоть я не молод, плохо слышат, настолько плохо, чтобы не выслушать у вас того, что вы, вероятно, скрываете изо всех сил. Так. Во-вторых, я бы хотел знать правду: вы делаете хотя бы то, что вам изредка приписывают, или помахали своим сердечным проблемам ручкой? А в главных, я бы хотел задать вам провокационный вопрос. Можете промолчать, если желаете. Если вы захотите рожать, то придется, нравится вам это или нет, проходить два раза в год определенный курс лечения. Так? Что вы на меня так жалобно смотрите? Я же не сейчас вам буду делать бициллин. И вообще... Как вы питаетесь, что смотрите по ночам, подолгу ли засиживаетесь за чтением? Вот сколько вопросов. Можете начать с последнего — как хотите». Он посмотрел на Ильзе, которая натянула одеяло почти до носа и молча смотрела, как дядя Костя поглаживает свои знаменитые усы. Еще немного и она сама бы дотронулась до них, так они были притягательны и смешны одновременно. «Ну-с, что вы молчите? Нос откройте хотя бы».

Ильзе высунулась из-под белого накрахмаленного пододеяльника, поскольку само одеяло, как это у нее водилось всегда, уползло куда-то к ногам. Внимательно посмотрела на прекрасного большого человека, сидевшего рядом, забыла на время, что он и врач, и вдобавок — шеф и закрыла глаза. «Что такое, вам плохо?» — «Нет-нет, мне очень хорошо, даже слишком. Как это вы все разужнали? Ведь я — никому, ну абсолютно». — Она изучающе посмотрела на доктора и снова притя-

нула кусок белого полотна к самому носу. «Не пытайте меня. Это после скарлатины. Я все меры предпринимаю. В смысле безопасности. Не ем жареного и соленого. Почти. Пью только родниковую воду, а еду мне приносят птички». Она так весело засмеялась, что дядя Костя в который уже раз подивился, как это в ней, враче-анестезиологе так надолго задержался ребенок. Про птичек ему понравилось и он в тон Ильзе спросил: «А в далекие края вы с ними случаем не летаете?» — «Иногда случается, но большей частью во сне». — «Вот и славно. А диспансеризацию проходить будете у меня, ясно? На сегодня все. Завтра — домой. При условии, конечно, что пить только слабый чай, есть наши знаменитые каши, а я вам кое-что сам принесу. Все, никаких хныканий про выписку. Завтра, моя дорогая, завтра. Наберитесь терпения. Сегодня, говорят, замечательный обед, а ужин и того круче я так вижу». Про ужин, ясное дело, дядя Костя приврал, а вот на обед разрешил зайти к ним в ординаторскую.

Боже мой, как прекрасна может быть жизнь! Как она неисчерпаема и прозорлива! Все правильно: сегодня рано, зато завтра — в самый раз! И можно встать и пойти по знакомой линеечке в кабинет, где у нее есть даже свой стол, свои бумаги, свои виды на окно, которое расположено как раз напротив и ждет ее, конечно! А то, что у нее к кабинету именно линеечка — это точно. Она давно расписала свой путь до ординаторской на четыре равные отрезки. Один, самый крайний, назывался линеечкой и закруглялся перед входом в комнату. Но она упорно называла его линейкой, когда шла по коридору, преодолевая первые три.

Стало быть, обед не на подносике в койке, а полноценный в нормальной комнате, да еще и с сотрудниками. Соскучилась! Хорошо, если б все собрались. Но так бывает не часто. У кого — еще неотложные дела по обходу, у кого — родственники нагрянут, у кого — бумаг целый воз. Вот и обедают обычно человека четыре, от силы пять, не больше. Крайне редко заглядывает профессор, Игорь Тимофеевич, но это и

правда редко. Хотя он не гнушается посиделок, напротив, затворничество не в его характере. Любит коллектив, да и по своему нраву вполне доступный человек. Можно, если случается, и посоветоваться, и обсудить тактику ведения больного. Словом, коллектив в отделении сложился на редкость сплоченный, дружелюбный. Не в чести были оговоры, сплетни, разговоры за спиной. Ильзе очень ценила место своей работы, коллег и ни за что не хотела бы лишиться его. Поэтому возможное обнаружение своей болячки было для нее тягостным и мучительным размышлением: знают — не знают.

Когда она появилась на пороге ординаторской, уже вовсю шли приготовления к трапезе: суп разлит по тарелкам, хлеб нарезан, сотрудники рассаживались. Ее встретили приветственными возгласами и только что чепчики в воздух не бросали.

— Ну, держись, Ильзуша, сейчас потчевать начнем, — сказала Антонина Петровна, придвигая к ее месту тарелку. — Садись, не чужая, будь, как... нет, не скажу, чтоб как дома, но своей будь. И — с возвращением.

— Да уж, попугала и хватит. Чего в кровати маяться? — произнесла свое веское слово еще одна врач отделения, Ирина Матвеевна, тоже хирург и тоже человек замечательный.

Следующим был дядя Костя, который только хитро подмигнул Ильзе и широким жестом пригласил к столу. Ну, и сама Ильзе.

У них действительно не принято было слишком уж обсуждать и перемалывать характеры больных, особенности их поведения, поступки. Но иногда приходилось, конечно, что-то рассказать, но хорошим тоном считалось именно сдержанное отношение к их чудачествам или поведению во время операции. Здесь чтители старую школу, где не было места насмешкам и ерничеству, где должность врача и даже призвание его значили много. От этого и хотелось бежать на работу, видеть, в чем сегодня придет Ирина Матвеевна, какой еще смастерит наряд в свободное от работы время; как



поприветствует тебя дядя Костя, что и как точно выразит Антонина Петровна с неизменной своей сигаретой. Но вот опять: за обедом ни-ни, не курила, потом уж только выходила на площадку. Поэтому в комнате смрада, дыма — ничего этого не было.

Принесла второе Зина, забегала Катюша и все было по-старому: хорошо и привычно. Скорей бы разрешили приступить!

— Иля (так иной раз обращались к Ильзе, в особенности Ирина Матвеевна), что с тобой стряслось? У меня такое чувство, что ты потеряла сознание не просто так, а словно после встречи с кем-то. Говорят, там лось был? Это правда? Ты что, миленькая, лося не видела близко?

— Лося? Нет, я не его испугалась. Вы не поверите, но рядом с ним еще кто-то находился. Кто-то, кого не было видно. А потом раздался щелчок или что-то, похожее на выстрел. Наверное, после этого я и свалилась. Но не могу поверить, что от какого-то там щелчка вырубилась. Может, чудище какое показалось? — Ильзе засмеялась, все ее поддержали и добавили, что на нее это весьма похоже.

— Что похоже? — спросила она. — Страх или придулки воображения?

— А одно следует за другим. Так вровень и шествуют. То фантазия перегонит, то страх я так вижу. — Это сказал дядя Костя и всем снова сделалось легко. От того, что есть всему объяснение, от того, что их Ильзе уже может ходить и вот, даже обедать вместе с ними. Здорово, что есть такая больница и такие люди. Редкость большая, но все же...

— А знаете, мне иногда и впрямь кажется, что происходит значительно больше того, что представлено зрению. Что вообще дозволяется видеть.

— Ну, ты у нас девушка поэтического склада, романтизм души так и гуляет. Ешь лучше, — произнесла Антонина Петровна и потеряла свою сигарету. Но правил нарушать не стала, готовилась выйти в коридор.

— Может, это лось твой сквозь бурелом стал пробир-

раться, вот тебе и треск? — задал вопрос дядя Костя.

— Да нет, он и после щелчка оставался стоять. Стоял как вкопанный. А потом... потом уже я не стояла...

— Говорят, на работу собралась? Посиди денек-другой дома, а потом и выходи. Срочных вроде нет операций, а если что, Верочка заменит. Пусть осваивается, когда же еще?

Верочка была молодым специалистом только после института. Но и практику у них проходила, и с Ильзе во время операций вместе находилась. Вникала, не просто отстаивала время. Ильзе хоть и вздохнула, но согласилась еще пару дней потерпеть.

— Вот, как раз в пятницу и выйдешь. А там снова отдохнешь, придешь в себя окончательно. Идет? — Ирина Матвеевна знала, что говорит.

Ильзе не могла бесконечно сидеть в ординаторской, надо было идти в палату. Ее так и не перевели в отделение: берегли. Как же, своя все-таки. Она думала: «Неужели завтра домой? Скорей бы. Как мой Блюз там, надо бы позвонить соседке». Однако не успела она это додумать, как прибежала Катюня и сообщила, что звонила Гринелла Аркадьевна, спрашивала, где Ильзе, потом успокоилась, а потом сообщила, что с Блюзом все в порядке.

— Почему вы его Блюзом назвали?

— Он ходит как танцует. Но именно в стиле блюз. Что делать оставалось? Больше она ничего не говорила?

— Сказала только, что подъезд в тревоге и все вас ждут.

— Отлично.

Катя упорхнула так же внезапно. У нее всегда находились неотложные дела, на которые обычно пенял ей Константин Эдуардович. Вроде бы хлопочет, бегаёт, а груда дел не уменьшается, скоее, наоборот. Но ничего, это Катин характер. Зато на операции ей равных не было, это уж точно.

Ильзе легла на кровать и вдруг почувствовала легкое головокружение. Потом прибавился шум в ушах. Как же ей это не понравилось. Ну что такое, давно

ведь такого не было! Неужели сдача позиций? Нет, нет и нет! Здесь нет возможностей, но дома непременно надо налечь на овощи-фрукты, на правильный образ жизни и все такое прочее. Никаких нервов. Пробежки! Солнце! Воздух и вода! Никак иначе. С Алесеем — ни перебранок, ни увещаний, одни благостные беседы. Нет, и их не надо. Зачем? Что они дают? Работа и здоровье — все! А впереди... Да, а что там у нас впереди? Лес с его потемками и столь неясным будущим? Ну что вы, девушка, все о будущем печетесь? Бросьте, вывесите его, как проблему на веревочке за окно, все приятнее, чем в себе копаться. Ах, эти интеллигентские штучки! И все-то им, гражданам определенного толка, склада, происхождения, не ийметса, все им есть дело до таких сложностей и тонкостей, что в пору самого себя вызывать на дуэль! Все, баста, дальше хода нет, есть здоровье (отсутствие его), есть работа, есть иные радости жизни, как-то: театр с его неизменными превращениями, кино с его отсутствием таковых, выставки, ну, что там еще?! Есть, главное — есть! Значит, есть, чем жить. Завтра же Алексею — от ворот поворот. Все, до свидания, ждут дела поважнее. А в пожарном порядке обжениться — нет, даже на операции есть свой темпоритм, своя интонация, свой говор, в конце концов.

Секс? Как с ним быть? Ну и что, жили же себе амазонки, не обременяя себя этой придумкой человечества. И были здоровы, и никаких пороков. В смысле сердца. Прожить можно и так. Трудно, конечно, но можно. Компенсирует его отсутствие покоя и безмятежности. Радужное состояние и... Еще что было после «и» она не придумала, но поняла, что сильно загнула и по части секса, и по части бедных амазонок. «Ладно, там видно будет», — подытожила красивая литовская по рождению девушка. Почти подросток, но по анкетным данным — врач первой категории, врач-анестезиолог. Ее ценят в коллективе, любят, уважают. Амазонки, привет вам!

Если бы она могла признаться дяде Косте, что еще

за тайну носит с собой! Но тут ее точно уж не поймет никто. Вот и приходится одной справляться со своей же тайной. А, может, и нет ее, никакой тайны, может, этим свойством обладают и другие, правда, неизвестные ей люди? Ну что уж за невидаль такая: пройти по непроходимой чаще почти без усилий, даже не поцарапаться?! А иногда... ой, страшно сказать... иногда проскальзывать сквозь гущу деревьев и отдельно стоящие индивиды. Выходило это так беззаботно и легко, что могло показаться, будто такая невиданная привилегия отдана ей за что-то, тоже неведомое. Но за что? И вообще, бывают такие привилегии? А, может, в роду что-то такое было? Ох, и терзалась же она догадками. Поначалу. Со временем же терзания покинули ее и осталось чувство превосходства над самой собой. Что ей род с его тайнами и дарами, что вообще весь род человеческий, если именно ей подарено такое необыкновенное чудо: владеть лесом, слышать его запахи, ощущать аромат, угадывать настроение, вибрировать вместе с ним, подчинять себе и ... подчиняться самой.

Именно поэтому — она это чувствовала — она не испугалась лося, твердо знала, что не он повинен в ее обмороке, что щелчок, который она услышала, а до того — голос — принадлежали не лесу, вот что самое печальное. Обычно лес не пугал ее неожиданностями, а тут вот, на тебе.

Наконец наступило долгожданное завтра, ее отпустили и она пришла домой. Как же любила она свое жилище, включая чудный беспорядок, в котором она запросто ориентировалась и терпеть не могла прилизанного уюта. В редкие периоды наплыва усердия по части чистоты и порядка, когда прибиралась в охотку, потом становилось скучно и делалось не то что тоскливо, но одолевала настоящая депрессия: что, мол, вот в такой стерильности прикажете жить? И не надейтесь — был ее ответ, а следом колготки покидали временное пристанище, вещи летели в разные стороны и... наступал покой. В таком ее порядке — хаосе была своя привлекательность и воздушность.

Днём она решила пройтись в тот самый лес, благо он был неподалеку от ее дома. Всего-то каких-нибудь двадцать минут — и полное одиночество. Почти отсутствие граждан, запахи, которые невозможно передать, звуки, которые просто не поддаются передаче, не говоря уж об описании и... сами деревья. Что Ильзе их стволы, даже пусть и самые огромные и неохватные: пройдет да и только! Она действительно бродила по лесу, как по своим линеечкам в ординаторскую. Все ей было знакомо, многие деревья вообще сходили за старых знакомцев. Она могла прислоняться к ним, говорить, думать, обмениваться энергией, потому что только брать — это нехорошо. Сегодня как раз хотелось зайти далеко-далеко, найти что-то непривычное, познакомиться с новыми постояльцами, разузнать, что, быть может, случилось тем днем. Скорей, скорей.

Лес открылся Ильзе во всей своей безропотной доброте и сказочности. Прислонившись к стволу дуба, она довольно долго простояла, про себя расспрашивая о нем, говоря и о себе. Но — без сантиментов, просто и как со старым приятелем. Затем ветви и крона словно раздались, Ильзе свободно проскользнула сквозь них и... обомлела. Она готова была увидеть что угодно, кого угодно, но такое! На крошечном островке без деревьев, где только из-под снега виднелась трава, просачиваясь сквозь снег, как через ожерелье, на бревне весьма прозаично и совсем не сказочно сидел человек, одетый во все черное. Приглядевшись, Ильзе поняла, что перед ней монах. На нем была особенная шапочка, что-то вроде тулупа. Похож он был... на кого же он был похож? Ильзе не успела додумать это, как человек обернулся и несколько напрягся. Лицо украшала длинная борода, очень шедшая ему. Взгляд был ясным, осмысленным и совсем не походил на взгляд священника, которых она могла видеть по телевидению. Какой-то очень мужественный монах.

— Вам не холодно? — спросила она.

Человек помолчал, подобрал полы одежды и не очень охотно ответил.

— Зима на то и есть, чтобы холодно было.

Так, значит, ушел от ответа. Ну и пусть.

— Вы случайно не заблудились? — снова задала она вопрос.

И он снова ответил не сразу, а внимательно поглядел на нее и задумчиво так сказал: «Зима какая, правда?»

Ничего себе, ну всё. Все про эту зиму. Всем она покоя не дает! Что творится?! А творится красота. Такой зимы Ильзе и впрямь не могла припомнить. Она наступала хоть и настойчиво и властно, но не без деликатности и уважения к покидающей землю осени. Она знала, что делает, эта зимушка.

— Да, зима... Хорошо. Ладно, не буду вам мешать.— Ильзе сказала это неохотно и уже собиралась уйти, как голос, сильный с хрипотцой голос остановил ее.

— Погодите. Вы не боитесь? Я так и думал. Мне нужно дождаться вечера. Вот я и сижу, жду.

— Да, понятно. Но так ждать холодно. А вас я не боюсь. Может... может, пройдемся или...

— Что «или»?

— Я подумала, что, может...

— Да говорите. Вам боязно все же, я вижу.

— Нет, познакомиться, это потом хотеть еще что-то знать. А мне бы не хотелось.

— Так и не надо. Никто не неволит. И я бы не хотел.

— Ладно, идемте. Здесь недалеко. Идемте.

С этими словами два человека, только что познакомившиеся, взяли и пошли лесом, но уже не вглубь него, а все ближе и ближе к выходу. Ильзе вела незнакомца к своему дому и страшно не было совсем.

Пока шли лесом, ноги все же увязали в снегу, хотя он был свежий, живой, не какой-то там мартовский, рыхлый и мокрый. Нет, снег был настоящий, как и сама зима. Что-то в ней было в этом году такое, что поверить и смириться с тем, что придет время и она закончится, было неважно. Вот бы длилась она и длилась. Июньский душный воздух порой становился таким, что дышать просто было неважно. Все жда-



ли похолодания, свежести, а потом и мороза. И вот он наступил, самый настоящий мороз, который подарила все она, зима. Лес, в который так часто она приходила и который был исхожен ею до самой последней тропинки, до последней просеки, стоял неузнаваемый. Был он не просто величественный и неприступный, но проникла и в него некая загадка: он подбросил Ильзе столько новых ощущений, звуков, что сразу опомниться она не сумела: только глядя в него и радовалась как же ей повезло: дом, ее обычный московский дом совсем рядом от такой сказочной лесной красоты.

Она подумала еще, что до Нового года осталось совсем немного, а там придет и январь, который любила больше всего. Ей казалось, что как и он открывает начало нового, так и в ее жизни непременно должно тоже случиться это новое. Всегда, еще с детства. С тех давнишних ташкентских времен верила в это и ждала его прихода. Ну, чуть больше трех недель и все, начнется ее прелестная пора.

С ее сердечными хворями январь тоже был на редкость удачным месяцем: воздух становился таким чистым и прозрачным, таким подкупающе невинным, что хотелось крикнуть январю: продолжайся, не уходи, оставайся подольше.

Однако приближался дом и Ильзе заметила, что ее спутник идет спокойно, уверенно и это и ей придало определенной смелости. Нет, она нисколько не боялась: за столько лет работы научилась распознавать лица, что за ними: можно ли доверять человеку, даже случайно оказавшемуся в ее орбите. И этот, так неожиданно повстречавшийся человек, хоть и был странного довольно вида, и заметно напряжен, но что-то выдавало в нем нормального, даже вполне симпатичного дядечку. Не было в нем угрюмости, хмурости, как может быть, должно было быть свойственно лицу его сана. Более того, по тому, как он держался, как замечал проявления природы, которые тонко улавливала и сама Ильзе, было понятно, что не заскоружило его сердце в

том месте, откуда он шел. А, кстати, откуда? Но не спросишь же вот так, в лоб! Придет момент, все проявится. Не с топорищем же он, в конце концов.

Когда вошли в коридор, новый знакомый отряхнул телогрейку, снял ее, а затем и сапоги. Это очень смутило Ильзе, однако проделал он все это так запросто, что не оставалось и повода, чтобы попенять ему. За что, в самом деле? Она пригласила его пройти в комнату, сказала, чтоб располагался, не чувствовал стеснения, а она поставит чай.

— Вы хлопочите, а я без дела сидеть не привык. Может, где мужскую руку приложить надо? Вы не тушуйтесь. Я многое могу, тем более вижу, нет у вас тут мужского духа. Все сплошь женским теплом окутано.

— Нет, ничего не надо. Отогревайтесь и будем ужинать.

Ильзе пыгалась сосредоточиться на кухне, резала, сортировала, раскладывала нехитрый свой провиант по тарелкам, а сама напряженно думала, что это за человек и что он делал в такую пору в лесу. Кто он? И решила, что все свои «почему» задаст ему самому. Она вошла в комнату и увидела, как лесной человек рассматривает книгу, которую она купила совсем недавно, прямо перед больницей и еще сама не успела почитать. Книга называлась «Камень и небо» и автор ее был знаменитый философ со странным именем Ортега — и — Гассет. Но другую вещь его она уже читала, ей понравилось и вот, решила купить. Мужчина внимательно читал какую-то страницу и так погрузился в чтение, что не обратил внимание, когда Ильзе вошла. Он вообще производил впечатление очень сосредоточенно думающего человека. Даже там, в лесу, где на него и наткнулась Ильзе.

— А как ваше имя? — спросила она первое, что пришло в голову.

Он оторвался от чтения, глянул острым своим взглядом на женщину, помолчал и ответил:

— Мое мирское имя Емельян.

— Понятно. А меня зовут Ильзе.

— И шел я из очень далеких мест, сел, видите ли, передохнуть. Понимал, что город уже где-то совсем рядом, вот и собирался с духом.

— А вы что же, откуда-то сбежали?

Ильзе осеклась, поняв неуместность такого слова, но мужчина ее понял и подтвердил:

— Сбежал — не совсем так, но вот ушел, покинул по своей воле правильно будет.

— А зачем?

Человек в странной одежде отложил книгу, откинулся на кресле, снова посмотрел в окно и нагнулся к коту, который подошел достаточно близко, но так, чтобы его не достать было рукой. Так они и смотрели друг на друга, не прикасаясь и не приближаясь. Блюз обнюхал незнакомца, но тоже довольно деликатно, несколько сохраняя дистанцию, мяукнул и с достоинством отошел от пришедшего. Сел в углу и больше не шелохнулся. Просто сидел и наблюдал.

Мужчина тоже не особенно был оживлен, но все же высказал свое наблюдение:

— Зима в этот год ведет себя так, словно собралась царить вечно, не дожидаясь ни весны, ничего другого. Так и властвует.

— Идемте перекусим.

Человек поднялся, оправил одежду и двинулся вслед за Ильзе. Было понятно, что он не только продрог, но и что ему не вполне уютно. Он не произносил обычных дежурных фраз про убранство жилища, про его уютность и оригинальность, он был сосредоточен на какой-то, ему одному понятной мысли. То, что предложил мужскую помощь, тоже не было кокетством, он так подумал, он так решил. Но ей ничего не надо было, а если что и требовалось, то только не теперь и не с ним. Он спокойно переломил кусок хлеба и стал жевать его, запивая чаем. Делал он это органично и не стесняясь. Вообще он был весь какой-то правдашный и настоящий. Ильзе тоже относилась к робкому десятку, но, однако, на секунду зажмурилась: что это она делает? И только его спокойствие и даже достоин-

ство понемногу успокоили ее и говорить, расспрашивать его очень захотелось. Только было понятно, что так легко он на праздные вопросы отвечать не станет.

— Вы можете ничего о себе не рассказывать, не волнуйтесь, я и так многое вижу.

— Что же вы увидели, поделитесь.

— Ну, увидела.

— Не прячьтесь, говорите.

— Да что говорить? Вы шли, наверное, к какой-то важной цели. Не просто убежали, покидали что-то. Но там вам явно было не по себе. Вы ушли сознательно.

Мужчина с редким именем Емельян помолчал, затем кивнул и проговорил:

— Да, это так. Сознательно. Я вообще предпочитаю поступать в жизни именно так.

— А что было не так? Что плохо?

— Ох, матушка, куда вы?! Это разговор на целую жизнь. Философский разговор. Как человек сперва делает что-то, рассчитывает на что-то, потом разочаровывается, раскаивается даже? Бывало, наверное?

Ильзе тоже помедлила, не хотелось вот так, бегом, в спешке соглашаться и торопить слова.

— Я, наверное, знаю меньше вашего. Но...бывало, как иначе.

Помолчали. Мужчина сосредоточенно о чем-то думал. Затем посмотрел вокруг себя и задал вопрос.

— Вы вот одна... А не страшно?

— Как страшно? Чего мне бояться?

— А чего люди более всего бояться? — самой жизни. Ничего, ладите с ней? — Он впервые улыбнулся и сильно сжал руки. Ильзе уже успела заметить, что временами он сжимал ладони, несколько потирал их в преддверии какого-то важного слова, мысли.

— Я, знаете ли, на своей работе такое вижу и с таким сталкиваюсь, что боюсь не жизни, а как раз обратного.

— Да и ее не стоит бояться. Это тем, кто остается, тяжело, а сама смерть — что ж, так надо. Мгновение — страха не успевает человек ощутить. Если, конечно, это процесс естественный.

— Вы что же, ничего не боитесь?  
— Я боюсь одного — несвободы.  
— Оттого и ушли?  
— Да.  
— А зачем же оказались там?  
— Вы разве не заблуждаетесь? Полагал, там и есть она, подлинная свобода.  
— А где она на самом деле?  
— А на самом... в душе она, вот где. Где ей еще быть?! Можно быть свободным и в заточении, и быть скованным путами в самом что ни на есть роскошестве. Свобода — это вообще вещь тонкая и трудно ее объяснить. Только ощутить возможно. Но там, где я был, стало тесно, понял, могу иначе. Проявиться иначе.  
— Вы — бунтарь.  
— Что, заметно?  
— Видно, да.  
— Если уж о свободе заговорили, то она где-то рядом с добром и злом, по границе проходит. Это вечное противостояние и вечная великая битва добра и зла. И что перевесит и когда — не предугадаешь. Но стремиться к этому стоит.  
— Вы, наверное, грозный человек? И имя у вас сильное такое.  
— Может быть. Но, пожалуй...  
— Нет, побудьте еще. А куда вы пойдете? Да и есть ли конкретное место, где вас ожидают?  
Человек усмехнулся, даже и повторил «ожидают», а потом снова потер свои большие ладони.  
— Может, и не ожидают, и даже не догадываются, что прибуду, но идти надо. Время. Благодарю вас.  
— Что же, вот так и уйдете уже?  
— Пора. Спасибо. Телефонов у меня нет, но вас я запомнил. Прощаюсь.  
С этими словами мужчина направился к выходу, надел свою обувь, куртку, напоминающую телогрейку, склонился в поклоне и открыл дверь.  
Легкий гулкий стук и все, Ильзе снова осталась одна. Никого, только дорогой Блюз молча сидел и вни-

кал, как хозяйка принимала гостя и был тоже рад, что к ним кто-то пожаловал. И снова одни. Что же делать? Так, стало быть, надо.

Она подошла к окну и вновь посмотрела, как хозяйка этого времени года ловко управляется со своими владениями. Нет, правда, что-то было в этом ее стремлении завоевать и подчинить все вокруг. Было такое ощущение, что зима почему-то очень торопилась сделать все так, обустроить таким образом, чтобы осень, ее теперь уже жалкие и редкие напоминания стали бы необратимыми. Бывало, что снег только в декабре и выпадал, а тут сыпет и сыпет. Все равно, что середина января. Обычно ко дню своего дня рождения, к 25 января, Ильзе настолько свыкалась с мыслью, что зима пробудет еще долго-долго, что теперь, когда до праздника оставался почти целый месяц, ей казалось, что зима длится целую вечность. Незаметно минули все ноябрьские дни с днем рождения Алексея в самой его середине, а потом и принялась управляться с погодой зимушка. Просто неистовала, иного не скажешь. Но была в этой ее агрессивной наступательности все-таки толика женственности: развешивала она свои узоры прихотливо и затейливо, изящно напоминая, кто здесь главный. Кто главный во всем огромном доме природы.

Ильзе убрала со стола, не стала включать нелюбимый ею телевизор и только забралась с ногами на диван, открыла своего Ортегу-и-Гассета, но строчки стали наползать одна на другую и женщина уснула прямо так, не разбирая постель, едва накрывшись пледом.

А наутро проснулась бодрая и не заметившая никаких признаков недавней болезни. Проходя на кухню, она заметила, что на полу что-то лежит. Подняла и удивилась еще больше: это был шарф ее недавнего нового знакомого, который забыл его, уходя. Подняв его, она поднесла его к лицу и ощутила незнакомый аромат. Мужской и жгучий. И пах он, надо сказать, совсем не измученным долгой дорогой мужиком, а чем-то светло-сиреневым и пушистым. Ильзе отложила

находку и стала собираться на работу. Сегодня был операционный день и стоило подготовиться как следует: хорошо выглядеть, хорошо поесть, хорошо себя чувствовать. Все это было при ней и она вышла из дома.

На улице ей захотелось поздороваться с природой, с ее неожиданной всесильностью. Она улыбнулась своим мыслям и отправилась на трамвайную остановку, чтобы потом уже на метро, а затем и на троллейбусе добираться до своей работы.

В транспорте она в который раз вспомнила щелчок, который услышала в лесу и после которого уже не помнила ничего и решила, что все же надо было бы отыскать того человека, который фактически спас ее. Но что это был за голос? Не привиделось ли ей, в самом деле, нечто такое, что повергло в самый настоящий шок? Но ведь никогда ничего подобного не случилось и думать о наваждении и мистике совсем не хотелось. Только неведомых голосов ей не хватало. Нет уж, это был отчетливо звучащий голос, принадлежащий, скорее всего, женщине в возрасте. Не пришельцу же, в самом деле. Ладно, стоит еще походить на то место и припомнить все еще и еще раз. А, может, и встретиться с кем-то, кто окажется уже знакомым.

На работе царили привычные упорядоченные, понятные только посвященным, суета и погруженность в проблемы, которые были где-то общими, где-то совсем-совсем частными. Ее встретили доброжелательно и не намекали ни на болезнь, ни на отсутствие цветущего вида. Здоровались, приветствовали, ободряли. Словом, все, как обычно, как всегда.

Еще накануне она успела поговорить с женщиной, которого должны были оперировать, но и сегодня заглянула к нему. В истории болезни значилось: Кузнецов Степан Борисович, 52 года, слесарь. Камни в желчном пузыре. Не переносит пенициллин. Еще разные сведения, но самое важное заключалось в том, как он относится к предстоящей операции, волнуется ли? Будет ли? Словом, настрой всегда был для Ильзе очень важен. Вот и теперь она шла к палате, понимая, что от

разговора с ней что-то может поменяться. И это что-то очень зависело от нее.

Мужчина лежал, подогнув под голову руку и смотрел прямо перед собой. Она немного помедлила, затем подошла и спросила:

— Как настроение, Степан Борисович? О чем задумались?

— Да вот, думаю себе.

— О чем же? О предстоящем?

— Да не совсем. Осталась у меня работа там, ну... Вот я и соображаю, как бы к сроку успеть. Придумал кое-что. Да не знаю, все ли получится. Должно вроде бы.

— А что вас смущает? Ход операции, само выздоровление? Что именно?

— Да что операция? Я же ничего и знать-то не буду. А потом, думаю, откачаете. Скорей бы домой — вот что я думаю.

Ильзе измерила давление, послушала пульс, просто всмотрелась в лицо человека, который находился в ожидании и заметила:

— Да, операцию вы не услышите, это вы точно говорите, а вот настрой, он очень важен. И хорошо, что думаете про «потом». Именно про то, что будет после, уже по выздоровлении. Знаете, как говорят психологи? Следующий год станет для меня годом совершенствования и успеха. Видите, какой важный смысл? — следующий год. Стало быть, он будет, он должен быть! И у вас он будет. И день, и год, и все остальное. Увидимся, держитесь.

Она вышла, пошла по коридору мимо огромных, еще до войны выстроенных стен и окон и снова стало что-то поскрипывать от чудесного, нахлынувшего восторга и изумления перед красавицей-зимой. Действительно, все будет: и этот год, и множество других, главное — силы, в которые надо верить и плюнуть на разные там заморочки, послать навсегда Алексея и вообще... Вообще поехать отдыхать. Например, на Кипр. Как же надо поехать именно на Кипр, где люди улыбаются

постоянно, неизвестно, когда работают и где вечный рай на земле зовет и манит.

Она подготовилась, одела необходимое снаряжение и вошла в операционную. Сталь, свет — все сверкало и призывало к действию. Она и начала их. Отдавала команды, вслушивалась в дыхание Игоря Борисовича и понимала, что все идет, как говаривал их сосед по старой квартире, своим чередом. Как же она злилась на этого дяденьку, который к месту и без все повторял и повторял это «своим чередом». Но прошли годы и она стала понимать, что в этих простых словах кроется что-то притягательное, по крайней мере, настраивает на спокойный и уверенный лад.

Операция подходила почти к концу, когда Ильзе показалось, что она видит нечто такое, чего не могут, просто не должны видеть остальные. Она увидела, как тело больного, оставаясь, впрочем, лежать на столе, как-то так слегка шевельнулось, издало даже какой-то звук, затем из него отделился маленький воздушный пучок и полетел наверх, к самому потолку. Там он завис, но постепенно стал превращаться из эфемерного, безжизненного снопа воздуха в нечто совсем оформленное, постепенно становившееся человеческой фигурой. Она преспокойно висела в самом дальнем углу операционной и не думала никуда улетать. Это было очевидно по спокойному поведению фигуры, по четкости очертаний форм, которые проступали все зримее и отчетливей.

Ильзе оглянулась, посмотрела быстро на находящихся в комнате, надеясь и по их лицам обнаружить, что и они видят то же самое, но ничего подобного не заметила и только вся задрожала. Нет, ей уже не раз приходилось попадать в самые невероятные истории, из которых она возвращалась едва живой, но вот чтобы такое!..

Она некстати вспомнила свою тетушку Элю и ее сестру с сыном Юкой. Они приехали из Литвы в предвоенные годы в Ташкент. Там осели. Успели выйти замуж и разойтись, но так и не вернулись к себе на

родину: полюбили чудный теплый город. Работали где-то на заводе, а подрабатывали тем, что занимались готовкой и постирушками многим во дворе, где жила родня Ильзе: мама, отец и старшая сестра.

Так вот, однажды тетя Эля, вернувшись со своего завода, сказала, что у них произошло ЧП. Что такое ЧП, девочка тогда не знала, но догадалась, что это что-то не совсем хорошее. Так и было. Тетушка рассказала, как в огромную машину по выпуску стальных формочек попала рука рабочего. Его увезли в больницу, стали делать операцию, а он во время наркоза, когда все нормальные больные спят, взял и заговорил. Может, наркоза ему мало дали? Но он говорил, что видит себя и как все происходит. И что кто делает и даже сделал одному доктору замечание, что тот был невнимателен и все смотрел по большей части в окно. Все тогда обсуждали этот случай, о нем стало известно чуть ли не во всем городе, и все не могли понять, что же именно случилось: на самом деле человек видел себя со стороны, был ли это бред, который возникает на фоне морфия, наркоза, еще каких-то вмешательств или чего похуже...

Так до конца эту ситуацию прояснить не удалось, рабочий поправился, вышел на работу, к нему даже приходила корреспондент местной газеты. Но в ту пору подобные вещи не приветствовались, общество растило себя аскетичным и неверящим ни во что, кроме комсомольских и партийных идей, и никому не могло прийти в голову, что подобное действительно возможно. Но слухи ходили, и даже в такое время хотелось чудес и сказок: вот и судачили, почти веря в то, что такое реально могло случиться.

Ильзе стояла, онемев, и, наверное, не на первую попытку хирурга откликнулась, когда тот сказал, что все, можно отключаться. И женщина подумала, как же так, а человек? Успеет он вернуться к самому себе? Но всем, видно, было не до сказок, кто-то заканчивал зашивать, кто-то отодвигал уже ненужную аппаратуру, но неожиданно раздался голос Константина Эдуардовича, ко-



торый сказал, как всегда своим прекрасным баритоном: «Господа, а не спешим ли мы? Гляньте, что такое творится!» — и указал на монитор, где в это мгновение совершалось некое нереальное действие: странное подобие человеческого тела, уменьшающееся прямо на глазах, перейдя в несколько мгновений в иное состояние, в бесформенную воздушную массу, похожую на колышущийся гриб, преспокойно возвращалось к человеку, лежащему на столе. Те, кто успел заметить это движение, замерли, оглушенные и онемевшие, никто не произносил ни слова, не суетился и только когда изображение на экране исчезло, люди в зеленых халатах засуетились, включили заново монитор, стали нажимать на все кнопки подряд, но ничего не возникло, не появилось, а экран был девственно чист. Все, сказка кончилась и только Ильзе показалось, что оперируемый как-то облегченно вздохнул и на лице его возникло некое подобие светло-розового окраса, то есть лицо из мертвенно-белого стало живым и осмысленным.

«Нет вы видели?» — вымолвила наконец Зина, которой и по статусу положено было удивляться и много разговаривать (она была санитаркой, которая вошла уже под самый конец операции). «Кто это? Скажите же, пожалуйста», — жалобно протянула она, но никто не откликнулся, всем было почему-то неловко говорить на тему, далекую от настоящей науки, но и очевидно, что происшедшее не ускользнуло от глаз докторов. Кто-то нарочито громко заговорил, кто-то стал стягивать перчатки и поздравлять друг друга с последней на сегодняшний день операцией, а кто-то, и этот кто-то был снова Константин Эдуардович, дядя Костя, как звали его сослуживцы, молча подошел к умывальнику и, уже умываясь, сказал, что нечто подобное случалось с ним лет пятнадцать назад, но чтобы еще и на мониторе зафиксировано было!... Он тянул слова на армянский манер, как это распевно делают люди этой национальности, хотя прожил в Москве почти тридцать лет, и было понятно, что весь таинственный смысл происшедшего понимается им глубже, чем кем-либо другим. Но

он больше не произнес ни слова и, вымыв руки, вышел из помещения.

Ильзе выходила последней. Выходила вопреки всем предписанным правилам и привычному раскладу вещей. Уже увезли больного в реанимацию, уже стали мыть операционную, а она все медлила и снова и снова глядела в тот угол комнаты, где еще совсем недавно видела там то, что разумному объяснению не поддается.

Но все же время вышло совсем и необходимо было идти в ординаторскую, заполнять необходимые бумаги, а потом и вовсе собираться домой. Подумала об этом Ильзе без особой радости, потому что... Ну, что там дом? Что ее там ожидало, кроме прибранной кое-как квартиры? Ничего! Только дорогой кот по имени Блюз, только он один ждал свою любимую хозяйку со всех ее дежурств, командировок и просто прогулок. Он ждал ее всегда и предан ей был невероятно. Поэтому было большим хлопотным делом отдавать его Генриетте, которая хоть и нежила его, но он все же ворчал и был страшно недоволен отсутствием хозяйки. Разве вообще могла она позволить себе обычную нормальную жизнь? Он был всем — привязанностью, заботой, дитем. Ильзе на секундочку вспомнила, что не совсем случайно выбрала себе именно такую медицинскую профессию. Не просто врача, но спасателя, человека, который уводит, а затем возвращает в реальность человека. И еще она подумала, что сегодняшнее событие тоже не случайно, а как-то связано или впоследствии будет связано с тем, что произошло с ней самой. Просто так ведь ничего не бывает, правда?

Тут женщина-анестезиолог задумалась и ее посетила мысль. Надо сказать, не лишенная здравого смысла. Не просто так она выбрала себе не вполне обычную жизнь, оправдав ее именно особенностями профессии. Но та, другая, реальная вполне наступала обычно после возвращения домой и этим отчасти объяснялось то, что не было семьи, не было того уклада жизни, который в привычном раскладе уготовлен каж-

дому человеку. «Да полно, человек ли я в самом деле? Может, эльф какой?» Верить в эльфов не хотелось, даже слегка боязно было, но приходилось соглашаться, что нормальное, как для всех граждан существование, для нее невозможно. «Ну и что? Что такого? Зато я могу позволить себе многое другое. Например, увидеть то, что было только сейчас. Другим, нормальным, этого не дано».

Этим она вполне успокоила себя и отправилась привычным путем к троллейбусной остановке, чтобы добраться до Октябрьской площади, а там по прямой на метро до своей станции. Путь не близкий, но он ее никогда не утомлял. Напротив, можно было успокоиться, все припомнить, что было за день, все перебрать и подумать, что дальше.

Она решила, что было бы в самый раз отправиться сегодня в лес и успокоиться от первого после случившегося рабочего дня.

Зима, ее любимая зима, наступила, как это обычно и водится, совершенно неожиданно. Сразу образовался лед, все улицы были залеплены белым цветом, который особенно смотрелся на еще не готовых к такому нашествию снега деревьях. Они и впрямь стояли такие, словно их кто-то специально нарядил и только ждал, когда настанет праздник, чтобы развесить елочные игрушки и запеть знаменитую песенку. Правда, и в детстве ее пели, и сейчас в компаниях возвращаются только к ней. Что в ней такого особенного? «В лесу родилась елочка, в лесу она росла»... Все дело в том, по-видимому, что елочка, превращения ее жизни ассоциировались с живым существом и оттого ее история, немного грустная и трогательная, становилась особенно притягательной и волнующей.

«В лесу она росла...». Эти слова почему-то всегда тревожили ее и становилось едва ли не грустно от того, что какое-то чудесное деревце выросло не где-то в парке или в другом ухоженном месте, а просто в лесу. И эти строки побудили сложить уже свои, не менее печальные.

И сыплет снег в лихую полночь,  
Замедли бег, приди на помощь,  
Скажи два нежных тихих слова,  
Чтобы поверила я снова,

Что наш весенний дивный праздник  
Все ждет и манит нас, проказник,  
И все торопится спустится  
С высоких гор, чтоб насладиться

Вином из чаши потускневшей,  
Чтоб стать совсем помолодевшим,  
А нам, забывшим дни и даты,  
Смеясь, не требовать расплаты.

Ах, как тревожно ожиданье,  
Моей души святое знанье,  
Как невозможно промедленья  
Шальных часов, открывших зренью,

Что все на свете отзовется,  
И голос вещей донесется,  
И мир предстанет ярко-синим,  
Все сыплет снег, синее иней.

Вот так сочиняла Ильзе и понимала, что все это так, детские забавы, однако, остановиться не могла и верила, что когда-нибудь напишет что-то по-настоящему стоящее.

Когда дома Ильзе попила непременно свой чай, посидела с любимым Блюзом на диване, оглядела единственную комнату и в который раз подумала, что пора бы прибраться как следует, наступил тот самый час, когда не только сумерки, но и намек на то, что можно что-то увидеть, давно рассеялся, и Ильзе подумала: «Пора».

Она набросила любимый розовый шарфик и, не смотря на мороз и падающий снег, не стала заворачиваться в шубу, так как твердо знала, что туда, куда она собирается, где ей предстоит оказаться, холодно не будет. Скорей, наоборот. Она еще раз взглянула на свое одиноко брошенное жилище, даже пожалела его, что стоит оно себе и стоит, неприкаянное, и ... вышла в лес.

Зима туда пришла значительно раньше, чем в город, и на это стоило посмотреть. Она пошла привычной своей дорожкой, которая уводила все глубже и дальше, но страха никакого не испытывала, скорее, напротив, ожидала, была готова к неожиданностям. И они не заставили себя долго ждать.

Подойдя к своему любимому дереву, она взглянула на верхушку и, как это обычно и делала, легко взобралась на него. Довольно высоко находилась распорка, похожая на рогатину, в которую обычно и усаживалась Ильзе. И так сидела и наблюдала, что делается вокруг, как ведут себя ели и другие пушистые кусты, деревья, как перешептываются между собой, кто изредка проходит по просеке. Потому что там, где находилась она, никто и не мог пройти, так как место было совсем непроходимым. Но только не для нее. В лесу, в этом загадочном месте, ей было подвластно все. Она способна была различать самые необычные звуки, принадлежали которые то птицам, то пробирающейся лисичке, то лосю. Тем более ей было странно, что тот голос она не сумела отличить и только хорошо запомнила тембр, саму интонацию.

Так она и сидела и холодно не было нисколько. Спасала теплая старая куртка на настоящем пуху, рукавицы, а розовый шарфик был так, просто данью уважения к лесу. И тут она услышала. Снова услышала тот голос. Ильзе вся выгнулась, напряглась и стремилась не пропустить ни одного слова, ни одной шероховатости, какой-то приметной зацепочки.

— Оправилась? Это хорошо. Сиди, сиди, не бойся.

— Скажите, кто вы? В прошлый раз ведь тоже были вы.

— Я. Но не я тебе принесла боль. Так совпало. Тот щелчок был выстрелом, да нет, не в тебя, конечно, но в такой тишине любой дар речи потеряет. Ты и не выдержала. А я — нет, я только поговорить хочу.

— Вы человек? Или кто?

— Трудно теперь уже сказать, кто. Может, фея, может, эльф. Ты же любишь сказки. Вот, считай, я — оттуда.

— Но в каждой сказке что-то происходит, куда-то все клонится. А у вас?

— И у нас, ты права. Я только одно маленькое напутствие: не пройди мимо того человека. Больше ничего не скажу.

— Но, может, скажете, кто он и откуда?

— Позже узнаешь. Его нельзя обидеть.

— А разве другого можно?

— И другого нежелательно. Но есть люди как люди, а есть не совсем обычные. И ты, и он — вы оттуда.

— Неужели нельзя на вас взглянуть?

— А что это даст?

— Ну, как же! Видеть лицо, взгляд... Разве этого мало?

— Ты увидишь меня, я обещаю, но не сегодня. Сейчас тебе неплохо было бы разобраться с собственной душой. Кто ты, с кем, что в жизни хочешь?

— Но это обычные для каждого вопросы.

— Для тебя они теперь особенно острые. Постарайся их хотя бы поставить. Ответы, может быть, и не самое главное.

— Да-а... Не знаю, просто не знаю. Можно, я спрошу?

— Конечно.

— Алексей меня любит? И правда хочет быть со мной?

— Неужели у тебя самой нет ответа на это? Да ты в том разговоре с ним, пожалуй, и ответила. Если бы любил... Ты вот давно-давно любила, еще в том горо-



де. Тоскуешь по нему? Но тот человек, как водится, любил то ли себя больше всего, то ли потом уже дру- гую... Трудно сказать. Но ты-то правда любила. И что лучше? Самой или когда тебя любят? Да что спраши- вать, и так ясно.

— А мне не всегда ясно. Я живу-живу, хожу на рабо- ту, встречаюсь с мужчиной, а покоя на душе нет. Что- то все точит и точит. Почти ничего не спасает. Иногда думаю о конце, сердце ведь вон какое. И не знаю, как применить себя, как сделать, чтоб радостно жить было? Нет, не знаю.

— Ходишь сюда — это хорошо. Спасает? И не бойся, приходи.

— А, может, вас вовсе и нет. И я со своим вторым Я говорю?

— Все может быть. Главное, чтобы знать...

— Что, что знать?

Но голос неожиданно испарился, исчез и Ильзе по- няла, что опять осталась одна, никого рядом. Да и не привиделось ли это все ей? Может, душевные разбор- ки были так остры, что и показалось, будто слушает кто-то, да еще и отвечает, и вопросы задает? Когда же уйдет детство и придет полноценное, взрослое понима- ние жизни? Сколько можно сидеть в пятом классе, как говорила мама, как потом подобное говорили многие? Что это, инфантилизм души? Но как же остальное в жизни? Всего сама добилась, выстроила все: отноше- ния на работе, профессию выносила, не просто на ра- боту приход-уход, а с охотой... И все же что-то не так. В доме, в большом душевном доме нет порядка. Глав- ное — покоя и уверенности, что все так, все правильно, не надо бояться завтра. А что, что может случиться завтра? Может, плюнуть на философов и чаще полы мыть, в квартире убираться?

«Совершенно верно», — сказал ей кто-то прямо в ухо и ей сделалось совсем спокойно: да нет, не сдвинулась она, просто воображение разыгралось, пора стихи пи- сать. Как только что-то зашкаливает на сердце, еще в потаенных глубинах, неизвестно каких, надо непременно

но что-то делать: сочинять, брать ночное дежурство, но не сидеть с Блюзом, уставившись в окно, или того хуже: куда-то непонятно.

Она осмотрелась. Час был и правда совсем поздний. Стало темно. Как она выберется? Но страшно не было, лес был так хорошо знаком, что уверенность не поки- дала, напротив, чувство острой опасности только ра- зогревало. Хотелось еще немного поговорить с таин- ственной незнакомкой, но надо было двигаться к дому.

«Ну что, зима, совсем расхрабрилась? Так и норо- вишь всех прибрать к рукам? Ничего, давай — давай, в тот год ты не такая активная была. Проспала, навер- ное, свой главный час. Вот и мне бы не проспать». Раз- мышляя таким образом. Ильзе уверенно шла тропин- ками, которые так и норовили соскользнуть и исчезнуть. Но она-то знала, что здесь, в лесу, ее не так-то просто запутать. Она шла и шла и постепенно сердце напол- нялось новым, незнакомым чувством полного спокой- ствия и ничто не тревожило ее. «Лес лечит, однако», — успела подумать Ильзе и... провалилась.

\*\*\*

На огромном пространстве скопилось столь же ве- ликое множество людей в доспехах, на конях, колес- ницах, с копьями длиной примерно около двух мет- ров. К завтрашнему дню, когда должен был состояться решающий бой за мировое владычество с персидским царем все были заняты приготовлениями. Кто-то из воинов просто сидел и смотрел на будущее поле сра- жения, кто-то зачищал копья, кто-то занимался лошадь- ми. Не было ни суеты, ни лишнего движения, напро- тив, все говорило о том, что все люди, а их было несметное количество, готовились к весьма важному делу жизни. Оно и было таковым, предстоящее сраже- ние. От его исхода зависело дальнейшее могущество Александра, который готовился тоже и даже можно было сказать, был во всеоружии. Во всяком случае, он напрочь изменил ход событий, во-первых, тем, что не

стал нападать, как того ожидал персидский царь, ночью, а во-вторых, избрал такую тактику, что застал врасплох многочисленное войско неприятеля. Неведомым никому полукругом, чуть ли не под носом у наступающих, он решил обвести их расположения так, что в их стане началась паника, свара, люди не понимали ни стратегии, ни тактики боя и просто стали распадаться на отдельные группы, потом и вовсе позорно побежали. Но все это было впереди, а пока царь Александр Македонский советовался в последний, наверное, раз со своим главным военачальником относительно всех особенностей предстоящего сражения.

Он был молод, так молод, как никогда еще не был молодым столь могущественный воин и царь. Ему было двадцать шесть лет, он доверял своему любимому другу, который был при нем всегда и был, пока еще был счастлив оттого, что тот рядом и что оба живы. Вернее, сам Александр о смерти не думал почти никогда. Это уже много позже, когда погиб его любимый друг, он стал хворать и никто не мог понять причину недуга. Он болел и болел и не было никакой возможности предотвратить эту напасть, облегчить страдания или свести их на нет.

Бой был выигран, Александр стал правителем мира, да, почти что всего мира, но очень скоро ему стало не до радостей и счастья от обладания подобной властью: он потерял друга. Тот был еще моложе его, обоим было так приятно думать о славе, получать ее и покорять все большие и дальние земли. Они были неразлучны, царь и его молодой друг, его самая главная в жизни привязанность, его Илия. Их интересовали только они сами, не женщины и даже не само стремление к славе: это было настолько естественным и очевидным, что о славе просто не говорилось, не на нее делалась ставка.

В какой-то редкий мирный период, когда не было боев и сражений, оба лежали на берегу моря и смотрели на волны. Лениво так лежали и отдыхали от перегрузок частых боев. Неожиданно Илия повернул голову и сказал:

— Мне кажется, что скоро что-то случится. Сказки не рассказываются вечно. Им приходит конец.

— О чем ты? Какой конец? Всего лишь наступает начало.

— Тебе так кажется?

— Я в этом уверен. Так же, как и в том, что мы неразлучны и ничто и никто не сможет помешать нам быть вместе целую жизнь.

— Александр, ты хотя и царь, но лишен мудрости.

— Зато ты слишком мудр, да? Ты еще моложе меня.

— Да разве дело в возрасте? Можно быть умным, но никогда не стать мудрым. Тебе присущи ум, а к мудрости ты только направил свои стопы.

— А ты? Что хочешь и как видишь нашу жизнь ты, Илия?

— Я видел сон. Он сказал мне, что я скоро погибну. Перестань, не надо браниться. Лучше выслушай. Сон был точным, очень ясным. Я слышал голоса, и сам я был не здесь и не на войне, а в каком-то лесу, где сроду и не бывал никогда. Вот там-то все и произошло.

— Что же?

— Сейчас. Ты помнишь наше последнее сражение?

— Конечно, и что же?

— Что сказано было, будто именно после него, совсем скоро придет конец. Во всяком случае, мне уже вряд ли придется участвовать в боях.

— Так что тебе сказали и кто? Неужели ты во все это веришь?

— Я и не верил. Но, кажется, придется поверить. Сказали очень просто: прилетит птица, сизо-серая, сядет на плечо и прошепчет лишь одно слово. Слово это — «пора». И я увидел птицу и услышал слово.

— Постой, Илия, не пори горячку, не все так просто, как во сне. Сон и есть сон. Всего лишь сон. Я тоже видел немало снов, которые казались пророческими. Но потом проходило время и все уплывало, исчезало. Словно пыль после боя.

— Я не впадаю в отчаяние, я просто живу, люблю

тебя, простые вещи. Но недавно пришли на ум строки. Хочешь послушать?

— Валяй! Я всегда к твоим услугам.

Оно, стихотворение, назвал я «Потом». Сейчас. А знаешь, можно стихнуть о стихотворение. Я люблю стихи. Особенно древних. Там всегда есть трагедия. А что может быть чище?

**Это потом приобретет значенье  
Любая мысль, и слово, и мечта,  
Но это уж потом, после того мгновенья,  
Когда откроется пред взором пустота.**

**То ли большой трубы, то ли седого неба,  
То ль яростного, страстного огня,  
То попережку зим, и весен, лета  
Подхватит звон весны и понесет меня.**

**На лад любой вы это назовите,  
Вот только не держите стремена,  
Когда уж унесусь, меня вы не корите,  
И не стирайте всуе времена.**

**Когда в игривости и страсти  
Я устремлялся в праздник жизни свой.  
И раздвигая занавес напастей,  
Все множил и вершил свой непокой.**

**Судьба распорядилась в одночасье  
Былую жизнь переменить,  
Она почти сожгла меня на части,  
И больше в этой жизни мне не быть.**

**Не падать, не взлетать, не порицать  
молчанье,**

**Я возношусь к высоким берегам,  
Где даже небо ждет меня печально,  
Пророча встречу жившим, нам.**

**И в мудрости своей взывая к Богу,  
И падших, и хмельных, и бывших  
во Христе,  
Оно зовет меня, хмельного недотрогу,  
Готового остаться на кресте.**

Я знаю свой конец. Я вызнал его. Назад пути нет. Но я другое хотел спросить.

— Ты сам сочиняешь? Ты никогда не говорил об этом. Странно. Воин и такие мысли. Надо думать иначе, о том, например, что впереди. А ты тянешь назад. Нет, это не по мне.

— А ты сам знаешь, что впереди, ну совсем после всего, после побед, завоеваний, потом?

— Знаю. Я только тогда обрету настоящий покой. И только тогда смогу начать жить. Сейчас я только готовлюсь к жизни. Но мне кажется, что она будет длинной и прекрасной. Так что, твои стихи — вымысел, боль, а я не хочу боли. Мне так хорошо жить!

— Завидую тебе и сожалею. Такой ты дальновидный на поле боя, а в простой жизни — совсем ребенок. Капризный, требовательный.

— В тебе есть нежность, я всегда это знал. Иди, я тебя поцелую. Ты, мне кажется, чувствуешь себя одиноким. Откуда это? Я же с тобой.

— Каждый человек одинок. Только не каждый осознает это.

— Да, ты правда мудрый.

— Александр, а ты... что ты будешь делать потом, без меня? Может, подумаем, помечтаем? Как жить будешь?

Александр в гневе вскочил, стал ходить по тяжело-му песку и даже сжимать кулаки. До него постепенно стало доходить, что в словах его друга скрыто нечто такое, что может иметь отношение к действительности. Пусть не теперь, но когда-то. И мысль эта была ему ненавистна. Однако, правда, что будет когда-то? Ну зачем думать об этом теперь, когда одни победы, когда мир — буквально у твоих ног, когда каждый жаждет приблизиться, быть обласканным самим завоевателем мира; зачем все это теперь? Нет, думать об этом не хотелось и не хотелось даже прикасаться к мысли о том, что когда-то все закончится.

— Нет, я не хочу говорить об этом. Я живу сегодня. И не буду с тобой говорить о том, что к жизни сегодняшней не имеет отношения. Оставь это, оставь, прошу тебя, это мучает меня, в конце концов. Есть жизнь, а ты о смерти. Не будет, нет, того дня, когда я останусь один. Не допущу этого.

— Ты просто прячешься от очевидного. Думать нужно обо всем. И о смерти — тоже, представь себе. Ее не надо бояться, тогда и жить будет значительно легче.

— Илия, ты со мной, мы вместе. Скажи, ты хочешь это изменить? Я знаю, что нет. Закончим эти беседы, я утомился. Прошу тебя.

— Как знаешь.

Море лениво окутывало своей пенной волной сидящих на берегу. Было тепло и казалось, что дневной зной так и останется непогашенным долго-долго. Двое молодых людей, один из которых покорил всю землю, был на поле брани необыкновенно сильным и неотразимым. Только вне его он не желал знать, что существует другая сторона жизни, жизни, которая всегда конечна. Его прекрасный друг пытался пробиться сквозь броню непонимания и нежелания говорить на эту тему, но все было тщетно. Тогда Илия усмехнулся и сказал:

— Я тебя посмешу, это не страшно, послушай.

— Мне уже страшно. Страшно, что тебя стали волновать такие вещи. Я в растерянности. Впервые я не знаю, как быть.

— Знаешь, кем я буду потом? Не смейся — женщиной. И не просто женщиной, но той, которая сама способна возвращать жизнь, переходить в другое измерение, попадать в такие миры, которые не подвластны разуму. Так что напрасно ты разволновался: навек я не исчезну, я просто перевоплощусь, или... Словом, мы встретимся с тобой. Ты прав, мы всегда будем вместе.

Александр взглянул на друга, ничего не ответил, только подошел и крепко обнял его. Говорить не хотелось, хотелось только смотреть на море и слушать неслышимый ропот волн.

\*\*\*

«Так вот, оказывается, кто она, откуда», — подумала Ильзе, когда снова оказалась в лесу. Вот откуда эти странные ощущения того, что что-то подобное случилось или могло случиться. Но вместе с тем томило и осознание того, что жила все это время как бы в полноги, не на полную мощь, что-то держало и мешало в таком вольном, абсолютно открытом восприятии действительности. Какие-то шоры, что ли? Не было размаха, широты мышления. Что, неужели так рано зародившиеся мысли о бренности и конечности бытия, как у своего далекого, едва знакомого предка? Илия — надо же, какое удивительное имя! Чуть-чуть созвучное ее нынешнему. Но почему, откуда в таком юном существе такая глубина ощущений, такая вместе с тем обреченность и понимание конца? Что сподвигло его думать и говорить так? Что это за дружба-любовь со своим повелителем и сверстником? Господи, ну и вопрос! Сколько же их?

Она попыталась вспомнить, что предшествовало тому моменту, когда она очутилась в ином пространстве, времени, в другом измерении и — более того — в облике и образе другого пола, возраста, убеждений и много чего еще. Да ничего особенного, просто возвращалась домой, шла той же тропинкой, как и обычно, но вот одно странное чувство не давало покоя. Она

вспомнила тот завораживающий голос и что он произносил. Было и в прошлый, и в этот раз какое-то ненавязчивое предупреждение, на которое она не сразу обратила внимание. Ну, фея, ну, в лесу, ну, чего не привидится темной порой зимой! И вот, надо же, попасть в другой мир! Мгновенно, словно и не было жизни этой, нынешней, настоящей. Но оглядевшись, она впервые разглядела, что в этом месте, где ее угораздило отправиться в такое необычное путешествие, и лес не такой. А многие деревья наклонены в одну сторону, и сама поверхность зимнего, покрытого снегом покрова: хоть и лежит снег, но вполне заметно, что в этом месте земля словно делает какой-то вираж и образуется низина. Но она всегда относила это на счет просто особенностей местности, ее рельефа. Однако не все так просто. Далеко не так. Именно на этом месте она обычно останавливалась и раньше, что-то заставляло это сделать. Теперь понятно, что зов, странный и не поддающийся реальному объяснению, тянул и настаивал на этой остановке. Когда-то, когда-то должно было случиться такое, что случилось сегодня. А сегодня ли? Она впервые подумала о времени. Неужели реальное течение его не изменилось здесь, в настоящей ее жизни? А, может, прошли дни, месяц или два, как ее не было? Но — она огляделась снова — все и впрямь было по-прежнему: ее любимый лес, время суток, сломанная ветка так же лежала посреди дороги, словно являясь неким вестником, предостережением: остановись, помедли! Но разве помыслить о таком можно было? Нет, нет и нет! Стало быть, она отсутствовала всего ничего, какие-то минуты, может, час, другой? И как теперь жить? Забыть, как сон или... В этом «или» было все. Забыть не получится, это ясно, а вот опираться на новый опыт, исследовать его, применять!.. Да, еще очень много предстоит понять, успокоиться и взвесить все снова и снова. Никто не поверил бы ей, что такое возможно. Да и рассказать было попросту некому! Она так гордилась, так уживалась своим одиночеством, что даже поведение своего Алексея расценивала как знак

положительный: ей и нужно было остаться одной, чтобы все больше и больше погружаться в странную стихию отгороженности и закрытости от мира. Теперь корни такого поведения, прообраз его хотя бы понятен. Ладно, почти понятен.

А что теперь? — дом, кот, работа? И никогда ничего не повторится? А, может... Ильзе не стала додумывать, что может быть, отогнала от себя эту мысль и твердо решила, что положиться надо на судьбу, на время, на такие, впрочем, эфемерные понятия, которые не измеришь, не подверстаешь к делам, поступкам, ощущениям. Это только кажется, что время — вещь изменяемая и конкретная. Вот ведь что оказалось! Его можно менять, поворачивать вспять, поступать с ним не как с необратимой физической субстанцией, а почти как в театре или литературе. Его можно уплотнять, спрессовывать, пропускать какие-то его части, словом, реконструировать как душе угодно. Но есть одно но! Не по ее же воле все произошло. Стало быть, есть некая сила, которая способна управлять таким процессом и роль Ильзе — всего лишь вслушиваться и подчиняться велению мощи и силе перемен, уготованы которые силами, не подвластными ее пониманию и прогнозированию.

Но как, каким таким образом поняла она окончательно, что юноша из далекого римского времени и есть ее предок, самый настоящий, притом? Ну, во-первых, голос и сказанные слова, пусть и в витиеватой форме, но дающие основание думать, что вот-вот произойдет, случится ее встреча с самой собой, но из прежней жизни. «Пойдешь вперед и найдешь себя, только не испугайся. Там будешь ты». Смысл сказанного в тот момент был совершенно неясен, скрыт и открылся лишь теперь, когда сама она увидела всё со стороны. Она была словно рядом и в то же время где-то в стороне. Трудно сказать. Во всяком случае, не было ни малейшего сомнения в том, что не царь Александр, а его нежный и мудрый друг — ее предшественник. Она тоже так или иначе, но связана с уходом из жизни и возвра-



щением в нее, она одинока и постоянно испытывает груз этого состояния одиночества. Это она размышляет часто о бренности жизни, о конечно сти ее, о смысле и цели. От этого зачастую проигрывает в контактах. В окружении, которое воспринимает ее не совсем такой, какая она в действительности. Да и нужно ли им всем открывать душу? Зачем? Это таинство и вход туда дозволен не многим. Жаль, что Алексей со своими амбициями так и не понял ее и решил использовать тактику бури и натиска: жениться, а там хоть трава, хоть ель не расти. Разве ей это нужно? Вот такое примитивное, формальное решение вопроса? Своей глубоко скрытой проблемы? Нет, нет и нет.

Придя домой, она прижала своего Блюза и весело спросила, не знает ли он, кем был в прошлой жизни. Блюз отвечать не хотел и только упорно звал свою хозяйку на кухню к своему блюду. Она закружилась с ним на руках и даже запела. Она пела всегда, когда бывала либо расстроена, либо весела. Второе случалось реже, но все же она пела. Блюз сдержанно относился к ее вокальным изыскам, предпочитая отмалчиваться и додумывать, что на этот раз с его хозяйкой: горе или радость.

Она набрала номер телефона Алексея и сказала самым разлюбезным тоном:

— Ты не сердись на меня, прошу тебя. Просто не пришло, наверное, наше время. А твое, уверяю тебя, скоро наступит. Ты жди.

Он, как водится, ошетинился и чуть не зарычал.

— Ты в маму играть вздумала? Не напрягайся, у меня уже есть одна.

— Вот и хорошо. Привет передавай. Будем дружить. Приходи, если чаю захочется, в гости. Но... не теперь, позже. Тебе отойти от сердиток надо. Злой очень. А что ты, собственно злишься?

— Я? С чего ты взяла?

— Вот с этого самого «я». Правда, не будем царапаться, у тебя все еще впереди.

— Спасибо, утешила. А у тебя? Что, позади что ли?

— Ты не поверишь, но почти что так. Я недавно даже воочию увидела это самое «позади». Увидела давно миновавшее время.

— Ладно, бывай, ты всегда была фантазеркой.

— Не веришь, ладно. Я и не настаиваю. Желаю удачи. Будь здоров и вообще...

— Что «вообще»?

— Главное — будь! Это очень важно.

Она повесила трубку и ей снова стало весело: не каждому дано испытать то, что довелось ей. Главное — уснуть и не бояться и ночью того, что приключилось.

И на следующий день, и в другие дни Ильзе занималась чем угодно, но в лес не ходила. Нужно было время, чтобы все обдумать и понять. Понять было не просто, ясное дело, но хотя бы успокоиться и осознать, что подобное может случиться еще раз и что снова она может увидеть прелестного юношу, почти мальчишку, который так мудро размышлял о жизни и о смерти, грезил морем и был чрезвычайно похож на нее.

Когда она вслушивалась в разговор двух людей, когда понимала, что один из них — прежняя она, когда она своими глазами, близко-близко видела сидящих, становилось страшно. Страшно от одной только мысли, что подобное возможно. Она припомнила, что в последнее время частенько и по ящику передавали подобные вещи. То высветится какое-то необычное пространство, разлом в районе Царицыно и туда попадают люди, видят на восточный манер одетых воинов, конницу, то деревья обретают едва ли не человеческий статус и врачуют, успокаивают человека, дают ему силы. Такие, в особенности дубы, в древности называли друидами. Люди когда-то не вырубали, как теперь, а поклонялись деревьям. Точно, что-то и впрямь оттуда, из Древнего-предревного Рима, что-то такое, что захотелось остаться там, а не возвращаться в операционную, сидеть на дереве, обнимая его, еще не ведая, не зная, что есть друиды и кто они такие. Просто любовь к живому: лесу, его обитателям, своему коту, к вечно

напрягающемуся, чтобы вырасти кактусу на окне, — ко многому и многому. А к себе? Что она сама? И что она такое? Ведь на что-то дается такая встреча, такое событие? Для чего-то, не просто так? Чтобы что-то изменить, вслушаться в себя? Ой, все может быть.

Ну, почему бы, например, не встретить человека, хорошего и умного, сильного и держащего слово, — почему? А-у, где ты? И есть ли вообще? Су-щест-ву-ешь? Полоснула мысль: а Емельян? Но он же ушел, не дал никакой надежды. И вообще, он монах, кажется. Разве поймет он мирские проблемы и радости? А, может, он и ушел оттуда, чтобы вернуться к этим самым радостям? Хорошо бы! Но когда это будет, да и случится ли вообще?

На работе ее ждал сюрприз: слесарь Степан Борисович оклиманся и уже третий день лажал в палате. Она решила к нему заглянуть.

— Добрый день, Степан Борисович.

— Согласен, добрый, — как-то странно приветствовал ее пациент.

— Вы во время операции, ничего не чувствовали, никого не видели? Сами, к примеру, никуда не отлетали?

— Это как еще?

— Да так, — весело сказала доктор, — мы, например, кое-что успели разглядеть.

— Что, летал, что ли? Куда же я собирался, хоть сказал? — пробовал шутить Степан Борисович.

— Сами молчали, но тело ваше и вправду отправилось в полет.

— Шутите?

— Зачем же, все видели. Вот такие чудеса у нас иной раз случаются. Правда, может, это аппаратура так отсвечивала, лампа наша знаменитая? — Ильзе тоже отшучивалась и было понятно, что главное — у обоих просто хорошее настроение и больной пошел на поправку.

— Ишь ты, аппаратура? Вы ж трезвые там были?

— А как же, не считая вас, это вы упорхнули в неиз-

вестные дали. Скажите хоть, что видели во время наркоза?

— Представляете, запомнил. Книжку сочинял, да не абы какую, а все про лошадей. Я их и так сильно люблю, но чтоб писать — такого за мной не водилось. И такие они ладные, крепкие, лошадки мои — заглядишься. Я же не здесь, не в городе, это меня из села нашего привезли, даже и не совсем оттуда. Ехал себе заказ оформлять, вот, по дороге и приключилось все: приступ и нехорошее что-то. А так, в тот же вечер повидал бы моих дорогих.

— И сколько их у вас? Да вы — богач?

— Да, богач, ну, ежели по части лошадей. Их у меня почти полсотни. Ферма у нас. Но хозяин, конечно, не я. А люблю я, это точно. Приезжайте. Это вы мне все в глаза вверх тормашками смотрели?

— Да, когда наркоз давали. Но сейчас не маска, это я так, посмотреть на вас, сейчас все через вену. Видите, даже синячка не осталось.

— Да, там-то не осталось, а здесь уже успели всадить. Ох, и руки у них! Им бы только лошадей и запрягать!

— Не обижайтесь, везде проколы бывают. И у вас, я думаю.

— А что, правда я что ли улетал куда-то?

— Ну да, чистая правда плюс маленький вымысел, почти как в вашей книге. Вы пишете, пишете, мы потом почитаем. У нас на операции частенько пишут. Потом, правда, забывают, что сказать хотели, но порыв бывает, это верно. К вам приходят-то? Тумбочка больно чистая.

— Приходят, — сказал слесарь — любитель лошадей и погрустнел. Дочка вот была. А жена только раз. Да я и понимаю, как оттуда доедешь?

— Хотите, я позвоню ей?

— Нет, что вы, еще подумает что, женщина звонит, ревнивая она у меня. Обидится. Завтра я сам уже. Встаю, видишь ли, у кровати ковыляю.

— Вы ходите, ходите, все нормально, я говорила с

врачом, да и по вас вижу. Не залеживайтесь. Еще загляну к вам.

Выйдя из палаты, Ильзе подумала, что в каждом, ну, почти в каждом человеке есть нечто такое, что может привлечь внимание. Вот ведь, простой человек, а любит лошадей, книгу под наркозом сочинял. И еще — в обиде на жену. Но не это главное. А в его незлобивой манере говорить, отсутствии сетования на судьбу, в приятии мира. Поразительно: чем проще человек, тем меньше его притязания к миру, тем меньше, оказывается, кто-то ему задолжал за мифические обиды, не-свершения... Ну, случилась беда, болезнь, но вот же, выкарабкался, стало быть, все хорошо и можно жить дальше. Есть чему позавидовать или просто поучиться. Но как это — учиться? У каждого такой особенный, такой неповторимый свой путь, что учись-не учись, все без толку.

Сегодня была снова пятница и Ильзе с сожалением подумала, что предстоят выходные, которые, как и праздники, не любила. Отрываешься от привычного рапорядка, что-то словно подвисает в твоей жизни. Придется ехать на рынок, готовить, как-то заполнять время, которое в выходные тянется особенно медленно.

Ее настиг дядя Костя, который сказал: «Дорогой доктор, у меня к вам приватная беседа. Как, готовы выслушать?» Еще бы! Не выслушать милейшего Константина Эдуардовича! Они зашли к нему в кабинет и пожилой человек с окладистой, хорошо постриженной бородой и чуть рыжеватыми усами усадил женщину, расположился в кресле сам и стал крутить в руках сигару. Разрешения не спрашивал, но и не закуривал. Подносил к носу, вглядывался в сидевшую напротив Ильзе, а потом неожиданно сказал: «Смотрю я на вас и вот что думаю. Не засиделись ли вы на одном месте? Не пора ли вас услатить куда-нибудь? Что так удивились? Именно: услатить». Ильзе молча смотрела на своего патрона и думала о том, как может интересно раскручиваться жизнь с ее непредсказуемостью и притягательностью. Только что она думала о рутинных выходных,

как в конце рабочего дня — неожиданность. Интересно, куда это ее можно заслатить? И с какой целью?

Константин Эдуардович оценил терпение Ильзе, снова покрутил длинную пахучую сигару, а затем подошел к окну. «Заметили, как этот год старушка распоряжается? И старушкой грех назвать. Прямо молодуха какая-то. Все сгребла под себя. Ну и вытворяет. То засыпает все сугробами, то такую акварель разведет, чуть на работу не опаздываю». Ильзе улыбнулась и спросила: «А можно, я вам стихи читаю?» Дядя Костя оглянулся, кивнул и облокотился о подоконник.

**Шел снег, земля лежала навзничь,  
Отринув искушение сном,  
Уснула ночь, и мрачно, и невзрачно  
Светился издали остекленевший дом.**

**Не спал и я, забросив причиндалы  
Письма и сочинительства под стол.  
Топилась печь, почти уже смеркалось,  
Я мыслью шел почти что напролом.**

**Припоминая ночь, когда вот так же славно  
Струился свет над всей моей землей,  
Я плыл по небу медленно и плавно,  
Давая звездам право быть со мной.**

**Звезда светилась, ожидая пробужденья  
Всех захмелевших темною порой,  
Не знающих греха, обиды, прегрешенья,  
Она ждала раплаты за неравный бой.**

**Раскаянье таило вкус тревоги,  
Витало в воздухе, стояло у ворот,  
Вот и любовь твоя возникла на пороге,  
Надеясь на немой переворот.**



**Из сплава нерастраченного чувства,  
Невыраженных мыслей и тоски,  
Где ненависть почти под стать искусству  
Ткать ткань, где нити — волоски**

**Моих обуглившихся нервов,  
Тончайших прядей пепельных волос,  
И жизнь — и та, вся соткана, наверно,  
Из пряжи смысла, длинной, как откос.**

Воцарилась такая тишина, что стало слышно, как по окну скользят и прилипают к нему снежинки. Так показалось. Дядя Костя, наконец, оторвался от окна, подошел к Ильзе и обнял ее. «Тебя точно нужно куда-то заслать. Поедешь?» Ильзе вздохнула, оправляясь от чтения и спросила: «Куда это?» — «Поедешь в Ленинград на симпозиум. В следующую среду. Думал, сам смогу, но нет — дела. Идет?» — «Хорошо, в Ленинград, так в Ленинград, тогда он мне и правда больше нравился. Как Ленинград. На сколько?» — «Побудешь до конца недели. А хочешь, давай прямо с понедельника, как раз заезд. Доложишь только в среду, ну, погуляешь, развеешься. Тебе надо. Вот и стихотворение у тебя... по мужчине ты стосковалась. Я это вижу». Любимое выражение дяди Кости «я это вижу» покрывало все доводы и аргументы. Это был своеобразный заключительный аккорд мысли, и все — больше никто не спорил, не возражал. Что ж, можно и в Ленинград, два года не была. Можно! Даже очень хорошо. Она прикоснулась к рукаву дяди Кости, ткнулась в него носом и проговорила: «А вернусь из Петербурга».

— Ты что, много пишешь?

— Балуюсь иногда.

— Пиши-пиши, скоро мой юбилей, считаешь.

— Я и спеть могу. Попросят — и спляшу.

— Попросят, непременно попросят.

— Что докладывать буду?

— Вот, как раз за эти дни подготовишься, у тебя все

готово, на совете докладывала уже, так что репетиция была. Про свои отношения с введенными в наркоз больными. Что ж еще? Про них, родимых. Как летают, зависают на потолке, ну, словом, по науке. Про наше изобретение.

— Смеетесь?

— А что мне еще делать? Пятница. Мы хорошо поработали. Сейчас с женой в гости поедем. Кстати, наш коллега, может, знаешь даже. Директор института, Толубеев Паша. Но мне — Паша, тебе — дед Павел Леонидович. Умница, нежность в твоём стихе есть. Но и печаль, — погрозил пальцем дядя Костя и Ильзе вышла из кабинета счастливая — счастливая.

Она шла к своей остановке и думала, что все у нее сбудется, состоится. И непременно еще успеет узнать, что там дальше у этих двух молодых воинов, как они? О чем думают, что замышляют?

Удивительно устроен мир: только расслабишься, только загрустишь на какую-нибудь тему, а тут — на тебе — сюрприз, да еще какой! Она подумала, что непременно заедет в Питере к своей дорогой тетушке в Дом ветеранов сцены, которую действительно не видела два года. Звонила, спрашивала о здоровье, та, смеясь, говорила, что в ее 91 ничего не берет, кроме давления — 200 на 140 временами, а так, так все хорошо. Дорогая ее тетя Нина была ей вовсе не тетя, а скорее второй мамой, потому что познакомились и подружились еще до войны в Ташкенте, где тетя Нина прожила аж до землетрясения 1966 года. Своих детей у нее не было и они с мужем, тоже артистом театра, Дмитрием Алексеевичем, решили повидать мир, освободиться от всех квартирных проблем и уехать в Ленинград, чтобы спокойно ездить в разные путешествия.

Эта мысль — что она увидит дорогого человека — очень грела Ильзе и она подбирала дома вещи, которые подарит там. Тетушка очень любила подарки, охотно примеряла разные наряды, некоторые по доброте душевной часто передавала своим соседкам или сотрудницам, но вообще приездам (всегда неожиданным)

Ильзе радовалась искренне, громко, привлекая к своей радости внимание окружающих, тех, кто жил в ее втором корпусе. Раньше Ильзе писала тете Нине письма, в которых называла ее мамочкой, да и при встречах частенько называла именно так. И тетя радовалась и всем так и говорила, что приехала ее дочка. Долгие это были отношения, то виделись очень часто, когда Ильзе была на каких-нибудь курсах усовершенствования, стажировках в Ленинграде, то бывали периоды, когда только письма и звонки становились источником информации. Характер у тети Нины был сложный, она могла на какое-то время поддаться чьему-нибудь мнению, и тогда в тоне ее Ильзе угадывала некий холодок. Но так бывало крайне редко, в основном же Нинуля была действительно рада ее звонкам, любому напоминанию о себе. И всегда передавала приветы то сначала одному любимому, то Алексею, то ее подруге Женьке и... даже коту Блюзу. Память у нее была великолепная и часто Ильзе казалось, что и прожила она так долго благодаря своему интеллекту, своей хорошей голове, умению держать дистанцию и ладить с людьми. Ее в Доме очень уважали и немалую роль в этом сыграл особенный Нинин характер. Где надо, она была мягка и отзывчива, но вместе с тем — твердо знала, когда, на сколько и кого можно впустить в комнату или в свою душу.

Так вот, Ильзе готовилась к поездке, пребывая в чудесном ожидании предстоящей встречи. А второе, что ее тоже отчасти радовало, где-то напрягало немного, — это неожиданности, которые могли случиться. Которые, как водится, ожидаются на таких собраниях граждан и оказываются почти всегда приятными.

Ильзе засмеялась, думая, рассказать или нет тетушке о своих похождениях. Но решила, что поймет это на месте, в зависимости от состояния Нинули. А пока... пока она собиралась, готовила, помимо платьев, бумаги и вспоминала, как на Совете все были удивлены тем, как здорово она выступила. Для кого-то это было явной неожиданностью.

Она еще в пятницу успела получить необходимые документы, даже и деньги и была совершенно готова к путешествию. Поезд был дневной, что она тоже любила, потому что ночью спать в вагоне не могла. А тут — красота: едешь себе пять часов с хорошим попутчиком и предчувствуешь, как все замечательно сложится. Но наивным и опрометчивым ожиданиям Ильзе не пришлось оправдаться. Попутчик попался злой и от него в добавок дурно пахло, на голове у него, в его почти пятьдесят болталось что-то вроде косицы, он был небрит, неухожен и зол на весь белый свет. Для начала он чуть не согнал ее с ее места у окна, которое, может и было действительно не ее, но зачем же так неучтиво? Однако в последний момент, когда Ильзе уже приготовилась пересест, он почему-то сжалился и уступил. Так и сказал: «Военные с дам пошлин не берут». «Он что, военный?», — подумала Ильзе, но ему, кроме «спасибо» не сказала ничего. Да и то очень сухо. Вещи, на его взгляд, люди складывали неправильно, говорили слишком громко и вообще много курили. Знал бы он, как от него самого несло то ли курувом, то ли еще чем-то противным. Чай проводник принес не кипяточный, лимон забыл, на Бологое стояли меньше объявленного, да и пирожков там не продавали. Кошмар!

И все же после пересечения условной границы между двумя столицами что-то в нем стало меняться. То ли он устал, выдохся, то ли ему надоело сражаться неизвестно с чем. Он замолчал, сделался грустным и почему-то спросил Ильзе:

— Вы, наверное, людей лечите?

— С чего вы взяли? — говорить не хотелось и Ильзе решила не развивать разговор. Однако не получилось.

— С чего? Руки у вас не как у всех молодых женщин нынче: чистые и без длинных ногтей. И очень вы сосредоточенная. Мечты в вас не видно. Все думаете о чем-то. Слишком пристально.

— А я как раз мечтаю.

— Нет, не мечтаете, а обдумываете, что с вами было и что будет. А это далеко от мечты. Вы расслабьтесь,

иногда это полезно, плюньте на условности, живите как хочется, а не по протоколу. Вы себя сильно стреножите.

— Да с чего вы это взяли? Сижу себе, вам не мешаю.

— То-то и оно: не мешаю. Вы слишком хотите не мешать, быть неприметной. А это вредно для здоровья. Вы не пробовали в кастрюле на голове пройтись по городу?

— Это что, метода такая? Чтоб раскрепоститься?

— Метода. Я пробовал. Помогает.

— В психушку не пытались забрать?

— Меня? Ха, меня без моей воли не очень-то забережь куда-нибудь. И еще я заметил... Вы совсем недавно что-то сильно пережили, был у вас какой-то стресс.

— Вы что же, под микроскопом меня разглядывали? Я думала, вы военный, а военные, как правило...

— Знаю, знаю: очень ограниченные люди, вообще тупые. Не пойдет, гражданка с чужеземным именем.

— Господи, это-то вам откуда известно?

— Вы что же решили, если я с полей, дурно пахну, хвостик у меня, весь разгоряченный от своей непростой работенки, значит, и наблюдать не могу? Вот это-то я как раз и могу. А имя, что оно? По вашим манерам, взгляду, движению рук, пластике — нет, вы не Татьяна и не Ольга там какая-нибудь. Вы — что-то грациозное и одухотворенное, хоть и пытаетесь царапаться. Это ничего, это в дороге в особенности, очень кстати. Ошибся? Нет, надеюсь?

— Почти угадали.

— Что значит «почти»? Нет такого слова, есть да или нет. Все!

— Какой вы категоричный.

— Не без этого. Разрешите представиться: Василий Игнатьевич, полковник действующей армии.

— Благодарю. Так и думала, что вы — начальник, да еще и военный.

— Ваше имя?

— Меня зовут... Ой, и не хочется мне говорить, как. Можно, я промолчу?

— Молчите, я предвидел, что вы не скажете. Это ваше желание, ничего. Сегодня число хорошее, вообще день. А знаете, какой? Праздник большой. Но я не буду вот так, запросто о важных вещах. Для меня праздники давно разделились на ерунду, безобразие с выпивкой и религиозные.

— Вы что же...

— Да, можете не продолжать, именно так, верующий. И полковники, знаете, тоже бывают. И если с ними это происходит, поверьте, дело серьезное.

Ильзе подумала, как мало она знает мир, жизнь, людей, тут же выставляет оценки, а человек вон, как непрост. А она — вонючий, злой! А он думающий, оказывается.

— Вы не курите, я заметила. Действительно, пахнет вашими учениями, но не сигаретами. Вы домой едете?

— Мне до дома еще, как до луны пешком. Далеко он, дом. Но я доберусь, завтра, надеюсь, буду. А вы, думаю, не из Питера, хотя очень похожи. Из Москвы, точно?

— Точно, — вздохнула Ильзе.

— Ну, и переезжайте, раз Питер любите.

— Как у вас все легко и просто.

— А человек и должен жить легко и просто. Тогда мир будет устойчивым и равновесным. Как сама природа.

— Вы что же, романтик?

— Не знаю, что это такое, но что — то явно не про армию. Я просто живу и живу, знаете, хорошо.

— Даже несмотря на то, что вы в армии? Это же нелегко? И, кстати, почему ваша армия — действующая?

— Ну, тонкости вам будут неинтересны, скажу одно: армия — она всегда действующая и другой быть не может. Не должна. Вот мы и действуем.

— А вы...

— Нет уж, теперь я вас спрошу. Вы врач? Думал сначала, может, учительница, но потом понял, что нет.

— И как же вы поняли?

— По характеру разговора, вопросов. Учителя, они другие. Иначе ставят вопрос.

— У вас дети, да?

— Есть один лоботряс. С биологией напряг у него. С самым своим любимым предметом.

— Почему?

— Училка попалась, а не понимающий человек. Вопросы больно не любит, а мальчишка любознательный: откуда и зачем, все ему знать надо. Вот и получает. Беда просто. Но ничего...

— И что же вы, как поступаете? Говорили с этой женщиной?

— Говорил, а что толку? Она и меня не хочет слышать, так уж устроена. Говорит, что биология — наука точная и какие такие вопросы могут быть! Я ей однажды, когда стояли в коридорчике их, возьми и скажи: «Дамочка, вам черчение, и то с очень большой натяжкой преподавать можно. А еще лучше — подальше от детей».

— И что она?

— Что? Глаза вытаращила, молчит, аж побагровела. Я повернулся и пошел. Но могу сказать, что с этого дня какой-то просвет наметился. Не душит теперь моего Костюху. А у вас, наверное, детей еще нет. Так мне показалось. А пора, милая, пора.

— Я тоже думаю — пора. Но...

— Понятно. Это по заказу не бывает.

Оба молча смотрели в окно и оба, видимо, понимали, как порой неожиданны и непредсказуемы бывают в жизни встречи. Оцениваешь на один манер — выходит совершенно по-другому.

— Скажите, у вас сын, семья. Скорей всего — семья. А любовь? Она у вас есть?

Измученный своими полевыми работами, поездкой, разными другими сложными проблемами мужчина, полковник со смешным хвостиком на голове задумался вдруг и сказал:

— Я и сам себя иной раз спрашиваю. И вот что отвечаю: та, что в двадцать была, ее, конечно, нет. Безумств

тех нет, я хочу сказать. Но есть другое, более весомое и крепкое. Знаете, стабильность, она везде нужна, и в любви тоже. Ослепление молодостью, красотой проходит, уступает место, знаете-чему? Сам удивляюсь. Иногда смотрю на свою и думаю: за что мне такое счастье? Вот она, любовь.

— Вы счастливый. Было бы и у меня так!

— Желать этого очень надо, тогда и будет, вообще ставить цели. Это только недалекие люди утверждают, что военные — глупый народ. Неправда. Они знают, что такое стратегия, могут управляться с тактикой, они видят цель. И... идут к ней. Все по сути очень просто. И у врачей ведь так, скажите?

— Так. Но в личном я иногда плутаю. То жаль становится, то еще что-то.

— Изменить тактику! Тогда полегчает.

— Как у вас все просто!

— Нет, милая девушка без имени, не просто, очень даже сложно. Но к простоте прийти надо. А не мерить человека только по внешнему виду, вот как вы меня, к примеру, да по косице на голове. Оброс, не спорю, так полгода не вылезал из своих военных дел: то бой, то окопы, то разведка, то... Словом, много чего... Такого, где не только обрастешь, но и... Сауны там не было. Вот, домой завтра попаду, там и банька будет.

— Меня называли так странно, я и правда не всегда произношу свое имя. Да и зачем? Через час, даже меньше уже приедем. И больше не встретимся.

— Не зарекайтесь. Все-то вы по стереотипам скачете. «Не встретимся»... Кто вам сказал такое? Может, к нам в гости еще приедете?

— Знаете, мне иногда кажется, что люди сами толком не знают, зачем живут, чего хотят. Вот, порой на операции закрывает человек глаза и думает только об одном: чтобы все прошло удачно. Но реже знает, зачем ему это завтра? Может, в этом и есть особый, тайный даже смысл жизни? Не из-за совещания и полочки проснуться от наркоза, а затем... затем, чтобы просто жить. Вот, как вы говорите, легко и просто. Но

ведь они только глаза открывают, как сразу за мобильный, за дела. Разве это правильно?

— Да, человек только на пороге страшного думает о смерти. А так — нет, к ней не готовится, насмешничает, или хуже того — просто боится. А надо размышлять. Одно это и спасает.

Снова оба замолчали, каждый вспоминал свое. Ильзе — недавнее происшествие, да еще и болезнь неведомую; так много всего приключилось за короткий промежуток времени. «Что это, — подумала она, — предзнаменование или повод для более пристального анализа, для того, чтобы задуматься и скорректировать свое отношение к людям, событиям, к себе самой, наконец?» Она подумала и о сидящем рядом с ней человеке: такой с виду неказистый, одет черт-те во что, огромных размеров рюкзак, но вот ведь, на деле оказывается совсем не тем человеком, за которого его приняла Ильзе. Размышляет, думает о смысле жизни. Чертовы стереотипы, все они: раз военный, значит, ума нет, одни команды в голове. Жаль, что так скоропалительно судим о людях. Она устыдилась своих поспешных выводов и ей захотелось еще расспросить сидящего рядом с ним большого, крепкого мужчину.

— У вас что же, и проблем не случается? Или вы научились с ними ладить, как-то совладать?

— Да у кого ж это проблем не бывает? Другое дело, что в силу возраста, опыта, еще чего-то, даже и не знаю, понял, что к проблеме нужен подход. Нельзя на нее с наскоком, не любит она этого. Все выдержать надо, как вино, как чувство. Нужно, чтобы она отстоялась.

— Да, наверное,— задумчиво согласилась Ильзе, а сама все не могла насмотреться на снег, который и в этих краях накрыл всё и вся.

Однако уже наступали поселки, даже и электички попадались, станции, и она поняла, что вот-вот они подъедут. И тут Василий Игнатьевич, все так же неотрывно глядя в окно, произнес: «Надо же, везде зима. Но в этих краях она особенная, нежная что ли, с поволокою. Не особенно ярится. В Москве пожестче. А уж

где я был — и подавно. Ничего, это нормально. Вот, — он достал откуда-то из-за пазухи портмоне, вынул карточку и протянул ей, — держите, доктор. Заезжайте, когда смысл жизни приоткрываться начнет. Поговорим. И жена порадуется. А сейчас — счастливо».

Приехали. Они вышли из вагона и зашагали каждый в своем направлении.

Ильзе идти было недалеко, до гостиницы «Советской», хотя всякий намек на советское время давно испарился. В этом месте ей уже приходилось жить и когда приезжала на всякие там повышения, и просто так, когда цены еще укладывались в разумные. Теперь — нет, сама бы она ни за что там не остановилась, но конгресс есть конгресс и денег дали достаточно, чтобы несколько дней можно было пожить припеваючи. Она тут же осеклась, так как испугалась, что что-то пойдет не так и будет не так прекрасно, как она замыслила.

Ее поселили в замечательный номер, ванна сияла, окна выходили не на самое страшное шумное место на площади, это тоже радовало, назавтра сказали придти на завтрак — шведский стол. Все, можно было отключиться от леса, от провалов во времени, от памяти и от самой Москвы, в частности. И хорошо, что Константин Эдуардович отправил ее на день раньше: можно было походить по городу, зайти в кино, в котором у себя она не была года три. Приезжая же в Питер, она всегда, иногда и по два раза ходила в кино. А вечером — театр. Ура! Все прекрасно! Скорей бы утро!

И оно настало, но куда ж оно денется? И завтрак был, и кино, и вечерний спектакль, а назавтра она решила, что непременно поедет к Нинуле. Непременно!

Настал и этот день, и, взяв сладостей, приготовленные вещи, она отправилась в Дом ветеранов сцены. Нужно было минут сорок добираться на седьмом троллейбусе, который прямо у ворот и останавливался. Поднявшись на второй этаж, она чуть помедлила у двери тети Нины, затем постучала, услышала родной голос и вошла. И настроение улетучилось. Тетя Нина лежала на узенькой кровати, все так же стоящей вдоль



стены, но в комнате... в комнате не было почти ничего: ни привычного серванта, ни даже знаменитого крошечного холодильника, где обычно хранились неизменные сухофрукты, яблоки и кусочек сыра. Ничего не было. Ильзе обняла тетюшку, заплакала и спросила, где сервант и куда все подевалось.

— Ах, зачем мне теперь весь этот хлам? Так свободнее, — сказала Ниноля вполне счастливая от того, что видит Ильзе и что в комнате стало действительно намного просторнее. — Это ерунда, дай, я на тебя посмотрю, разгляжу тебя. Сколько не видела? — пять, десять лет?

— Что вы говорите, всего два года.

— Это ужасно. Это же вечность. Где твой Алексей?

— Да ну его. Вот, смотрите, что я вам привезла, — и Ильзе выгатила из сумки платье, роскошный блузон, шарф и шляпу.

— Ах, какая прелесть, ну куда это мне? Я же почти не выхожу. Подожди, дай примерю.

Тетя Нина живо поднялась на кровати, стянула с себя халатик и начала натягивать сиреневого цвета платье. Покрутилась перед зеркалом, набросила шарф терракотового цвета, улыбнулась и обняла Ильзе.

— Ты умница, я так хотела такое платье. Я похоже видела у тебя. Ты умница. Вот Любка удивится! Еще выпрашивать начнет.

— Тетя Ниночка, как вы? Садитесь, я рада, что вам понравилось.

— Я? Прекрасно. А ты сомневалась? У меня все хорошо. Вот прооперировали глаз, ты заметила? Нет? Это хорошо, значит, хорошо сделали.

— Успокаивайтесь, моя дорогая. Я вас хочу расспросить, поговорим.

— Да что меня-то спрашивать? Ты как?

— Я? Я по-разному, вот, на симпозиум приехала.

— Ах, ты всегда была такая умная, ужас.

— Спасибо, и выступать буду.

— На сцене?

— На сцене, только текст будет мой.

— Ты могла бы быть актрисой, я в этом никогда не сомневалась. Помнишь, как ты читала письмо Татьяны? Еще в юности, в Ташкенте?

— Ой, вы помните! Ну конечно, только я не актриса, к сожалению, но ничего, тоже профессия нужная. Я почти на сцене.

— Ильзенька, ты когда замуж выйдешь? Пора, моя дорогая.

— Знаю. Все не складывается. Но, может, в следующем году... Я так задумала.

— Это правильно, что задумала. Всегда сверхзадачу держать надо. Я же тебя учила, ты помнишь?

— Смешно, день назад что-то похожее мне один дяденька в поезде говорил. Надо над этим серьезно поразмышлять.

— Ах, деточка, какие размышления? Нужно действовать, а не философией заниматься. Вот и весь рецепт. Ты такая красавица, умница, а одна. Что-то не так с тобой. То ли с душой, то ли с характером. Как, у тебя хороший характер?

— Ой, не знаю. Но что-то не складывается.

— Тебе нельзя забывать, что ты молодая, понимаешь. Это счастье так быстро проходит. Ты будешь помнить? Вот я, видишь, я — молодая. И всегда такой останусь.

— Милая моя мамочка, я все запомню и постараюсь всегда-всегда быть молодой.

— То-то!

Она говорила, а сама с тревогой думала, как стала ее мамочка, как держится только благодаря силе характера. Она и в детстве убеждала Ильзе, что человек должен быть сильным и должен уметь противостоять всем напастям. Вот она-то сумела. Правда, все же в одном преуспела: Ильзе действительно не боялась боли и заслуга в этом принадлежала Ниноле. Однажды, еще до землетрясения в Ташкенте, Ильзе сильно влюбилась и как-то узнала (добрые люди на сей счет всегда найдутся), что ее Сережа ей не верен, более того, что он встречается с их школьной общей знакомой, у кото-

рой папа был директор завода. Именно это обстоятельство повлияло на выбор парня, вернее, его родителей. Мама Ильзе осталась одна, а партия для сына в случае его женитьбы на Гале, становилась очевидной. И тогда Ильзе выпила горсть таблеток и утром, когда мама пыталась ее добудиться, все не просыпалась никак. Пришла тетя Нина, потрогала девочку, пощупала пульс, взгляделась в нее и велела вызывать скорую. Врач оказался удивительным человеком, на всю свою жизнь Ильзе даже запомнила его фамилию — Чеботорёв. Когда в больнице, куда с ней отправилась и тетя Нина, сделали все необходимое и опасность миновала, тетя ей сказала: «Больше не смей этого делать никогда. Не ты распоряжаешься своей жизнью. И болеть больше не смей. Никаких чтобы болячек!» И действительно, Ильзе болела крайне редко, а если с ней и случалось что-то, то выходила из болезни быстро, с болью справлялась легко.

И тут тетя Нина хитро посмотрела на нее и спросила:

— А ты помнишь, что я тебе давно-давно велела? — не болеть? Помнишь? Ты послушалась?

— Да, я все, все помню. И, надо сказать, почти не болею. Недавно, правда, чуть не померла, но это мелочи, пустяки. Нечаянно получилось.

— А сердечко твое как?

— Прекрасно.

— Это — или ответ, или уход от него.

— Это — ответ.

— Тогда ладно.

Не хватало еще тете Нине нервничать по поводу ее недуга сердечного. Когда-нибудь она и это победит, это она точно знала. И вообще она не хворающая. Да и встреча со своим предшественником подтверждает это. Он, если и погибнет, то не от болезни, а в бою. Вот и ее жизнь — сплошное сражение. Только она частенько ведет его из-за кустов. Прямо и фигурально.

Насладившись чаем и рассказами о проказах местных девушек, как называла своих соседок по коридо-

ру тетя Нина, они стали прощаться и вдруг старая женщина расплакалась. Она редко плакала, Ильзе помнила об этом: слишком берегла себя, да и вообще считала слезы глупостью, предрассудком. Но тут стала говорить, что, наверное, они больше не встретятся, что Ильзе приезжает последний раз и что у нее... предчувствие.

— А нет у вас предчувствия, что я замуж, к примеру, выйду? Лучше вы об этом подумайте, чем плакать. Это вам не свойственно.

— Ты права, — сказала тетушка, утирая скомканным платком слезы, затем внимательно посмотрела на Ильзе и заключила: «Не знаю, как в этом, но в следующем году ты непременно выйдешь замуж. Так я вижу».

Ильзе рассмеялась, потому что это была в точности фраза дяди Кости. Она смеялась, обнимала Нинулю и заверяла, что не будет болеть и что выйдет замуж. Простились, Ильзе пошла к троллейбусной остановке.

Однако именно ее предчувствие почти на весь оставшийся день не покидало ее: а что, если правда они больше не увидятся? Как знать?

Путь до центра занимал более получаса и Ильзе стала думать о предстоящем симпозиуме, который благополучно действовал уже целых два дня, но она сознательно не спешила посещать собрание, так как не хотела каких-то встреч, впечатлений, которые могли бы повлиять на ее завтрашнее выступление. Она знала час, знала, где все будет происходить и прочитала в программе, что интересные доклады по ее части состоятся именно в последующие два дня. Ну, может оправдание себе такое придумывала, все же Питер, ее любимый город, ну что торопиться идти в зал и сидеть там!

И все же она решила подъехать к зданию академии и посмотреть хотя бы издали, кто выходит, какая вокруг здания обстановка. Глупость, конечно, но не лишняя смысла. А что здание?! Красиво, конечно, 19 век, все в лепнине. Выходят хорошо одетые люди, и лица их, однако, совсем не хмурые. Все нормально. Но лучше обождать до завтра.

Она так и сделала: пошла в гостиницу, чтобы еще раз посмотреть на свой доклад уже глазами питерской дамы. Ей очень хотелось уловить тот самый дух, который непременно завтра обнаружится у неё во время заседания.

И завтра — ну куда ж ему деться — настало и настала пора собираться и идти. Ильзе надела свое любимое платье лилового цвета, набросила палантин, потом запаковалась в шубу и немного подумала, как быть с прической. Но ветер и зимняя пора подсказывали, что фортить нечего и надо одеваться согласно погоде. Тогда она надела свою серую с черными прожилками вязаную шапочку и отправилась выступать.

Лестница, что вела на второй этаж, явно напоминала кинофильм «Анна на шее», то место, когда героиня поднимается вверх и глядится во множество зеркал и это ее отражение ей очень нравилось, как и потом все, что произошло на самом балу, включая многозначительное знакомство. Там еще автор говорит, что Анна жалела более всего, что нет матери, которая порадовалась бы ее успехам. Вот и Ильзе кольнула схожая мысль: мамы уже не было четыре года и эта утрата так и осталась вопиющим потрясением в ее жизни. Трудно и долго справлялась она с потерей дорогой мамы.

Она скоро нашла аудиторию, в которой заседали ее коллеги по секции, вошла туда, поздоровалась, но ей сказали, что ее доклад не сегодня, а завтра — на заключительном заседании. Отчего это и почему, сказать было трудно и Ильзе решила выслушать сегодня всех своих коллег и, если надо, выступить и в прениях.

Два первых доклада посвящались новейшим работкам в области анестезиологии, новым лекарствам и их действию на пациента. Ильзе с удовлетворением отметила, что ее тему никто пока не тронул. Она самонадеянно решила, что эта публика и не сможет ее коснуться. Уж очень деликатный вопрос решила поднять Ильзе, который был важен не только для реаниматологов, но и для всей медицины в целом. Вопрос мо-

ральный, психологический. Он касался коррекции взаимоотношений врача и больного в самый сложный момент их обоюдной подготовки к операции, выхода из нее и возвращения к нормальной жизни.

Теперь такие проблемы все меньше и меньше стали волновать медицинскую общественность. А жаль. Вот об этом, в частности, и собиралась говорить Ильзе. А пока слушала и с радостью отмечала, что и в Екатеринбурге, и в Новосибирске дела обстояли отлично и — более того — докладчики не напирали на достижения, а все больше говорили о процессе, что значительно важнее.

Наступил перерыв, она не стала дичиться и вместе со всеми отправилась пить кофе. По правде говоря, она любила только чай, но что поделаешь — дань традиции! Врачи в большинстве своем вообще предпочитают кофе. Но вот странное дело: именно на людях! А у себя в отделениях — пьют чай. И здесь чай был, но Ильзе решила наступить на свои желания и вышила чашку крепкого, совершенно замечательного кофе с булочкой.

И тут она увидела его. Человек стоял, полуобернувшись к большому залу, где ели, пили, прохаживались люди, все это несколько напоминало фойе театра, где зрители обменивались мнениями и разглядывали наряды: так вот, этот господин смотрел на стоящих и прохаживающихся несколько равнодушно, даже устало и вдруг остановил свой взгляд на ней, на Ильзе. И она вспомнила, вспомнила, где видела этот слегка отрешенный, несколько усталый взгляд. Там, на берегу моря, где сидели два друга, Александр и Илья, тот которого она не знала и другой, которым вполне могла и правда быть сама. Все подсказки. Все события последних дней говорили об этом. А почему нет? Попала же она в разлом, такой временной провал, где смешивались явь и реальность, где одно можно было увидеть через призму другого.

Нет, этот взгляд уставшего от бремени жизни человека, не спутаешь. Этот был, конечно, и старше, и



уже с сединой, но вальяжность, манеры, то роскошное равнодушие, с которым он взирал на толпу, было достаточным, чтобы понять, кто перед нею. Да, у него явно не фамилия Македонского, другая, но им-то он был, точно был. А, может, и сам догадывался об этом?

Ильзе смутилась, посмотрела в другую сторону и тут же засомневалась, стоит ли делать доклад, и как он, ОН его воспримет и не смешно ли в наш прагматичный век заморачиваться на этические проблемы?!

Она решила пойти в другую секцию, к другим заседающим, чтобы послушать немного о другом, о хирургии и потом рассказать дяде Косте, что новенького на этом поле. Это не возбранялось, люди давно переняли эту практику: всем было интересно зануть, что там, на смежном поприще и какие новинки имеются. Не все ведь отделения клиник смогли отправить специалистов из всех отраслей и специализаций. Так и получалось: ходили друг к другу, слушали.

Когда-то она, еще будучи на курсах повышения квалификации здесь же, но еще Ленинграде, была с приятельницей на ее заседаниях. А касались они — не больше, не меньше — театра. И ситуация была очень похожая. Например, они обе оказались в тогдашнем еще институте Культуры на секции сценической речи, где местная заведующая кафедры здорово напала на Высоцкого. И на речь, и на речевую манеру, и на голос, конечно. Тогда Ирина еле досидела до перерыва и сказала, что больше на эту секцию ни за что не пойдет: смутил абсолютный максимализм, ультимативная форма высказывания дамы. И они пошли к режиссерам и ходили к ним целую неделю, пропадали там до полуночи, но проводивший занятия Аркадий Кацман был неподражаем, они заслушивались. Он кричал, спорил, давал возможность спорить с ним и не соглашаться, но он не был мумией, а живым, равнодушным человеком. Это был великолепный мастер-класс и для реаниматолога в том числе.

И сейчас она слушала очень пожилого хирурга из Хабаровска, который едва ли не орал так же, как ста-

рый Кацман, что хирургия должна иметь лицо и видеть таковое и у больных. Это было здорово. И еще он рассказал о своем изобретении, которое помогает сшивать раны, делать искусные разрезы, что облегчает участь как больного, так и врача. Как же он любил то, о чем говорил. Сказал, что живут на гроши, но ни в Москву, ни в другой крупный центр ни за что не переберется. Есть же еще такие преданные доктора! Но почему все они сидят в глубинке?!

Ему зааплодировали, хотя это не очень было принято. Но хлопали все, поздравляли от души и просили приехать и показать то, что он умеет. Доктор из Хабаровска кивал головой, был сдержан и обещал все обдумать.

Когда она вышла из здания медицинской академии, немного задержалась на лестнице, увидела группу людей, стоящих на ступеньках, и среди них — своего знакомого незнакомца. Он тоже увидел ее и, как ей показалось, кивнул. Так, слегка. Но, может, ей все это только привиделось? Ладно, надо было идти домой, в гостиницу, чтобы наутро быть в полной форме на заключительном заседании.

Номер ей достался и правда симпатичный. Одной его важной особенностью было то, что она не слышала ни криков, обычных в этой гостинице, горничных, ни своих соседей — никого. И можно было делать что угодно, не раздражаясь на посторонние звуки, стуки, приглашения где-то поужинать и т.д. Её крыло жило своей, совершенно обособленной жизнью. Никаких дяденек с Кавказа со своими неизменными предложениями: их попросту не было.

Она разложила свои бумаги, все просмотрела и решила непременно добавить то, что ее так поразило в докладе хирурга из Хабаровска: личностную, человеческую сторону, о которой как-то не принято было говорить в последнее время. Она припомнила недавнего пациента, так смиренно переживающего отсутствие жены и свою болезнь, разговоры с дядей Костей и решила, что черед настал: надо о многом сказать, напом-

нить хирургам, которых так часто теперь обвиняют в бездушии и черствости, что дело не в одном только мастерстве и владении скальпелем. Надо обратиться к человеку, видеть и слышать его просьбы, его настрой, его в конце концов, характер. Все это обычно отменялось и внимание отдавалось линии разреза, чистоте проведенной операции — и все!

Наутро она была в самом приподнятом настроении и его не сумели испортить неизвестно откуда появившиеся люди в больших кепках (это в декабре-то!), ни их взгляды, ни жуткий сырой воздух. Напротив, все это еще больше подзадорило ее и придало сил.

Когда она вошла в зал, где уже собралась публика, она обвела глазами сидящих, но того человека не увидела. И ей почему-то полегчало. Смешались чувства: она и хотела, чтобы он услышал ее, а с другой стороны, было боязно: как это он воспримет сказанное ею?

После второго докладчика она услышала свою фамилию и поднялась к трибуне. Оглядела зал, сделала паузу и начала говорить. Структурно ее доклад был поделен на три части. Она умела строго держать главную линию, вести к цели в своем изложении. Воды? — нет, не было. Сначала, как водится, постановка вопроса и две позиции, где предлагалось разрешить проблему. Так, она считала основным в действиях анестезиолога не собственно качественную и дозированную подачу наркоза, но и сам выбор препарата, который, как она утверждала, напрямую связан не только с биохимическими показателями крови и другими данными, но был связан также и с самим образом жизни больного, его предпочтениями. Обмолвками, всем тем, что вроде бы стоит за скобками привычных оценочных действий. То, как говорит больной, его ритм речи даже, может указывать на такие нюансы в его психо-физиологической сфере, что становятся помощниками в дозе, самом препарате и т.д.

Она приводила примеры из своей практики, которые доказывали несомненную связь характера человека с его биологическими особенностями; активность и

позицию в жизни — с необходимостью употребить тот или иной вид наркоза. И еще она в заключении настаивала на особенностях вывода человека из наркоза, снова и снова подчеркивая личностный, психологический аспект.

Примеры ее были настолько впечатляющими и выводы точными, сама она так хорошо смотрелась с высокой трибуны, что успех был предрешен: ее поддержали аплодисментами, очень тепло проводили с трибуны. Может, глобального, опровергающего все работы в своей области и не было произнесено, но она, как обычно, нашла связи, такие нити, которые в напряжении держали весь доклад и выстроен он был компактно и точно. Это и сработало. В середине — и это было основной фишкой выступления — она рассказала о новом составе, который был запатентован к ее клинике и одним из разработчиков которого являлась она сама.

Наркоз, который с успехом уже применялся в ее больнице, помогал избежать весьма неприятных последствий, губительных зачастую для организма и которые проявлялись не сразу. Именно в связи с этим новым ее и поставили в заключительную часть заседания. Такое сообщение не могло пройти незамеченным и быть услышанным только на секции.

Вопросов, конечно, была тьма. Она рассказывала о составе, о трудностях патентования, о действии препарата на больных, о разительном контрасте со всеми прежними аналогами и о совершенно новом, значительно менее отягощенном выходе из наркоза. Спрашивали, почему такое название. Отвечала и на этот вопрос. Она знала, что об этом непременно спросят и приготовилась пошутить. «Илькостин» — так назывался новый вид наркоза. И она назвала свое полное имя: Я — Ильзе Ахатовна Тимофеева, а хирург — Константин Эдуардович, вот и сложили первые буквы наших имен. Получилось Илькостин, с ударением на второй слог. Разве не звучит? А пробивали его, испытывали целых пять лет. С места послышался голос: «Это еще немно-

го!» — «Да, случается и побольше. Разработчиков вообще пятеро, но решили назвать именно так. Теперь мы применяем его и не боимся цензуры. В медицине ее тоже хватает. Люди выходят из наркоза значительно мягче, я бы сказала, не подвергаются таким испытаниям, которые и нам-то, работающим с ними, трудно даже предположить. Нет этой внезапной потери, ощущения жизни. Плавность и еще меньшая что ли трагичность перехода в иное состояние — вот что важно. По крайней мере теперь слово «наркоз» не является грозным приговором о возможных осложнениях, о последствиях. К сожалению, проследить, что потом, совсем потом, бывает затруднительно, хирург руководствуется сегодняшним, даже сиюминутным моментом. А человеку еще жить и живет он после применения наркоза чаще всего некомфортно. И наша задача была — в первую очередь: снять а) психологический дискомфорт, б) улучшить качество жизни впоследствии: через день и через большой промежуток времени».

Выступил один господин, который весьма скептически отнесся к рассуждениям Ильзе. Он сказал, что главное дело врача, а хирурга — тем более — не качество дальнейшее и не всякие мирлехлюндии, а спасение человека. Звучало, конечно, угрожающе и весомо. Но народ зашумел и раздался в зале голос, что в спасение уже включено и то, что будет потом. Об этом тоже думать надо, и, если есть такой прецедент, прислушаться бы стоило, а не клеймить и не верить. «Вечно наша российская привычка: отрицать то, что действительно хорошо. Уйму времени надо потратить, получить инфаркт и уже заслуженным человеком, наконец, помереть. Но всегда и непременно через боль, испытание, неприятие. Почему?»

Ильзе ответила, что ждать — смерти подобно, что настало давно такое время, которое требовало пересмотра отношения к больному, его нуждам. И лишь бы прооперировать, лишь бы не допустить осложнений — еще полдела. Нужно думать и о другом: о подходе, щадящем подходе к человеку, ибо хирургия — уже

жестокая штука, испытание для больного. Так почему не облегчить жизнь, если это возможно?

Зал был почти весь согласен, но а тех, кто любит побухтеть и не поверить сразу, — ну, так это дело святое. Как без этого?

Был еще один доклад. Потом подводили итоги и она вышла в фойе. Она знала и из программки, и слышала в кулуарах, что готовится банкет, ну, или фуршет. Думала, как быть, но поняла, что нечего спешить в номер, успеется, надо бы остаться. И в этот момент вздрогнула, так как услышала голос: «Вот вы какая! Не страшно?» Это был ОН. Он стоял рядом с ней, смотрел на нее и нисколько не смущался. Ни того, что она испугалась, ни шума и ропота прогуливающих. Он стоял, широко расставив ноги, словно стремился еще крепче опереться о землю, был в то же время расслаблен и самое главное, каким был его взгляд. Не дерзким, и, тем не менее, пронизывающим, не наглым, но отчетливо говорящим о его интересе к ней. Он смотрел на нее глазами мужчины и этим все было сказано.

— Ой, вы меня испугали.

— Вы зал весь перепугали и ничего. Что ж одного-то бояться?

— Я не боюсь. Уже не боюсь.

— Вот и правильно. Слушал вас. И как вам не страшно уводить человека в мир иной?

— Нет, там ничего не страшно, там все другое.

— Знаю я вашу клинику в Москве, слышан. А я вот здесь, это моя вотчина, — и он обвел рукой пространство вокруг себя. Уже говорили с вашими о всяческих обменах. Посмотрим, что вы там изобрели.

— Вы что же, хирург?

— И хирург. И над хирургами — он засмеялся — хирург.

— Понятно, вы начальник.

— Главное, что я правда хирург, а можно — просто врач. Как вам больше понравится.

— Мне нравится быть врачом.

— Будьте, будьте, кто спорит? Вы зиму нашу успели повидать?

— И ощутить тоже.  
— Что ж, не нравится?  
— Мне в этом городе нравится все.  
— Вот и переезжайте.  
— Шутите? Это хорошо.  
— Отчего же? Вы — ценный кадр.  
— Вот и ценят меня на своей стороне.  
— Ох, мне эти питерско-московские штучки.  
— Да, куда уж без них?  
— Я слышал, как вы назвали ваше имя. Так вот, Ильзе Ахатовна, можно вас будет пригласить на выставку, скажем? Посмотреть на одну даму?  
— Так на даму или на...  
— Да, на даму, но которая изображена на полотне. Уж извините...  
— Пока не знаю. Хочется чаю.  
— Это вы правы. Чай и всякое другое будет. Десять минут и вы согреетесь.  
— А в какой области вы хирург?  
— Абдоминальная хирургия. Но — сопряженная с огромной грудой бумажных дел. Знаете, есть такие управляющие театром режиссеры. У них либо с бумагами порядок, либо ставят спектакли хорошо. Пытаюсь и ставить, и подписывать вовремя.  
— Значит, вы начальник.  
— Не это главное.  
— Хирурги и должны быть философами, а не от важных дел мастерами.  
— Как? — Он засмеялся и в этот момент двери дру-гого зала распахнулись и стали всех приглашать пройти. — Зовут меня, кстати, Александр Исаевич. Прошу вас, проходите, а я вас ненадолго покину. Но непременно найду.  
С этими словами он отошел и Ильзе отправилась в большой прекрасный зал, где было по-царски накрыто несколько столов, официанты в перчатках разносили напитки, и все выглядело, как в хорошем голливудском фильме. Не качества хорошем, а с отменным исполнением хороших манер. Постановка удалась, режис-

сер и администратор были в одном лице и лицо это сверкало!

Настроение Ильзе было под стать происходящему. Люди то и дело подходили к ней, спрашивали, просто пожимали руку, другие приветственно кивали. Кто-то понимающе вздыхал, сопровождая междометиями свое согласие. Она приняла из рук какого-то мужчины бокал красного вина, выпила почти половину и с удовольствием стала закусывать всякие вкусности. Хозяин бала куда-то запропастился и она совершенно растворилась в море всеобщего восхищения, шума, звяканья посуды, какого-то несмолкаемого рокота, который был явно положительного толка. Все были довольны, что все благополучно завершилось, находились общие старые знакомства, устанавливались новые, словом, все, как после большого форума: объятия, возгласы, поцелуи, шумные разговоры, обмен адресами, приглашения в гости для обмена опытом и просто в гости.

Ильзе подумала, что оставшиеся два дня, наверное, нечего задерживаться, и так все благополучно завершилось, и следовало бы отправиться домой. С давних времен у нее сохранились координаты знакомой, которая в прежние сложные времена, когда билетов было не достать, всегда помогала ей. Поэтому о билете можно было не беспокоиться, вечером или, в крайнем случае, утром взять. И — снова дневным.

Не успела она додумать свою мысль, как рядом оказался ее новый знакомый по имени Александр, хозяин и распорядитель, главный режиссер всего этого великолепия.

— Одни? Не годится. Идемте, я вас кое с кем познакомлю.

В другой раз Ильзе, скорей всего, и отказалась бы, но после очевидного успеха, выпитого вина, общей атмосферы притворного благодушия ей и хотелось разных разговоров, не специального, не профессионального характера, общения, внимания. Они подошли к группе людей, где двое особенно выделялись. Это была пожилая супружеская пара ( как выяснилось

потом), очень доброжелательно глядящая на подошедших Ильзе и ее спутника.

— Вот, рекомендую,— на старый манер сказал главный режиссер, — наша воительница, госпожа со странным именем Ильзе и не менее загадочным отчеством, не говоря о совсем русской фамилии. Прошу вас, — и он церемонно выдвинул Ильзе как-то вперед. Она поздоровалась и ее начали спрашивать.

— Вы ведь в клинике Абрикосова? Знаем-знаем, сами там работали много лет назад, а потом вот бросили московские эскалаторы и отправились в глушь. И там наша помощь нужна. Хирурги везде на вес платины.

— И где же вы теперь?

— Где? Удивитесь: в маленьком городке под Костромой, Шуя называется. Радуемся, живем и радуемся, что вовремя сбежали от ваших пробок. Мы их предпочитаем откупоривать. Вам самой как, нравится? Ну конечно, вы же еще так молоды.

— Ну, это все так, относительно. Иногда мне кажется, что я уже прожила огромную, длинную жизнь. И даже не одну.

— Это точно, человек живет долго, даже если умирает рано, да и жизнью у него совсем даже не одна.

— Это точно, я, по крайней мере, знаю это точно.

— Загадками говорите, молодой вы наш рационализатор. И что ж вы знаете? Наверное, рассказы больных об их полетах-перелетах?

— Отчего же больных? Я вот совсем, кажется, и не больная, а тоже...

— Что? Говорите.

— Была, довелось. Посетила иные миры. Вы меня не очень сейчас слушайте. Вино, знаете, ажиотация. Но кое-что было.

— Да вы не смущайтесь, мы и сами не лыком шиты, тоже кое где полетали, повидали. Даже предшественников своих повидали, едва ли не знакомились.

Ильзе рассмеялась и со смехом сказала:

— А у меня такое чувство, что одного из тех, с кем там встречалась, и здесь увидела. Но, скорей всего, это мое неуёмное воображение.

Разговор шел на полушутливой ноте, все не очень углублялись в правду: действительно было или нет, настолько все было замечательно и просто искрилось, как снег, который валил и валил, и уже совсем не сыро, а сухо и тепло было на всей петербургской земле.

Ильзе распрощалась с коллегами из далекого маленького города, подала руку и им, и только протянула Александру, как тот отрицательно закачал головой и вызвался проводить Ильзе.

А на улице и правда была зима. Настоящая, без всяких там питерских фокусов с их слякотью, промозглостью, ветром. Ильзе поежилась, но все же согласилась прогуляться. Они пошли по старой улице, которую не раз переименовывали и которая теперь, наконец, называлась Казанской. Собор, знаменитый собор, который она очень любила, само место это, стоял во всей своей неприступной красоте и гордыне. И все же было в нем и что-то такое, что не вмещалось в понятие только величия и роскоши. Он был доступен каждому, ему мог и поклониться человек, и присесть рядом, и даже полежать (такое Ильзе видела не раз). Он был исполнен такого достоинства, что особые почести были как бы и ни к чему: он просто был, казался вечным и не хотелось подсчитывать даты, чтобы согласовать его истинный возраст, как и возраст самого города. Правда, убеждалась она в этом не раз, было в Петербурге нечто такое, что не могло сравнить его ни с одним российским городом. Какая-то отстраненность и высокое осознание своей миссии. И еще — в особенности в последнее время — бедность. Она читалась на лицах граждан, проступала сквозь почти прозрачные стены домов и становилась уже приметой города. Еще в центре ходили очень дорого одетые люди, в основном молодежь, но чуть подальше — было это ощущение как-то незаметно наступившей старости, а вслед за ней и бедности. Но — странное дело — город это никак не упрощало, не выдавало в нем беспомощности или стремления просить о помощи: он был все так же горд и неприступен. И смешанное чувство сострадания, жалости и



любви так были перемешаны и так согласовывались между собой, что не было сил оторваться от его улиц, самого воздуха и аромата. Настроение города в каждый приезд Ильзе было тоже разным. Оно менялось под стать живому существу. Да он и был таковым: живым и очень человеколюбивым, если так вообще возможно сказать о городе.

Они шли и какое-то время оба впитывали ароматы зимы, самого пространства, шли и молчали. То очевидное многословие и стремление привлечь к себе внимание в других условиях потускнели и стали незаметнее, теплее что ли. Он, Александр, и сам не стремился произвести впечатление, очень чутко реагируя на состояние своей спутницы. И было понятно, что особенно говорить не хотелось. Дойдя до гостиницы, он также был сосредоточен и не проявил ни малейшего желания навестить ее, а только попросил пойти завтра с ним в музей и действительно взглянуть на особенную даму. «Не уезжайте, выходные же, что спешить с этим. Успеется еще. Сходим, взглянем на другую жизнь». Он просил, но был учтив и не назойлив. Ильзе попросила подумать до утра, но он все же приподнял край своей меховой шапки (тоже мне, тонкости!) и твердо и спокойно вновь сказал: «Сходимте, прошу вас». Простились и она ушла в объятия огромного паука-гостиницы, где и останавливаясь множество раз, все равно толком не разобрались, где какие ходы и выходы и почему почти все номера так непохожи друг на друга.

Заснуть сразу не удалось и она лежала, просматривала программу конференции и нашла того, кто был в руководстве. Звали главрежа Александр Исаевич — это она уже знала — Микеев. Ну нет, никаких особых ассоциаций. Обычная фамилия. Однако было в облике, манере общаться, говорить этого человека нечто такое, что, несомненно, привлекало внимание и было весьма притягательным. Наутро она вскочила от раздавшегося звонка и, сразу не разобравшись, бросилась к двери. Потом пришла в себя, проснулась на ходу и подняла телефонную трубку. Это был он. Она не стала задавать

глупых вопросов, как это он ее отыскал, и так все было понятно. Назначена была встреча на 11 часов около гостиницы. У нее еще был целый час с небольшим, чтобы успеть позавтракать и подготовиться.

В кафетерии, где кормили завтраками, народа побавилось и она с удовольствием осмотрелась. Чего здесь только не было! Однако после вчерашних яств особенного аппетита не было и она взяла каши и немного выпечки. Смотрела по-прежнему в окно, благо здесь можно было увидеть улицу, так как кафе располагалось на первом этаже. Спешили люди. Как же разнолика была толпа. И почти нищие, и модно одетые люди, и вечно что-то продающие граждане, и странные типы, снующие возле вокзала. Это была особая толпа, не московская, был в ней свой шик, печать города. Питерского человека всегда можно было выделить из той же толпы пассажиров в поезде, на улице, где угодно. Хотя — нет, теперь не так уж и безошибочно. Ей рассказывали, что некоторые едут на несколько дней на работу в Москву, а возвращаются под выходные к себе в город. Да, Москва платит всем, и здесь захватила лидерство. Обеспечила работой Кавказ, Украину, Молдавию. Только белоруссы ведут себя скромно со своими молочными продуктами, остальные же, словно рассердившись на свою же кормилицу, неуступчивы, насуслены и открыто не любят город. В Петербурге иная ситуация: здесь не сильно разбогатеешь, если ты чужак, но свои тоже есть крутые. Еще какие! Она не раз бывала в гостях за городом в районе Комарово, Репино и поражалась шику, с которым демонстрируют свое превосходство над простыми гражданами подтянутые бизнесмены. Они ведут себя внешне, может быть, потише московских, зато угадываемое чувство превосходства и высокомерия очень даже прочтываются.

Она была в том лилового цвета платье, которое надевала в первый свой день, когда еще не дедала доклада. Шубка, шапочка, не меховая, но связанная ее неизменной приятельницей Верой, с которой виделись редко



и чаще всего по делу. Ильзе приносила иной раз какие-то лекарства, даже осматривала Веру, та же в благодарность вечно что-то либо шила, либо вязала.

Александр стоял уже возле входа в гостиницу, но внутрь не входил. Что это, тоже высокомерие, что-то похожее на княжеское поведение, когда переступить черту не годится? Он ждал. Не суетился, не прихлопывал себя по бокам от совершенно явного питерского холода, а достойно и спойкойно ожидал выхода Ильзе. И когда она появилась, галантно подошел к ней, слегка склонил голову, поздоровался. Она ответила просто и дружелюбно. «Ну что, решились? Отправимся к даме в гости?» — «А почему именно к какой-то определенной даме? Чем она вас так зацепила? Что в ней особенного?» — «А вот посмотрите. Особенное действительно есть. И хочется посмотреть именно на нее. Знаете, это работа не импрессионистов, у одного из них, Эдгара Дега, тоже есть схожий сюжет, называется «Абсент». Это уже потом другой прекрасный живописец, Пабло Пикассо написал словно вослед ему свою версию и назвал ее «Любительница абсента». И по манере, и цвету. По способности даже видеть мир — это совершенно два разных полотна. И ближе, наверное, Дега. Но поскольку в нашем Эрмитаже есть Пикассо, посмотрим. Машина ждет. Холодно сейчас на троллейбuse. Да и выходные, они плохо ходят. Не возражаете?»

Ну, конечно, еще бы ей возражать! Да против такого шика кто бы стал перечить?

Было тепло и уютно в машине, в слишком хорошей машине с водителем и они довольно быстро оказались на Дворцовой площади. Войдя в здание музея, Александр очень уверенно повел ее именно в сторону своей дамы. Она увидела эту картину сразу и сразу она ей не понравилась. Всем: манерой смотреть, своим неухоженным видом, тем, что бутылка была уже опорожнена, позой, руками, — словом, всем. Ее спутник словно почувствовал это и спросил: «Ну что, не подходит? Откровенная слишком?» — «Наверное. Но дедо даже не в

этом. Характер у нее скверный». Ну, тут уж он рассмеялся: «Характер, говорите? — возможно. Но не это главное. Отрешитесь от вида женщины, ее одежды и посмотрите, как она раскованно живет, как ей совершенно наплевать, что о ней подумают и какое она произведет впечатление. И еще. Она способна размышлять. Может, не о высоком. Согласен, но она ведь пристально о чем-то своем думает. И нам словно говорят, что не один только абсент — страсть ее жизни, у нее есть проблемы, заботы и много обязанностей. Разве это не вычитывается из картины? Да и, знаете, есть здесь еще одна, очень тонкая, наверное, вещь: противостояние молодого Пикассо импрессионизму, который он в ту пору, в самом начале века изучал. Поверьте, сам не знаю, почему, но мне хотелось, чтобы вы ближе подошли к этой особе, взглянули на нее и, быть может, заразились ее способностью дистанцироваться от мелкого и суетного. Она вся во власти своих размышлений, своей думы. Мне кажется, помести ее в приличные условия жизни, она тоже смогла бы создать нечто важное, не пустое. Она вообще не пустышка. Вам не кажется?»

Ильзе вглядывалась в облик женщины и не все мысли своего оппонента казались ей такими бесспорными. Что уж там такого могла совершить такая женщина? Разве что убрать хорошенько лестницу, кабинет и не разбить ничего? Но она по-прежнему всматривалась в ее лицо, руки, большие и далеко не изящные, и спросила: «А почему, скажите, вам так важно было показать ее мне? Что за ассоциации?» — «Потому они и ассоциации, что порой трудно дать четкий ответ, что первично, что идет следом. Но как только я вас увидел, увидел пропасть между вашим характером, обликом и этой дамой, захотелось показать ее вам. Этот контраст показать, понимаете?»

Они еще постояли какое-то время перед полотном, прошли по некоторым другим залам и все же решили покинуть Эрмитаж, чтобы посещение так и оставило свой конкретный привкус.

Зима с улиц никуда не делась за это время, была

так же хороша, в особенности на этой величественной площади, емкой и очень композиционно правильной. Поехали и Ильзе даже уже не спрашивала, куда именно: положила на предпочтения своего гида.

Он знал, куда повезти гостью и они оказались в прелестном тихом ресторанчике, где струился фонтан, играла музыка и посетителей было человек пять-шесть, не более. На стенах в полумраке выступали фрагменты фресок, а подле стен стояли небольшого размера статуи, явно имеющие отношение к греческой цивилизации. Но сдалано все было не топорно, не как во многих нынешних заведениях подобного рода: много и напоказ. Но с изяществом и лишь намеком на возможные ассоциации у посетителей. Видно было, что Александр здесь уже бывал, его знали и тут же устремились к нему. Он предложил Ильзе меню, но она тут же отказалась, сказав, что полагается на его вкус.

— Вы бывали в Греции? — спросила она.

— Конечно.

— Почему же «конечно»?

— Потому хотя бы, что многие мои родственники и сейчас там проживают. Да и корни давние — тамошние.

— А по отчеству не скажешь.

— Ну так, сколько столетий, не говоря уж о смене нравов и правителей прошло. Это теперь Греция — свободное, вольно дышащее государство. Не знаешь, когда там даже работают, так люди любят сидеть в кафе, пить вино, разговаривать. Но работают, все движется, не стоит на месте. Народ очень доброжелательный.

— Не смейтесь, пожалуйста, мне кажется, я вас где-то видела. Давно. Нет, не так. Видела совсем недавно, но знакомы мы были еще в очень далекой жизни. Когда не было в Греции никаких кафе и жители предпочитали не вино пить, а все больше сражаться.

— Вы о каком же это времени?

— Ну, до нашей эры — это точно.

— Ладно, вот выпьем и вы мне все расскажете. И про меня в том числе.

Принесли закуски, вино и они выпили легкого красного вина. Хорошо, что он не заказал чего-то крепкого, Ильзе это очень понравилось. Музыка, обстановка, напитки делали свое дело, располагая к беседе.

— Знаете, Ильзе, и у меня такое чувство, что где-то я вас уже видел. Не встречались, не знакомились, это точно, но вот видел ваш взгляд, фигуру, что-то еще. Но где — не знаю.

— Может быть, в прошлой жизни?

— Знаете, не верю я в нее. Дай Бог, в этой разобраться.

— А я иногда посещаю другие пространства. Попадаю в них так, невзначай. А там столько интересного и познавательного. Вот там-то я вас и встречала.

— И что же, и говорили со мной?

— Знаете, не совсем я, а ваш друг, по имени Илия. Меня вы просто не заметили.

Александр сдержанно улыбнулся, пытаясь понять, шутит ли его спутница или у нее сложности с психикой, но все же спросил.

— Видите ли, если бы я не слушал вчера ваш доклад, Бог знает, что подумал бы. Может, из наркоза еще не вышли сами, еще что-то. Но передо мной вполне здравомыслящий человек, красивая женщина и, судя по всему, замечательный специалист. Может быть, даже редкостный. И — такое?

— Представьте. Никакой это не наркоз и не психика. Допустите, по крайней мере, мысль, что непознанного и неподдающегося толкованию рациональному еще много и много. Просто сделайте такое допущение. Это не умалит ваши знания, но откроет вашему взгляду другой масштаб понимания. Процессов, событий, характеров. Это мы привыкли замыкаться на понятном и легко объяснимом. А попробовать отступить от него значительно трудней. А вообще... Ладно, не стану вас томить. Я видела, знаю это совершенно точно. Потом расскажу. И даже то, кем вы были. Это не противоречит реальному, материальному объяснению мира, поверьте.

— Возможно. Но свикнуться с этим непросто. Инте-

ресно узнать, кем же, в качестве кого вы меня там встречали?

— Узнаете, терпение, как говорили древние.

Они не спеша тянули чудное некрепкое вино, ели всевозможные блюда, которые приносили в изобилии и она не удержалась, спросила:

— Обычно так потчуют либо на Кавказе, либо в Средней Азии. Хлебосольство и — главное — изобилие там в чести. Откуда у вас такое? Хотя, понимаю, о подобном, может, и не стоит спрашивать.

— Отвечу. И отвечу очень просто: люблю настоящее застолье с обилием всего и вся. Если есть на то причины. А они, мне думается, сегодня есть.

— Интересно, который теперь час? Не прихватила часов.

— А вот и замечательно. Вы знаете, что в Древней Греции отношение ко времени было весьма условным. Греку не было нужды знать, который час. Солнце ритмически организует день, движение звезд, но необходимости нумеровать часы в ту пору не было: надобности такой просто не было. Кстати, в отличие от римлян, греки ориентировались в основном на природные феномены, такие, как появление всходов пшеницы, на время сельскохозяйственных работ. И даже в городе в ту пору — подчеркиваю: 4-5 века до нашей эры — грек живет, сообразуясь с ритмом природы — с восходом или закатом солнца. Еще Аристотель заметил: «В определенное время все возникает и гибнет...»

— А знаете, как в ту пору назывался зимний месяц? — Посидеон и равнялся 29 дням.

— Ну вот, видите, какие мы оба патриота древности. В особенности Греции. В этом что-то есть. Скажите, как вы живете? Что вас томит? Ясно же, что что-то тяготит. Неправда ли?

Ильзе подтянула кусочек лимона и поднесла ко рту, чтобы съесть. Однако что-то задержало ее и она ответила.

— Как живу? Да по-разному. Но у меня, например, есть две страсти. Одна — это, конечно, работа. А дру-

гая связана с моими походами и вот такими почти на грани сумасшествия провалами в иные пространства и времена. Не скажу, что эти посещения так уж безобидны и проходят бесследно. Энергия сначала уплывает, затем возвращается с какой-то утроенной силой. Я люблю лес и люблю там бывать. Благо, он недалеко от моего дома. И вот именно там, на казалось бы, пустом месте и происходят подчас чудеса. Иногда я задаюсь вопросом и решаю отнести все происходящее на счет своего необузданного воображения, но порой подтверждения истинно случившегося бывают слишком очевидными.

— Вы обещали рассказать про меня.

— Да... Знаете, мне страшно говорить об этом. Могу показаться смешной и уйдет какое-то очарование момента.

— А вы не бойтесь.

— Хорошо. Но и вы помогите. Хотя бы тем, что не станете подтрунивать и насмешничать

— Обещаю.

Ильзе собралась с силами, снова сделала глоток пьянящего напитка и молча посмотрела на собеседника. Был он так импозантен, хорош собой, ну, барин и только, что какие уж тут повествования о море, где сидел давний его предшественник, размышлял со своим другом о жизни и смерти и тоже, как и этот человек, не боялся ничего. Он был так силен и так обезоруживающе светел и прямолинеен, что не оставалось сомнений: только такой человек и воин мог покорить мир.

— Вы были тогда, там, где я вас видела... вы были Александром Македонским. Сидели на берегу моря и разговаривали с самым близким своим другом по имени Илия. Им была я, а вы... ну, собственно, вот им вы и были. Всё. Другом Илии. Я все это видела, была трезва, находилась не под гипнозом и т.д. Ох!

Спутник ее молчал и только звук, неназойливый звук музыки обволакивал эту беседу и делал ее тему особенно чарующей и почти сказочной. Может, так оно и было и никакого провала во времени не происходило?

И все это ее, Ильзе, сумасшедшее воображение, которое помогало ей всегда: и в работе, и в отношениях с людьми, и в изобретении нового препарата, который спас жизни и улучшил эту жизнь уже многим людям?! Кто знает? Но верить во все это очень хотелось и что же — вполне возможно, что так все и было.

— Знаете, — сказала она, — если вам так сложно, сочтите все это вымыслом, прелестной выдумкой, сказкой. Но как же хочется чуда и сказок, разве не так? И человек всегда верит в чудеса, он их ждет и даже провоцирует их появление, не так ли? Ну, отбросьте, в конце концов, все, что я сказала. Если вам так будет удобнее.

Она вопросительно посмотрела на Александра, но тот не был настроен на легкомысленный лад и смотрел строго и был очень сосредоточен.

— А почему бы и нет? — вот и все, что он сказал.

Позвольте, я кое что прочитаю вам.

— Да, конечно.

— Вот.

### **В ЛЕСУ**

**В таинственном лесу всю ночь слышны  
Шум и шуршанье темной тишины;**

**А лунный свет, процеженный листвою,  
Во мгле мерцает млечною росой.**

**Дух бесокойства, летний ветерок,  
О чем-то грезя, бродит без дорог;**

**И слушает звезда, играя светом,  
Как лес поет с ночным дождем дуэтом.**

**Но что-то ропщет в чаще голубой —  
То птичий стон, а, может, волчий вой,**

**И луговищем пахнет все сильнее,  
И от прохлады засыпают змеи.**

**Приходит час, когда гнездится страх,  
А жизнь всего лишь теплится впотьмах,**

**И каждый мысли темные лелеет,  
Таится в одиночестве и млеет.**

**Но в небесах дородная луна,  
Как прежде, медом сладостным полна,**

**И всей душой, всей белизной стремится  
На рыжие стада холмов излиться.**

— Теперь мой черед сказать вам: вот вы какой! Чьи же это строки?

— Французский поэт Жермен Нуво. Его вместе с Рембо почему-то назвали проклятыми поэтами. Это 19 век, Франция. Здесь есть какое-то предощущение. Чего — пока неясно. Но что вот-вот случится. И, знаете, у меня тоже такое схожее предощущение чего-то, что должно, непременно должно произойти.

— А сами не сочиняете?

— Нет. В юности — да, конечно, но теперь все по части бумаг, депеш, приказов. Грустно. И на практику все меньше времени выдается. А вот вы, мне сдается, пишете. Или я ошибаюсь?

— Нет, правы.

— Так расскажите. Знаете, ведь стихи — это самое непостижимое из созданного человеком. Ни живопись, ни театр не поспорят со стихами в их таинственной отрешенности от правды жизни. И все же их хочется слушать вопреки всяким рациональным толкованиям о призрачности и эфемерности их природы. Что-то зовет, побуждает их складывать. Что-то просит, ведь так?

— Наверное. Пожалуй, вот это.

**Осенней музыки мотив плывет в прохладе,  
Биенье душ укоротив, шаг будет ладен.  
Шумит и плещется прилив — догнать бы  
кстати,  
В щемящем шорохе затих — забавы ради.  
Как клонится свеча в ночи — березой  
в поле,  
Вовек тебя мне не найти — и жить  
в неволе.**

Он ничего не сказал, только положил руку поверх ее руки и произнес: «Переезжайте?» Она не сразу отстранилась, посмотрела вглубь зала и потом весело ответила: «У вас все так просто?» — «Не все. Далеко не все». Помолчали, она выпрямилась и сказала, что через пару минут вернется. В туалете она вытерла слезы, не сумев себе ответить, что с ней, отчего это она расстроилась. Может, такая внезапность ее оглушила? Она еще постояла, осматривая себя и подумала об Алексее. Он ничего подобного не говорил никогда. Только предлагал, настойчиво звал замуж, но вот форма... Что она так прицепилась к этой форме? Ей казалось, что он спешит сбежать от самого себя, от жизни и укрыться, сделав какое-то вполне разумное, рациональное дело. Но от чего он должен был укрываться и зачем? Этого она не могла взять в толк. И именно этим объяснялись всегдашние ее отказы. Жесткая настойчивость, которую так предпочитают, ждут женщины, была не по ней. Она тут же пыталась отыскать ответ, отчего это так и что руководит человеком. Вот в случае с Алексеем уж точно не любовь.

А, может, она просто жестко судит? Что за детский максимализм? Нет, в ощущениях ошибиться невозможно: три года отношений — это что-то. Можно понять многие вещи, понять, отчего и почему. Что в первую очередь руководит человеком. И не раз пытая себя за

эти годы, она все же приходила к одному ответу: нет, что-то с ним неладно, не одно только безоглядное чувство связывает их отношения с Алексеем. А здесь? Нет, понять пока что — либо пока никак нельзя, но что-то уже начинает тянуть к этому человеку. Какая же в нем притягательность!

Вернувшись к столику, она застала о чем-то сильно задумавшегося мужчину.

— Вы, наверное, о конференции? Все успокоиться не можете?

— И о ней тоже. Хорошо, что прислали вас. Обычно разработчики или сильно ревнивы: кто кому доложит о результатах, либо становятся едва ли не равнодушны к уже случившемуся.

— Ну, уж, так и равнодушны!

— Это, знаете, как написать роман, фильм снять. После результата, пройденного пути возвращаться снова и снова к сделанному далеко не всем хочется.

— А вы знакомы с режиссерами?

— И знаком. И делились, да и вообще... факт этот весьма известный. А скажите, вы... Словом, у вас семья?

— Конечно, а как же? Даже когда у человека один только кот, ему все равно кажется, что это семья. Вы так не думаете?

— Это хорошо, что вы шутите. Нет, семья — это семья. У меня она далеко. Сыну девятнадцать, жена уже третий год живет в Петрозаводске. Так, поехала тоже на конференцию и вот, осталась.

— А сын?

— Сын второй год снимает квартиру. Учится, зарабатывает и снимает. Эта ситуация с женой подтолкнула его. Решил, что раз все разъехались, то и он ни с одним из нас не останется. Колька, друг мой, живет себе, но заходит или вместе где-то бываем.

— А на кого учится?

— Ой... Не на медика, к сожалению. Он — будущий юрист. Любит эту казуистику.

— Так, может быть, и не стоит печалиться? Раз любит?



— Получается, что династии как раз и не получается. Все — сами по себе. А вы, между прочим, так и не ответили.

— Я помню. Со мной проживает Блюз, двухлетний кот, покладистый и даже учтивый. Это, если прийти в гости, он не рычит и не кусается, а только вежливо обнюхивает и очень любит сумки: так и норовит лечь рядом. Наверное, стережет. Что-то, видимо, у него от собаки.

Ильзе засмеялась и сказала, что почти прошел день и завтра пора ехать. А там — работа, привычные дела.

— Мой дом, хоть и в черте города, а лес совсем рядом. Люблю после работы выбираться туда.

— Это не там, часом, вам разломы времени повстречались?

— Именно. А вы не иронизируйте, мы не можем знать все, правда. Но то, что я вас встречала, — тоже правда. Были вы несравненно моложе, но взгляд, скажу я вам, не изменился, привычка как-то особенно, со смыслом молчать — тоже. Века минули, а вы почти тот же: завоеватель. Вот, точно: вы — завоеватель. У вас это в натуре. Я видела, как вы режиссируете балом, как отдаете распоряжения. Все это продуманное великолепие наблюдала. Нет, здорово, вы прирожденный режиссер, полководец, оратор и... Ой, это вино, больше не наливать.

— Отчего же, еще немного и вы не то еще скажете. Мне очень, очень любопытно.

— А вот и напрасно. Правда — в трезвости. Я — за трезвый образ жизни и трезвый ум. Это ерунда, что когда выпьешь, наступает состояние, когда все можешь, все тебе подвластно. У нас тоже лежат иногда господа артисты. Так в частных беседах признаются, что иногда хоть и позволяют себе, все равно уровень сценической правды что ли, чистоты выше, когда без всяких допингов. Это же от неуверенности, от страха они потчуют себя. На самом деле, если есть понимание сверхзадачи, словом, цель понятна, все и так получится.

— Не уезжайте утром. Давайте и завтра погуляем, может быть, согласитесь прийти ко мне в гости?

— Ой, нет, пока нет. Не готова.

— Да что значит готов — не готов? Я пригласить вас могу? Что нам мерзнуть на улицах? К вам я не напрашиваюсь.

— Заметила. Правильно. Я подумаю. Но лучше — будете в Москве... Нет, это что-то не то. Простите, я правда должна подумать. А сейчас. Сейчас пойду в свою обитель.

Они вышли на улицу и остановились от неожиданности: такой резкий ветер был полной неожиданностью. Что ж поделать, особенности города, его климата. И все равно зима с ее непредсказуемостью была хороша. Машина подъехала очень быстро, видно, водитель отсутствовал какое-то время, но к определенному часу подъехал. Иначе как объяснить такое скорое его появление? Они доехали до гостиницы, распрощались и условились, что утром, часов в 10 он позвонит.

В номере было, к счастью, тепло, кепки тоже, к счастью, отсутствовали, и она забралась на кровать, чтобы закрыв глаза припомнить какие-то детали, просто закрепить то обаяние от встречи, которое переполняло ее. Она сама не заметила, как в какой-то момент взяла ручку, бумагу и стала писать.

**Не шел по улице и не качался,  
Не снился по ночам и не влюблялся,  
Покинутый навек, был сослан сам собою,  
И что б там ни подумал век,  
Доволен был престранною игрою.  
О чем томился, что искал в стране  
чудесной?  
Что строил, где, с кем создавал  
Хрустальный замок, легкий и отвесный?  
Он сжег мосты любовного безумья,  
И как бы ни были тяжки и холодны  
Потуги ярости, легко впадал в безумье.**



**Ну, отчего решил раздать добытое  
всем сестрам?**

**Кому — браслет, кому — далекий остров?**

**Не выполнил обет, сломался,**

**В тиши отказов скорбно затерялся,**

**Оставил помыслы скорбеть в тиши**

**о нищих,**

**И дом его — лишь хлам, паром, где нету**

**днища.**

**Так сжег мосты и память зачерствела?**

**А не подумал ли, что сердце перезрело?**

**Что храбрый путник, ветреный и верный,**

**Ушел на дно судьбы, волною не согретый?**

**И бушевало море грез, где был откос,**

**Где истина носилась, стремилась не упасть**

**И иногда крестилась.**

**Ах, истина безвинная моя,**

**Ты где и где моя земля,**

**Что прячется в тумане?**

**Ее мой взор сегодня не достанет,**

**Ее я не увижу на рассвете дня**

**Все потому, что нет и не было меня.**

Уснула она сразу, так и отбросив свой листок на краешек постели. Утром вскочила, когда не было еще восьми и тут же решила, что отправится за билетом. Собралась, позавтракала в своем холле, где давали такую вкусную геркулесовую кашу и побежала через дорогу, благо было совсем рядом. Вокзал, гостиница — все близко. Билеты были и от этого она несколько растерялась и принялась обдумывать, как поступить. И все же что-то неумолимо толкало ее принять решение ехать. Она протянула деньги, назвала «Аврору» и уверенная в том, что поступила правильно, отправилась снова в гостиницу.

Один человек неподалеку от ее отеля привлек ее внимание. Он стоял едва одетый, но не в лохмотья, а с некоторой долей претензии. На шее болтался непомерных размеров шарф, джинсы были тоже вполне приличные, но вот верх его гардероба! Что-то напоминавшее тулуп, но без рукавов, жилет, но на пуговицах. Он выразительно посмотрел на неё и изрек: «Всем холодно, мадам, можете не давать мне денег, но вспомните, что на свете есть музыка!» И он упреждающе поднял вверх палец, кстати, вполне чистый. Ильзе слегка замедлила свой шаг, внимательно оглядела человека со странной, тоже претенциозной речью и спросила:

— Вы что же, музыкант?

— Это вы хорошо подметили: я именно музыкант. А за этим может стоять что угодно. Я — сочинитель. Музыка звучит во мне, она повсюду. Вы тоже ее слышите?

— В некотором смысле — да. Вот, возьмите, — и она протянула пятидесятирублевую купюру.

Музыкант достойно, с легким поклоном поблагодарил, засунул бумажку куда-то глубоко внутрь своей отнюдь не зимней одежды и изрек:

— Я, конечно, благодарю вас и пить не пойду, не думайте. У меня другие цели. У меня нет бумаги, да многого нет. Но я... я еще ничего. Вы как относитесь к виолончели? Я пишу только для нее.

— Отношусь хорошо. Вы бы оделись, холодно.

— Мне — нет. Смычок, он ведь волшебный. И он у меня в груди. Слышите? То-то. А вы не из Питера, это точно.

— Как вы догадались?

— Питерские добрые, но денег не дают. Редко. И... походка у вас какая-то не такая что ли... Спешите очень. А на дворе девять утра. Питерцы по воскресеньям так лихо не бегают.

— Да, в наблюдательности вам не откажешь.

— А то! Вы сходите в филармонию, лучшего места нет в Петербурге.

— Спасибо, обязательно.

— Это вы так, из вежливости. Не пойдете, хотя и интеллигентная.

— Пойду, обязательно пойду.

— Сударыня, еще раз спасибо. Не смею вас задерживать. Слушайте музыку. Она везде.

— Я знаю.

— Вот и славно. Хорошей вам жизни!

— И вам всего хорошего.

— Бросьте, что может быть уже хорошего? Только одно — и он указал на место у себя запазухой — только она, моя музыка и смычок. Он не должен замерзнуть.

Ильзе подумала, что московские нищие музыканты не вступают в столь изысканные дискуссии и не призывают ходить в концертные залы. Что ж, разница — она везде заметна. Вот и билет ей продали совершенно иначе, нежели в столице. Без злобного и какого-то подчеркнуто-равнодушного выражения лица, а спокойно и любезно. Нет, хорош все-таки этот благословенный город! Но не менять же все разом! И она подумала, впервые, наверное, вполне серьезно, что ей, однако, не двадцать пять и уже не тридцать. Надо же, этим январем тридцать три! Ужас. Какие переезды? А что это — она осеклась — про переезд? С чего эта тема? А, понятно, зацепило все-таки. Ладно, будем отогреваться.

Звонок телефонный раздался вовремя и первое, что спросил Александр, было про погоду. Но не так, как в Москве, когда все с ума сходят, задавая вопросы про дождь, снег и лучи солнца. Совсем иначе. Питерцев, она это успела заметить, погода интересует в значительно меньшей степени, нежели москвичей. Их волнуют совсем иные темы и они не отдежуривают своими вопросами о погодных делах в городе.

— Как вам наша зим? Отличается от вашей? Намного холодней?

— Здравствуйте, я уже побывала на улице, совсем иначе, не так резко что ли, как и все, что есть в этом городе.

— Так что вам мешает сделать его своим?

— Не будем об этом.

— Не будем. Как вы отнесетесь к загородной прогулке с заходом, заездом ко мне на дачу? Там точно не замерзнете.

— Наверное, не получится.

— А что мешает?

— Днем я уезжаю.

— Жаль.

— Что ж, так надо.

— Понимаю. Но, может быть... словом, я хочу сказать, у нас есть время. Еще так рано.

— Даже не знаю. Если только сходить куда-нибудь...

— Нет, у меня есть план и мы, думаю, успеем. Можно не оглашать? Берите вещи, а я за вами заеду через минут тридцать. Буду ждать в машине около входа. До встречи.

И он положил трубку. Ильзе поначалу растерялась, но сумку все же собрала, всмотрелась в себя и решила, что не все еще в жизни потеряно. Да и почему, собственно, должно быть потеряно? Сплошные приобретения: конференция, успех, знакомство. Более того, не простое знакомство, а прямое, можно сказать, совпадение с тем образом, который так и застрял в ее памяти. Она уже не бередила себя вопросами, что это: выдумки природы, абберация зрения или что-то, что имеет прямое отношение к ирреальным проявлениям? Главное, что думай хоть так, хоть эдак, — жизнь продолжается, а все происшедшее — тоже одно из ее проявлений. И какая в конце концов разница: было, привиделось? Это не усугубило, не испортило жизненного тонаса, впечатлений от самой жизни. Так что, было — не было — все равно хорошо.

Она почувствовала, что начинает подчиняться этому большому человеку и делает это не без удовольствия.

Машина ждала, ее встретили, посадили и ... Словом, они отправились в какой-то путь, но какой — ей было неизвестно. Она успела только спросить: «Я не опоздаю к поезду?» — и все, реальность словно подвинулась, уступая место совсем другим картинам и крас-

кам. Они неслись на такой скорости, что и правда: действительность со всеми ее светофорами, бутиками, падающим снегом словно растворилась и на ее месте возник, неожиданно и очень скоро, совсем незнакомый мир. Другой, непривычный и совсем непохожий на известный. Она едва успела посмотреть в окно, чтобы убедиться, что все, что ей начинает казаться, несколько не мерещится, а имеет четкие очертания, контуры, цвет. Имеет другой аромат и настроение. А, может, и другие временные ориентиры. Все может быть. В какой-то зимней сказке?! Еще бы!

В шатре, очень напоминающим новые современные питерские бары, покрытые цветной тканью, полулежал Александр. Его поза, сам отрешенный вид говорили о чрезвычайной задумчивости, в которую он был погружен. Сосредоточенность его вида свидетельствовала о непростой, напряженной работе ума. Что-то мучало его, не давало покоя. Главное сражение выиграно, нет нужды сомневаться в своем могуществе, однако были и иные причины, которые мешали полной растворенности в военных успехах.

Когда зашел Илия, он почти не поменял позы и даже не откликнулся на приветствие друга. Илия, уже изучив достаточно характер Александра, сам не торопился начать разговор. И лишь спустя какое-то время услышал: «Ты знаешь, как поступил Сократ, когда всякими возможными способами ему докучал Алкивиад? Так вот, он видел довольно безразличное к себе отношение Сократа и решил действовать нетрадиционно. Привел его в палестру, где они, обнаженные, занимались физическими упражнениями. Затем он пригласил Сократа поужинать. Однако после этого Сократ пожелал уйти. Алкивиад залучает к себе Сократа на ужин во второй раз и просит его, ссылаясь на поздний час, остаться у себя. Сократ ложится на соседнее с хозяином ложе. Через некоторое время Алкивиад спрашивает: «Ты спишь, Сократ?» — «Нет», — отвечает он. И тогда хозяин решает действовать более настойчиво. «

Ты достойный меня любовник». Он предлагает обменять цвет своей красоты на знание Сократа. Но последний с обычным своим лукавством уходит от вопроса. Алкивиад ложится тогда с ним рядом и ранним утром признается: «Проспав с Сократом всю ночь, я встал точно таким же, как если бы спал с отцом или со старшим братом».

— Для чего ты мне это рассказываешь? Всем известна чистота отношений Сократа, в особенности с молодыми людьми.

— Сексуальная мораль эллинов никогда не была строгой.

— В семь лет, как того и требовал закон, я был отлучен от матери. Отец был слишком занят гражданскими делами, а педагог-раб не прививал нужных принципов. Я не в оправдание, но просто напомнить, что никогда не уклонялся от того, что было принято в нашей среде. Когда я еще был совсем неокрепшим юношей, эроменом, нашелся человек более зрелого возраста, эраст. Но к чувствам это не имело никакого отношения. Только с тобой во мне проснулось то, чего никогда прежде я не испытывал, да и не испытаю уже никогда.

— Что значит «никогда»? Так не стоит говорить. Мы не знаем, что случится с нами завтра, а ты...

— Я вижу, ты расстроен. Что с тобой? Что не дает покоя? Скажи.

— Что? Так просто не скажешь. Я страдаю от того, что наш союз не может быть прославлен, что-то в этом есть, отступающее от норм и обычаев.

— Про обычаи лучше помолчим: что стоят росписи на тех же вазах, где все подробности любовных связей изображены предельно откровенно! А произведения Аристофана? Там же сплошь и рядом персонажи пользуются непристойным вокабуляром и аллюзиями разного свойства. Разве это не доказывает, что нравы Греции всегда были либеральными в этом отношении?

— Я тоже начитан и помню Платона, который считал, что есть процесс духовного восхождения души к

Прекрасному и Совершенному, поскольку речь идет о любви между душами. Он говорит и о личностной подготовке эромена, того, кто более зрел и опытен. Но ведь обычно такая связь заканчивалась, когда годам к восемнадцати у юноши начинала расти борода и он был готов к социальной деятельности. То есть речь идет о зрелости.

— Вот и замечательно. Что же тебя томит? Что мы не дошли до возраста зрелости, ну, один из нас?

— А мы оба одного возраста, ты даже моложе. И что же? Разве мы можем говорить о духовном отцовстве, как Платон? Я опасаясь.

— Чего же, дорогой друг?

— Что придет наказание.

— Какое же?

— Самое страшное, какое может быть: кого-то из нас не станет.

— О чем ты думаешь? Зачем? Есть день и есть ночь. Пока есть то и другое. Я знаю, это я виноват: в прошлый раз я очень углубился в тему смерти. Вот и напугал тебя.

— Я тоже думаю о ней, но представить жизнь без тебя даже не пытаюсь.

— Вот и не надо. Зачем представлять то, что доставляет досаду и печаль? Лучше посмотри, какой и правда сегодня день? Идем прогуляемся, подышим. Что ты тут закрылся от всех? Тебе это не свойственно.

— Хорошо. Только скажу тебе... Скажу то, что меня действительно заставляет страдать. Я иногда думаю, что нам не долгая отпущена жизнь.

— Что ты такое опять говоришь? С чего?

— Так, предчувствую и все. И помочь мне не может никто.

— Ты видел сон? Так не верь снам, это все сказки.

— Это не сон, это понимание реальности. Не может греховность союза не быть наказана. Все имеет свой конец и свое начало. Мы — в середине пути.

— Да, только поскорей закончим все это и возьмем, проскачем на лошадях. Давай, я подготовлю все. По-

охотимся. Да хотя бы на зайцев, не все же армией заправлять. Не рыбной же ловлей заниматься.

— Это ты на Платона намекаешь?

— Почему намекаю, прямо говорю, как и он, что жажде морской охоты, ужению рыбы не стоит предаваться, совершается ли это безделье днем или ночью.

— Вот и не станем бездельничать. Наш Плутарх тоже говорил подобное: что занятие это недостойно свободного человека.

— Странно, правда? А что, охота лучше что ли?

— Правила, традиции, как без них? Помнишь, Ксенофонт еще уверял, что каждый юноша должен уметь охотиться. Ведь это же почти спорт.

— Согласен, только не разделяю увлечения, что были в Спарте, когда даже на бедных илотов охотились. У нас же все до крайности доведут. Илот — тоже человек, но разве с этим считались?

— С каких это пор ты стал таким миролюбивым? С тех самых, наверное, как мир лег у твоих ног! А вечером устроим хорошие посиделки. Прикажи, как в хорошие времена, приготовить оливки, горного зайца с тимьяном и луком, зажаренных певчих дроздов, ягнечка на вертеле, пироги с медом и черникой...

— Остановись, ты вспотеешь, а, может, и лопнешь. Тогда сбудутся мои мрачные предчувствия. Фиги и жидкий мед с молоком — на это я еще согласен. Могу добавить вина со старым рецептом.

— Это то, что со специями?

— Бери покруче — с гипсом. Помнишь, пили после победы? Вызнал рецепт еще в юности я. А будешь налегать на изыски, получишь «черную похлебку» — с уксусом и солью. Ну, и с кровью, конечно. Я против изысканных блюд. Вот похлебка из свинины как раз то, что надо. Не дело — объедаться. Молодцы наши предки: вообще редко ели мясо. Да и дороговато это им было. Налегали все больше на ифион. И правда, ифион — лучшая еда: бобы, чечевица, турецкий горох, фиги. Ну и мой любимый виноград. Нет, хватит, что-то завязли мы в кулинарных переборах. Едем!

Они скакали по совершенно пустынной местности, с каждым плетром, с каждой стадией все больше осваиваясь от черных мыслей и дурных предчувствий. Молодость есть молодость: как бы ни были умны рассуждения юных мужчин, все равно возраст, сила брали свое: хотелось беззаботного времяпрепровождения и полного слияния с тем, что предоставила природа в избытке: силой, волей, страстью к жизни. Бесконечной верой в ее нескончаемость, несмотря на все перипетии времени, сменяемость декад и месяцев, на неумолимый ее ход.

— Смотри, вроде бы посидеон, а как тепло!

— Да, Илия, скоро наступит мой любимый период, хотя все равно будет тепло.

— И какой же это месяц?

— Гамелион, тот, что следом за этим. Что-то в нем есть возвышенное. Так и ждешь чего-то нового: переворотов, встреч, сюрпризов судьбы! Здорово, что ничего не стоит на месте: от луны до солнца, от длины шагов до морских сажений. Они — хоть и повторяются, а всякий раз по-новому. И это вселяет надежды!

— Александр, что ты вообще больше всего любишь?

— Ну, ты и спросил! Как что? Тебя, свой народ, вот этого коня. Родину, наконец.

— Это хорошо. Я тоже люблю народ, хотя и здорово устаю от него. Мне больше нравится быть в войске. Там хоть знаешь, зачем, куда, с какой целью. И не отпирайся, у тебя есть что-то схожее. Вот закончились войны и ты захандрил. Так не годится. Собирай снова свой поход!

— Но куда? — засмеялся Александр. Вот оно, все наше, что еще нужно! Я же не могу подняться в небо и там отметить свое имя!

— Ты? Мне иногда кажется, что ты можешь все! Или... или почти всею

— Просто сейчас тебе хорошо, ты летишь и ни о чем не думаешь. И — прекрасно. Какие там часы, какие гномоны и клепсидры, эти придумки измерения времени? По сути, они ни к чему, лишние. Человек соиз-

меряет свою жизнь вовсе не по часам того же Метона. Как движутся луна и звезды, когда поднимается солнце — вот что важно, здесь основа. А приборы? Все лгут календари. Посмотришь, когда-нибудь нечто подобное еще скажут вслед за мной!

— Наверное, ты прав. Как и Аристофан: «Вы ж надлежащих дней не чтите, повернули все вверх дном».

— Вверх дном, говоришь? Это хорошо, это по-нашему. Человек должен рано вставать и прежде всего видеть восход солнца. Только это и дает верный настрой. Нет хворей. Нет плутовства, обмана — не волнуйся, хотя бы на сегодня! — а есть восход и вот, скоро, думаю, нас начнет догонять заход его. Ничего, мы еще поскачем, пусть поборется, пусть поспешает. Мы все равно опередим и его.

— Теперь я понимаю, почему ты призван побеждать. Ты даже солнцу не соперник, вот в чем дело.

— На том стоим! На том стоит мир! Надо побеждать!.

Солнце действительно все больше и больше стало наедать на бегущих резво всадников и казалось, что совершается какая-то игра: кто вперед, кто окажется быстрее? Но неумолим цикл времени и даже Александр не в силах обогнать и нарушить его ход — то единственное, что никогда не подчинялось ему!

Когда поезд тронулся, единственное, что смогла разобрать через окно Ильзе, это были слова: «Я буду ждать». Она их услышала и точно запомнила. Ждать? Но чего? То, что случилось с ними только что, вообще мало поддавалось хоть какому-то разумному логическому объяснению. Когда, в какой момент все произошло? И почему не было леса, того главного условия, которое, как предполагала Ильзе, и было основным для попадания в иное измерение, пространство? Да, леса не было, а поначалу вообще все больше мелькали дома и улицы. Но потом, потом-то все равно возник какой-то новый, неожиданный пейзаж. Совсем не характерный для северной столицы. А потом и вовсе все смеша-



лось. Сдалась незначительным и куда-то укатилось. Стал важен совершенно иной смысл и иное понимание происходящего: оно не то, чтобы раздваивалось или рассыпалось на отдельные фрагменты, нет, оно просто объемно и цельно стало другим. Вот и все. И оба они, и Ильзе и Александр, не переселились в иных персонажей, а словно издали, через какую-то дымку наблюдали за всем, что происходило на их глазах. Общаться, разговаривать они не могли, как и не могли свободно покинуть место, где только что видели двух друзей, но каждый осознал, что все происходящее имеет к нему самое непосредственное отношение, что это он и есть в далекой и совсем неведомой жизни.

Она не представляла, что может ожидать ее в будущем, что значит это «я буду ждать» и как на самом деле разовьются события. Да и не хотела это знать.

Гринелла Аркадьевна вручила ей Блюза, а она — купленный ей в первый день сувенир — большой красивый палантин. Сама она их очень любила и предпочитала делать подарки только такие, к которым лежала душа. Он ей понравился неожиданным сочетанием цветов, где преобладал сиреневый. А Гринелла не раз говорила, что такой цвет ей как раз к лицу, в особенности к волосам. Обе остались довольны, соседка даже предложила выпить вместе чаю, но Ильзе было над чем подумать в одиночестве и, прижав свое дорогое сокровище, она пошла к себе.

Блюз понимал, что наконец он дома и что никто ему не сможет теперь запрещать все подряд, как было целых почти пять дней. Он обожал драть диван. Хозяйка разрешала, а вот в новых условиях этого делать не полагалось и кот страдал. Он выл, кусался, по полдня не притрагивался к еде, соседка смиренно сносила все его капризы, брала его снова и снова по причине своей привязанности и к Блюзу, и к Ильзе, и просто она была добрая, несмотря на свое жуткое имя. К гремучей змее она не имела никакого отношения, напротив, была очень ухоженной, любящей посмеяться дамой преклонного возраста.

Ильзе посмотрела, что там осталось в холодильнике и на секундочку пожалела, что не отправилась пить чай к Гринелле. Но... вышла из положения. Сварила макарон и натерла старый сыр. Как раз то, что надо к такому блюду. А чай-то у нее водился всегда. Она пила его и снова вспоминала встречу с питерским Александром, ее одолевали сомнения относительно реальности событий, в которые они, словно на могучей блестящей лошади въехали, вкатились и которые при всем ее рациональном складе ума, приличном образовании и нормальной голове — просто не укладывались ни в какие рамки. И она решила. Она решила, что больше не станет мучить себя разбором провалов — перелетов — перемещений. Будь что будет и как оно есть: случится, так случится, нет — так нет.

Предстояло завтра с его новым рабочим днем и новыми переживаниями, событиями. Она заранее приготовила привезенные сувениры, сложила их и заснула вполне счастливая.

Новый день и вправду принес новые заботы. Сначала все шло по плану: раздача слонов, объятия, но через пару часов хорошее, летучее настроение стало также быстро испаряться и связано это было с тем, что поступил больной, который однажды уже лежал у них по поводу аппендицита и был успешно прооперирован. Но теперь дело осложнялось камнями в желчном и предстояла нелегкая операция: человек ни в какую не соглашался на нее и реальной сложности и даже угрозы жизни не представлял. Отправили, как самую чувствительную натуру, ее на беседу. Вот и оказалось дело непростым.

Она подошла к больному, лицо которого выдавало серьезную степень поражения: оно было одновременно и бледным и с желтоватым оттенком. Был он слаб, но упорно держался за свое: дайте, мол, лекарство и все пройдет. Уже так случалось у него, якобы. И она решила сдвинуть ситуацию.

— Ваше имя Павел Тихонович?

— Ну да, сейчас уговаривать начнете?



— Начну. Но не уговаривать, а попытаюсь нарисовать картину, которая вас ожидает в случае отказа. Ваше право — делать — не делать. Но если вы озабочены тем, чтобы остаться здоровым, а не инвалидом, вы прислушаетесь к мнению врачей.

— Я уже слушался, сто раз такие приступы были. Все проходило.

— Теперь наступил сто первый раз: придется с ним как-то считаться. У вас семья есть?

— Ну...

— Что жена говорит?

— Я все решаю.

— Ой, не все так легко. Через час-другой ей придется решать, а не вам. Чего ж тянуть? У нас новый наркоз, через денек станете замечательным огурчиком. Что вам стоит? Закроете глаза — проснетесь — никаких камушков. Мы их вам на память отдадим. Презентуем. Что, плохо? Катюша, ко мне. Давай бумаги. Пишите, скорей, Павел... Забыла... Пишите. Смотри, он головой кивает, но писать? Нет, наверное, уже не сможет. Руку держите. Ну вот, хоть какая-то, да закорючка вышла.

Больного, которого уложили на каталку, повезли в операционную и она побежала скорее готовится. Вытащили три приличных размеров камешка и все удивились, как они еще дышать — жить давали? Крепкий дядечка, однако. Вот и из наркоза стал выбираться нормально, по всем правилам. Скорей бы завтра, что там будет?

Ильзе каждого нового больного, которого оперировали, выхаживала словами ободрения и поддерживала как могла. Ей важно было понять, ощутить действительную разницу между тем, что было раньше и тем, как больные выбирают из оков хирургического вмешательства теперь. А разница была очевидной. Рвоты не было, сознание почти всегда проясненное, настроение не упадническое. Точно просыпались огурцами на грядках!

Вот и этот крепкого телосложения мужчина напрас-

но так долго упорствовал: ему давно бы удалить камешки, а он все лекарство просил.

Когда сидели у дяди Кости уже потом, к вечеру и пили чай, он неожиданно спросил: «А ты почему все замуж не идешь?» Она вопрос не одобрила, но все же ответила: «Наркоз оказывается в моей жизни пока важнее». — «Не согласен. Мы все круги адавы с его сертификацией прошли, хватит мучиться, все преимущества видны. Ты давай, отвлекись от операционной. Куда еще тебя услат, даже не знаю. Хочешь в Грецию съездить?» Ильзе вздрогнула. Неужели эта тема так и будет идти за ней и преследовать ее? Да что там такого, в этой Греции? Неужели и правда так хорошо, как все говорят?

— А почему именно в Грецию?

— Две причины. Там опять симпозиум, вот и решаю, ехать или тебя отправить. А вторая — это твое лицо. Оно стало не таким, как раньше. Ты и здесь, и словно... словно в Греции. Ну да. — Он засмеялся неожиданному ходу мыслей и подлил Ильзе чаю.

— Нет, поезжайте сами. Я дома хочу побыть. А лицо? Может быть, вы и правы? Я там иногда бываю, в этой Греции. Раньше она совсем другая была. Наверное, не такая веселая, как теперь.

— Откуда ты знаешь? В особенности, как теперь?

— Я после своего полета много чего стала знать, аж измучилась. Нет, больные не сказки сочиняют, когда утверждают, что что-то в них после клинической смерти меняется. Наверное, это правда. Или близко к правде.

— Да... Я так вижу.

Тут уже засмеялась Ильзе, услышав коронное утверждение своего шефа.

— Спасибо за трубку. У меня их теперь ровное количество — восемьдесят семь.

— Какое же это ровное?

— Для меня — так. Я так вижу. — И они засмеялись оба и оба поднялись, чтобы собираться домой.

Вечером, когда она подъезжала к своей станции,

еще подумала, что жаль, нельзя сразу отправиться в лес: спецодежды нет. Потом рассмотрела свои зимние высокие сапоги и решила, что ничего не случится, можно не по сугробам скитаться, а идти цивилизованным путем. Да и в другие миры меньше оснований попасть будет. Нет, стоит пойти прямо сейчас. А то темнеет рано, уже поздно из дома и не выберешься.

Подходя к заветной тропинке, что уводила вглубь, она успела подумать, что, наверное, лукавит и что хотела бы все же услышать тот голос, который многое предрек. А, может, и свое слово вставить. А, может... Да, отчего и нет? Может, и увидеть?! Но кого? Кто это? Но не леший же, в конце концов!

Подойдя к огромному дубу, который ожидал ее почти как близкий друг или родственник, она обхватила его руками насколько могла и стала нашептывать слова о счастье, здоровье, свершении надежд и других прелестных мечтах. И неожиданно заметила тень. Тень отделилась от другого дерева, стала приближаться, контуры ее проступали все четче и она, наконец, увидела существо, которое и предположить не могла, что подобные водятся в лесу. Нет, это был не страшный зверь и не леший, не чудовище и не фея, на встречу с которой она очень рассчитывала. Это был довольно благообразного вида пожилой мужчина, одетый почти по погоде, если не считать непокрытой головы. Он был без шапки, с какой-то нелепой сумкой, больше напоминающей рюкзак и приближался медленно и даже осторожно.

— Не испугал? Не бойтесь, я нормальный.

— Я и не боюсь.

— Понятно, понятно, вы ничего не боитесь. Только дрожите вся. Напрасно.

— А вы...

— Я? Нет, я точно не леший. А вы вот с сумочкой. Это в лесу лишнее. Значит, с работы или еще откуда...

— Да, с работы. — Она говорила, а сама, по обыкновению, думала совсем о другом. Например, о том, что совсем не страшно и что так пронзительно пахнет зи-

мой, что хочется закричать во все голо и даже запеть. И, сама от себя подобного не ожидая, вдруг как закричит: «А-а-а...» Затем по тону поднимаясь все выше: «А-а-а-а...» — « Сама не ожидала. Здорово! Какой же здесь воздух!»

— Это у вас хорошо получилось. Скажу вам, что и сам люблю иной раз поаукать, но только один, чтобы никто не видел. А-а-а-а... Видите, я тоже поддался искушению. Лес — это вообще великое искушение...

— А чего? Искушение чего?

— Да многого. Например, убеждаться в том, что мир тебе подвластен и никого в нем, кроме тебя, нет. Тогда совсем замечательно! А вы работаете?

— Я — да. Можно, я спрошу?

— Еще бы!

— А вот не встречали ли вы здесь какое-то такое непривычное существо... Пожалуй, женщину, но с редким голосом. А главное — она может и не показаться, а только скажет что-то такое и... исчезнет.

— Да как же, конечно! Здесь чего не встретишь?!

— Вы шутите, а я серьезно. Мне очень хорошо был слышен ее голос. А главное потом все так и получилось, как она сказала.

— Когда очень ждешь чего-то, непременно это и случится: встреча ли, событие.

— Нет, она не просто обычный посетитель леса, она, мне кажется, в нем живет.

— Это вы... простите, такого не встречал, да и невозможно это. Город —то совсем близко. Как можно? Хотя... подождите... Слышите? Неужели?..

— Вот, убедитесь теперь. Мне кажется, я начинаю понимать кое-что. Сейчас увидите.

В это мгновение чуть в стороне от той тропинки, где они стояли, действительно возник силуэт и принадлежал он явно женщине, которая вполне буднично сказала: «Верить или нет — ваше дело, но согласитесь, есть что-то притягательное в самом лесу. Отсюда и тайны, и желание их познать. «Вот вы, к примеру, — и она обратилась явно к Ильзе, — скоро получите такое изве-

стие, которое перевернет всю вашу жизнь». — Она помолчала, что-то прошелестело рядышком и снова они услышали: «А у вас, уважаемый, — хоть вы и впрямь ничему подобному верить не желаете, — тоже событие, но уже другого свойства. Наконец по лесу бродить бросите, дом у вас будет, ждите». — С этими словами голос пропал, как и само даже напоминание о встрече, о той, что только что находилась рядом и сказала обоим нечто странное.

— Отчего ж не быть, может, и будет, наконец, — воскликнул потрясенный мужчина. — Жду, так долго жду. Одна несправедливость множит другую, уже и сил на надежду не осталось.

— У вас что же, жилья нет? А где же вы проживаете?

— Где... Где придется. Часто вот здесь и обретаюсь, у меня тут что-то вроде шалаша. Обустроенного, знаете. Но часто его сбивают, негодники, палят, разбирают на ветки, словом, хлопот хватает.

— Но как же так? Вы, простите, уже не тридцати лет господин.

— Да, и даже не пятидесяти. Родственники, знаете ли... Отношения, они не всегда чудные и безоблачные. Глядишь, а уже все испортилось, чувства испарились, справедливость вообще ушла в небытие. И осталась улица с декабрьским снегом. Или... лес. Так что дом вроде бы у меня и есть, но весьма условный. Документы вот, все при мне, так и хожу: то в лес, то в инстанцию какую-нибудь. Но туда очень не люблю наведываться. Лес мне как-то ближе. В нем даже теперь теплее. Вы как думаете?

— А думаю я вот что. Сейчас мы пойдем ко мне и до того момента, пока не исполнится все то, о чем мы только что услышали, побудете у меня. И не спорьте, прошу вас.

— Но вы... вы даже не знаете меня. Может, я ...

— Да вижу я все. Документы дома покажете. Может, что-то и придумаем. Пошли, уже совсем темно, да и холод забирает.

Человек в некоторой растерянности шел следом за Ильзе, поскольку тропинка была слишком узка, чтобы пробираться вдвоем. Лес, сначала плотно обступающий идущих, постепенно становился все более прореженным, слышался звук электрички, а потом совершенно неожиданно расступился и они оказались на открытом пространстве, где виднелись дома. Уже попадались прохожие, уже пахло городом, а вскоре они и вовсе ступили на улицу, которую одолели за двадцать минут и оказались в доме у Ильзе. Здесь было тепло, светло и она даже доставала из сумочки кое-какие продукты, которые успела прихватить в соседнем магазине. Блюз подошел к незнакомцу, обнюхал его и почему-то так и осталась лежать у его ног. Ильзе наконец додумалась спросить, как зовут ее нового знакомого, а себя поймала на мысли, что за последнее время довольно много знакомств произошло в ее жизни. Реальных и совсем фантастических.

Она отправила Илью Аристарховича в ванную, а сама принялась сочинять на кухне новое блюдо. Что-то было подсмотрено там, в питерском ресторане, что-то домyselивалось свое, но импровизационное начало одерживало верх и она понимала, что приготовит непременно что-то необычное. Главное — было мясо, овощи, а все остальное можно придумать.

У нее нашлись даже тапочки большого размера, так и лежавшие почти несколько лет и пользовались ими крайне редко, в те времена, когда приходил Алексей. Но теперь они, времена, миновали, а тапочки остались. Вот и пригодились теперь.

Вышел весь преображенный Илья Аристархович в чистой рубашке и шароварах (тоже остатки прежней жизни), направился на кухню и сказал, что так, как он чистит картошку, не чистит никто. И действительно, он не кусочками снимал шелуху, не частями, а сплошь и целиком очищал картофелину. Такого мастерства она еще и вправду не встречала.

— Где это вы так обучились? В армии?

— Помилуйте, армия была ровно сто лет назад? Где я и где молодость?

— Ничего-ничего, вы в прекрасной форме. Вон, как вам идет желтый цвет. Я тоже его люблю, у меня и платье есть такого цвета. Вы бы отдохнули, я справлюсь.

— Ну нет! Прийти к даме и сидеть в ее тапочках и шароварах на диване? Фи! Можете сами отдохнуть, а я вам такое блюдо сготовлю!

— В другой раз, сейчас как-то неудобно.

— Ну, ладно, вместе поколдуем. Блюдо будет иметь название?

— Решится позже, в процессе, так сказать. Сейчас я только начинаю свое волшебство. Я вообще обожаю колдовать, мечтать и впадать в разные живые сны.

— Знаете, я, кажется, угадал. Вы — актриса?

— Что вы, что вы! Я — доктор.

— Это замечательно, но только накладывает отпечаток суровости. Вас еще это не коснулось. Берегитесь!

— Буду стараться. А сами вы кто? Кем работали?

— Представьте, фотохудожником, корреспондентом. Работал себе в удовольствие в одном журнале. Много чего рассмотрел и глазами, и сквозь око аппарата. И реального, и сказочного. Книги всегда уважал, читал, знаете, не только шелкал. У вас, я смотрю, книги тоже в почете. Читаете или так?

— Люблю это занятие.

Ильзе резала, мыла, а сама думала, что это она за ненормальная? То одного в дом приведет, то другого, то с третьим в неизвестные путешествия отправится. Так и ищет приключения на свою голову.

Она накрывала в комнате на стол, доставала приборы, ей очень хотелось настоящего праздника. Илья Аристархович нисколько не был в тягость, напротив, исходила от него даже какая-то легкость. Был он в меру насмешлив, изящно выражался, не скупился на самые хорошие слова и не забывал про иронию.

Когда стол был совсем накрыт, зазвонил телефон. Она подняла трубку и узнала голос, который никак не ожидала услышать. Это был ее знакомый из Питера, Александр.

— Не отрываю?

— Ой, я не ожидала.

— Это хорошо. Неожиданность — камертон правды.

— Я люблю неожиданности.

— Успел это заметить. Знаете, я просто соскучился. Питер тоже скучает без вас. Что-то сделалось с погодой, стало совсем холодно, сыро и снег еле падает. Все остановилось.

Ильзе засмеялась и так же весело сказала:

— А у нас все еще зима и я была в лесу. Вот, ужин готовлю.

— Вы одна?

— Нет, человека из леса привела.

— Как это?

— Со мной такое случается.

— Хорошего человека?

— Замечательного!

— Я вам мешаю?

— Ни в коем случае, я же сказала. Человеку просто негде жить.

— А мне жить просто невозможно. Может, и мне вы поможете?

— Помогу, обязательно помогу.

— Когда?

— Ой, какой вы хитрый. Потом скажу.

— Спасибо, это обнадеживает. Я позвоню еще. До свидания.

— Да, до свидания.

Она повесила трубку и ей стало еще веселей и захотелось так же, как и недавно в лесу, крикнуть громко-громко что-то такое, что сказало бы всему миру, как прекрасна жизнь.

Действительно, блюдо получилось экзотическое. Чего там только не было намешано! Мясо, картошка, грибы, а еще и горький перец, красный и зеленый перец, много зелени, и что-то такое еще, что трудно описать словами: просто импровизационные чудесные нюансы! Не хватало только горного зайца. Как совсем недавно у знакомых пирующих молодых людей — за-

жаренных певчих дроздов! И откуда там певчие дрозды? Ладно, если уж говорить о том, что, почему и откуда — вопросы множатся, но это не означает, что ответы на них прибавляются.

Ильзе, наконец, перестала думать о том, правильно или нет поступает, приглашая в дом людей не просто из города, с работы, но — с улицы. Что это, потребность отступать от стереотипов и вести себя хотя бы вне работы раскованно и свободно? Да, и это тоже. И, наверное, совсем древняя традиция, потребность в чуде. Разве не чудо все то, что происходит с ней? И она провоцирует саму жизнь с ее предсказуемостью и логической внятнойостью на нечто такое, что уж никак не вмещается в привычные очертания обыденности и унылости. Конечно, ее работу никак не назовешь будничной: всякий день приносит неожиданности. И они сопрягаются не только с новыми больными, разными диагнозами, но и с необходимостью всякий раз принимать решение, отходить от догмы, идти частенько совсем не проторенным путем. И это вселяет надежду на то, что уж работа не сможет надоест никогда, в ней всегда отыщется нечто такое, что сможет спасти: ну тем хотя бы, что рутинной там и не пахнет.

— Илья Аристархович, а до лесной своей жизни что вы делали? Ну, ходили ли на работу, например?

— А как же: и ходил, и ездил, и людей принимал. Но больше предпочитал свободу. Еще с молодости. Брал фотоаппарат и шел на улицу, за город, в тот же лес.

— А журнал какой-то специальный?

— Да, знаете, я геологией всю жизнь увлекался. И факультет геолого-разведочный закончил когда-то. Было это в Ленинграде. Вот отчего мне жизнь в лесу вовсе не в тягость: навыки молодости все еще работают. Это, знаете, как память мышц. Не занимался танцами лет двести, а зазвучала музыка, вышел и понеслась. Никуда это не девается. Согласны?

— Вот чокаемся и я вам кое-что покажу. — Ильзе поставила темно-фиолетовый фужер на стол, вышла на середину комнаты и без какой-нибудь подготовки

села на шпагат. Спокойно так, во всю силу мышц и свои хорошо растянутые ноги. Затем очень изящно подобралась и включила рядом стоящий магнитофон. Зазвучала музыка, видно, очень знакомая и даже привычная для женщины, и она начала танцевать, да так свободно, раскованно, залихватски даже. Она то сужала свои плечики и делала мелкие замысловатые движения, то напротив, раскидывала широко руки и, полностью поглощенная музыкой, делала круги и вращалась на месте, двигалась по всему пространству комнаты и увлекая своего гостя. Он, не выдержав напряжения, встал. Сделал тоже какое-то странное движение и закружился в лад с ней. Они то раскачивались из стороны в сторону, то оба кружились в удивительном ритме, ни на минуту не останавливаясь.

— Вы здорово танцуете, — успела сказать Ильзе, но тут не выдержал Блюз и бросился под ноги своей хозяйке. Да, он множество раз был свидетелем разного рода упражнений, в том числе и танцевальных, своей хозяйки. Но чтобы какой-то дядька обнимал его Иленьку, — нет, такого он стерпеть не мог и рванул выручать Ильзе. Он царашнул танцора, затем страшным голосом завыл в такт — как ему казалось — музыке и всячески препятствовал дальнейшему танцевальному вечеру. Сидите — ну и сидите себе, но танцы, да еще в обнимку?! Нет, такого Блюз стерпеть не мог. Тогда Ильзе взяла его на руки, прижала и закружилась вдвоем по комнате. Но и это ему не понравилось. Так быстро отойти от ревности он не мог и продолжал вырываться и капризничать. Ну и с характером был этот кот, ничего не скажешь!

— Ох, а уж вы-то, вы! Даже устать не успел. Но кот ваш настоящий зверь, это точно.

— Ладно, давайте еще пригубим и будем спать. Вам тоже отдохнуть надо.

— Согласен, выпьем. Знаете, что я хотел бы предложить? За доверие между людьми! Вот вы... сами меня не знаете, паспорт не посмотрели, привели в дом, напоили-накормили, да еще и зажигаем! По правилам это



или нет? Кто знает? Есть что-то такое, что определяет за нас и вместо нас: правда это или нет, обманут или нет. Знаете, я даже уверять вас не стану, а то размажется, растворится что-то такое, что успело забрезжить, засветиться. В одном могу уверить: через три дня я действительно уйду.

— Это как вы определили?

— А друг мой отправляет своих в Америку и я снова к нему. На Сухаревке живет, на самом шумном месте в городе.

— Что ж, зато по одной ветке. Ладно, постелю вам на кухне, благо хоть она у меня большая. Не обидитесь? Нам обоим так будет комфортнее. Согласны?

— Конечно, я и сам хотел попросить вас именно о таком раскладе. У вас, простите, когда день рождения?

— Удивили, это точно. Скоро, в январе, 25 числа.

— Здорово! А у меня осенью, прошел уже семьдесят восьмой год рождения.

— Это вы серьезно?

— Вполне.

С этими словами они стали, помогая друг другу, готовиться ко сну. Седой, почти уже старый человек подошел к окну, прислонился к нему и сказал:

— Нет, зима в этом году вытворит такое! Прямо не верится.

— А вы и не верьте.

Тихая ночь взяла в свои объятия город с его непрстой суматошной жизнью и так же тихо нашептывала ему о том, что пора успокоиться, забыть старые и не придумывать новые обиды, что сон — он и правда лечит и что лучше всего дожидаться утро, потому что только оно мудренее ночи. А в остальном — царица она, только она правит и вершит, и додумывает, и рождает новое. Только она с ее непредсказуемостью готовит человечеству такое, что днем он, потрясенный, не в силах бывает переварить и осознать происшедшее ночью. Именно в ночную пору, а совсем не погожим днем готовится почва для идей, открытий. Только ночной порой зреет то, что днем казалось вполне решенным

или решаемым. Ночь готовит сюрпризы и вполне рациональные основы жизни. Что-то в ней все же остается скрытым, покрытым тайной, но и что? В этом, наверное, тоже кроется и смысл, и правда, и... загадка. Цари, великая царица, совершай свои тайные обряды и посвящения. Это твой час, который так же недолог, как утро, как день, как сама жизнь, наконец.

И утро настало, и женщина, прекрасная женщина с редким именем Ильзе, отправилась по своим рабочим делам, а дома остался ее новый друг, который уверил ее, что к вечеру ее будет ожидать сюрприз. Человек, хоть и становится старше день ото дня, продолжает любить сюрпризы, верить в чудеса, мечтает. Даже если никому и никогда не признаётся в этом. Так уж он устроен, этот человек, который в зиму думает об осени и не пролившемся дожде, а весной — о жгучем летнем солнце. Ему всегда что-то не так, то, что теперь, сию минуту, никак не радует и все заставляет размышлять о непролитом дожде, хотя бы это и был самый настоящий январь.

А он уже приближался и действительно, до начала его оставалось совсем немного, каких-то три дня. И никакого дождя не было, а была самая настоящая зима и, снег все валил и валил.

Утром она проспала, да так, что когда вскочила, не могла поверить: на часах было 9. Она вспомнила, что было вчера, какой был несравненный вечер и решила, что раз в жизни, да еще не в операционный день и проспать не грех. Но сама нервничала, конечно. На кухне ее ждала приятная неожиданность: стол был накрыт и ее ожидали горячие сырники. Ну и ну! Вот как приводить из леса незнакомых граждан!

Илья Аристархович пригласил хозяйку к столу и велел хорошо есть, а то она, по его разумению, слишком худая. «Вы много работаете, все сжигается. Это еще лес вас спасает, а то бы совсем хана!» Она оставила своего нового знакомого дома, пообещала не задерживаться и отправилась бегом на работу.



Там обошлось с её опозданием, никаких ЧП не предвиделось и день прошел вполне обычно, обычно. Если не считать странного разговора с Зиной, санитаркой. Она вдруг подошла к Ильзе и спросила, не сможет ли та быть у нее на свадьбе, вернее, на регистрации свидетельницей? Что, мол, очень хочется, чтобы кто-то из приличных был. Так и сказала: «Так бы приличного человека хотелось рядом иметь».

— И когда это у вас торжество?

— Да какое там торжество? Так, сумасбродство, да и только. Мой ни в какую не хочет слышать о том, что я сама задумала.

— А что такое ты задумала? Поехать куда-нибудь?

— А почему бы и нет? Вот, говорит, гарнитур лучше купим, машинку, авто и всякое там в дело. Так и говорит: в дело надо покупать, а не на море ездить. Что там увидишь? У нас в деревне вон какой пруд, лучше какой-нибудь Италии будет. Представляете? А я людей других увидеть хочу, платье у меня новое опять же. Ну как, придете?

— Приду, конечно. Но ты свое держи, на Италию напирай, не отказывайся. Им только разочек уступи — и все, решат, что ты у них за пазухой или в кармане. И будет жизнь — сплошная профформа. А тебе обязательно с ним жениться?

— А куда ж деваться? Разве вы не видите: вон, уж скоро всем заметно станет.

— Так... Тогда вперед и без вопросов. Италия у тебя останется в повестке дня.

— Какого?

— Ну, какого? Следующего! Главное, чтоб следующий был: день, год... Был, понимаешь?

Она отошла от Зины, вспомнила операцию, что была не так уж и давно, реакцию санитарочки и засмеялась. «Надо же, жена теперь будет, не все же ей по палатам с мужиками бегать. Совсем извелась».

Домой она добиралась долго: народу в метро набралось аж жуть. Она посмотрела вокруг и поразилась, какие хмурые, неприветливые лица были вокруг. Ну

что им все так плохо в жизни? Что такого, что на мир надо смотреть не взглядом любящего и любопытствующего человека, а враждебно к нему настроенного, еле терпящего. Эти лица точно отличались от питерских, хотя тем и жилось, и дышалось совсем не слаще. И доходы ниже, и воздух прореженный и сырой. А вот, живут и не глядят друг на друга так злобно. А, может, ей все это только кажется? Ну, как обычно для приехавшего не надолго все видится и радужнее и улыбчивее? Может, и так. И все же. Все же разница была слишком очевидной, слишком отчетливой, чтобы не заметить ее.

Интересно, какой это сюрприз ожидает ее дома? И вообще, возможен ли он? Такой, чтобы сразить и быть таким необычным?

Все может быть. Оказывается, может. Нужно только сделать совсем небольшое усилие и... поверить.захотеть этого.

В комнате стояла елка. Не больше и не меньше. Более того, рядом лежали игрушки, не все еще повешанные на нее. Илья Аристархович трудился весь день. И где только он раздобыл такую красавицу? Он, словно угадав ее мысли, опередил ее вопрос: «Нет, никакой контрабандой я не занимаюсь. Знакомый лесник, знаете. За столько-то лет периодического обитания в лесу связи и там найдутся».

Ильзе и впрямь ахнула: такой красавицы у нее не было никогда. Она обняла своего знакомого и чуть не расплакалась. А он и еще кое-что добавил: «Вы не сердитесь, если что, но сегодня я должен буду покинуть вас. Нет-нет, не удивляйтесь, просто мой знакомый позвал меня чуть раньше. Это я перепутал дни с этой их Америкой. Вот так».

Ильзе подумала, что все же счастье долговечным не может быть. А она провела сутки полнейшего растворения в радости и удовольствии. Что ж делать, надо так надо. Она понимала, что у друга пожилому человеку намного комфортнее и не противоречила. «Но вы не оставите меня насовсем?» — «Что вы, как

можно? Тем более, праздники надвигаются. Повидаемся». И он, уже собранный и практически одетый, стал прощаться.

— А шапка? У вас же нет шапки? Подождите, у меня есть.

— Да я смотрю, у вас весь мужской боекомплект имеется. Шапку беру временно и непременно верну. А обед — он махнул в сторону кухни — вас дожидается. Покамест до свидания.

И Ильзе осталась одна. Блюз сразу почувствовал себя вновь полноправным хозяином и пытался привлечь ее внимание. Он забрался на подоконник, зная, что Ильзе непременно подойдет к нему, как и обычно, и стал призывно мяукать. Ильзе маневр поняла и, подойдя к окну и поглаживая животное, сказала: «Вот мы и снова одни. И еще... еще зима». Блюз с радостью потерялся о ее руки, даже ткнулся носом в ее нос, что означало крайнюю степень любви и на своем кошачьем языке проговорил, что это не так уж и плохо. И чужие здесь не нужны. «Что ты понимаешь? Даже Зинка и та выходит замуж. А я...»

Нужно было как-то подготовиться к празднику, хотя делать этого она очень не любила. Не самих хлопот, а того, что придется вписываться в существующие правила, нарушать которые не полагалось. Она настолько не любила эти окаянные праздники, что, не говоря никому, частенько просто игнорировала их, пропускала. Ну, например, ляжет спать в десять вечера 31 декабря, чтобы утром проснуться уже в новом году. И в этот раз такая крамольная мысль уже посещала ее, но признаться в том, что и теперь она поступит привычным образом, не хотелось. На работе, конечно, звали в разные стороны. Даже дядя Костя удостоил ее приглашения к ним домой, но она отказывалась. Говорила, что ждет приезда друзей и что уйти никак из дома нельзя. Отчасти это было лукавством, а отчасти — что ж, может быть, и правда, что-то в этом есть?

30 декабря, как водится, всем отделением праздновали грядущий Новый год и веселились так, что при-

шли и из другого отделения спросить, не случилось ли чего. Нет, не случилось, просто танцы были, да пение хором. Пели все: дядя Костя, вечно курящая Антонина Петровна, сама Ильзе, Катя, Зинка и другие врачи отделения. У них не принято было разделения на главный и второстепенный состав, на врачей и медсестер. Собирались все вместе, так уж повелось. Сбрасывались — дело понятное, но помимо этого каждый приносил еще и что-то свое, домашнее, фирменное.

Накануне Ильзе постаралась и испекла пирог с капустой, затем сделала жаркое и наутро упаковала все это в большую сумку. Более того, мясо замотала в газеты, чтобы не успело остыть. Хотя прекрасно понимала, что может случиться всякое: и неожиданный больной, и операция. Но — Бог миловал, все обошлось. Более того, так нахваливали горячее, что она приготовила, что становилось неловко от звучащих слов в ее честь. Были всевозможные пироги, квашеная капуста, домашнее вино, даже суп умудрилась приготовить Зина. Гуляли, говорили о текущих и далеко отстоящих делах и не думали даже, что в какой-то момент их может настигнуть неприятная неожиданность. Но она все же случилась. Зинке, не кому-то там, стало плохо, ее тошнило, она причитала, что теперь ребенок отравится, что зачем она перепила и что вообще, неизвестно, состоится свадьба или нет.

Ей давали то нашатырь, то успокоительное и только дядя Костя, внимательно посмотрев на все мероприятия по спасению санитарки, заметил, что все нужно делать вовремя.

— Что же именно? — спросила Ильзе

— И рожать, и замуж выходить. Я так вижу.

— Но она почти вовремя и делает это, — заметила Ильзе.

— Нет, значит что-то не совсем вовремя, если ее естество бунтует.

— Вы настроены слишком философски, — заметила его собеседница, но Константин Эдуардович был неумолим. Он тоже пел песни, даже громче всех иногда,

но потом как-то успокоился и затих. И повело его на строгие нравственные беседы. Что ж, такой он был человек, ничего не поделаешь.

Ильзе вспомнила, как совсем недавно она отплясывала дома, и такое тепло вдруг накрыло ее, что она с благодарностью подумала: «Как же здорово, что приходят в ее жизнь какие-то люди, что они говорят с ней, что что-то в ней их привлекает. Правда, иногда это не совсем люди, но что тут поделаешь?!» Она вышла на середину, взмахнула руками, как большая, преображенная галка, и медленно, акцентируя каждое движение, начала свое танец, который был, скорее, похож даже не на танец, а на какое-то священнодействие. Она хотя и двигалась в такт музыке, но пропуская один — два такта и поэтому движения казались более прореженными, не такими плотными. И создавалось впечатление восточной вязи, которую, плетет она вдумчиво и неторопливо. Все-таки генетика есть самое мощное и неотступное в природе человека! Ну не проведешь ее и все тут! Восток так и пробивался в ее отдельных па, пластике, приседаниях. Легких, поданных полунамеком, словно в каком-то старинном таинственном обряде, похожем на тибетский, она неожиданно участвовала. Откуда была в ней, московской цивилизной женщине, эта страсть покорять другие пространства и прикасаться к другим обычаям, неизвестным, но под ее рукой и властью открывающимся ей податливо и охотно? Что это, зов природы? И с чем он связан? Почему только ей была подарена возможность прикасаться к чему-то такому, что захватывало целиком и относилось в неизвестные, никогда не посещаемые прежде пространства? Трудно сказать. Но так было и ничего с этим поделать было невозможно.

И, как водится, неожиданно наступило 31-ое, то есть последний день старого года. Канун! Вот это ей нравилось, пожалуй, больше. Не то, что праздновать само пришествие Нового года, а приятный трепет ожидания его, этот самый канун. Она с утра, еще до работы все подготовила, зашла на рынок, благо он был неподале-

ку, прикупила некоторые деликатесы (но разве можно без них?) и, хотя и было получено разрешение оставаться в этот день дома, все же отправилась в клинику. И не напрасно.

Там творилось что-то ужасное: люди бегали по коридорам, нервничали, она сразу поняла, что что-то случилось. За полчаса до ее прихода какой-то больной решил отпраздновать приближение праздника весьма необычно: взял, да и выпил полстакана нашатыря. Естественно, сделалось плохо, никто не понимал, сознательно ли он решил уйти из жизни, или просто малость ошибся. Но хлопот он им всем, врачам и сестрам, доставил. Откачали, промыли, дали, сделали все необходимое и даже не пришлось отправлять в реанимацию.

Ильзе решила увидеть этого человека. Когда она вошла в палату, он лежал и лицо его было землистого цвета. Она понимала, что в таком состоянии разговора не получится, но все же подошла, взяла его за руку и в ту же минуту ощутила на себе чей-то незнакомый взгляд. Она затаилась, прислушалась и поняла, что уже подобный встречала. Даже не сам странный взгляд, а само ощущение от встречи, от присутствия третьего лица. Она быстро оглянулась, но никого не увидела. В палате лежал только этот больной, все другие либо выписались, либо ушли домой с разрешения заведующего. Ее охватил страх. Она спросила: «Кто здесь?» — больной не ответил, а вот голос, уже знакомый ей, слышанный совсем в другом месте, произнес: «Не слушаешься? Твое дело. Но хотя бы сегодня не соверши ошибки». И все. Больше ни голоса, ни чьего-то присутствия она не ощущала, не слышала и никто так и не предстал перед нею. Помолчав, она все же спросила мужчину, как он себя чувствует.

- Хорошо, — был ответ, который немало удивил ее.
- Вам что-нибудь нужно?
- Да.
- Что же? Говорите, если вам не трудно.
- Да чего уж там, трудно... Мне бы огурчика.
- Ужас. Она могла представить себе все, что угод-

но, но чтобы после такого происшествия еще и огурчика просить, или хотя бы мечтать о нем — нет, это слишком. Удивительный все же русский человек. Был, можно сказать, на краю гибели, на волосочке мотался, оклиманся, часик полежал и... Нет, понять некоторые вещи ей было не под силу, как не могла она понять и того, что именно заставляло ее всякий раз нарушать и самой привычный ход, распорядок вещей? Что толкало на непредсказуемые поступки? Как это удавалось так жить, что сложности и неурядицы, вечно шагающие следом, порой расступались, уступая место вполне очаровательным вещам? Неизвестно.

Дома она оказалась после пяти, когда на улице заметно поубавилось народа и ее даже посетила шальная мысль: а не отправиться ли в лес, коль еще не совсем стемнело? Но нет, она решила поступать разумно и оставаться дома. Так же, как и днем раньше, накрыла стол, решив хоть старый год, но все же проводить, и в это время в дверь позвонили. Она, по глупой своей привычке, не взглянула, как обычно, в глазок и просто раскрыла дверь. На пороге стоял Емельян, которого в его новом, непривычном одеянии она едва узнала. Сначала она напряглась, устанавливая все нити и связи, которые уже стала забывать, наконец опомнилась и впустила человека в дом. А удивиться было чему. Мужчина, что оказался перед нею, был выбрит, пострижен, на нем было вполне симпатичное пальто и прочие нормальные вещи. Единственное, что все-таки не могло не выдать в нем человека, не вполне цивилизованного, или скажем так, отвыкшего от цивилизации, была борода, которую он хотя и укоротил, но привычка ее все время трогать и теревить выдавала нервность, застенчивость или, может быть, просто неловкость от вторжения.

— Понимаю, не ждали. Не волнуйтесь, я скоро уйду. Вот только поздравлю и все.

— Да ничего я не волнуюсь,— сбивчиво говорила Ильзе, а сама приглашала рукой гостя и потом приговаривала, чтоб заходил. Он сбросил пальто и шапку, оставил свой темно-коричневый шарф, так же запросто снял

обувь и вошел в комнату. Блюз, увидев незнакомца, вопросительно глянул на него, и это ему явно не понравилось. Он рассчитывал совсем на другую компанию. Но он был хорошо воспитанным котом и потому не выказал очевидных признаков возмущения и неудовольствия: просто ушел на кухню и залег там.

Ильзе смотрела на пришедшего, а сама невольно поражалась самой себе, вернее, прихотливому течению мыли. Вот, стоит она с человеком, едва знакомым на пороге своей комнаты, а сама вдруг уносится куда-то далеко. Не в силах сосредоточиться на вошедшем: где сейчас Александр и поздравит ли ее с Новым Годом? Но думала она вовсе не потому так, что пришедший человек ее совсем не интересовал, напротив, она была даже рада этому обстоятельству. Все-таки неожиданность, да еще под такой праздник! Что там голос, что нашептывал ей в палате? — не ошибиться? Но что надо, что требуется делать? Ладно, ситуация покажет.

— Да не волнуйтесь, проходите, располагайтесь. Видите, я даже и стол почти накрыла.

— Это хорошо. Но я не ужинать к вам. У меня слово есть.

— Но вот садитесь и говорите ваше слово.

— Хорошо. Только достану сперва кое что. — И с этими словами он вернулся в коридор, вытащил из кармана пальто сверток и снова вошел в комнату. Вышла маленькая заминка, но дело спасла Ильзе. Она сначала и не знала, замечать или нет принесенное Емельяном, но, видя, как он стоит и протягивает ей руки, спросила:

— Что это? Мне?

— Кому ж еще? Вам, конечно.

— Ну, я, право, не знаю...

— Нет, берите-берите, ничего особенного, — и он совсем уж настойчиво вручил Ильзе, предварительно развернув свой маленький сверток, коробочку. Обычную ювелирную, в каких дарят кольца и прочую ювелирную красоту.

Ильзе помедлила, подержала в руках темно-синего

цвета коробочку, подумать успела, что что-то в этом есть не совсем правильное, наверное, и... открыла ее. Нет, в ней не было ни кольца, ни какого-то другого ювелирного изделия. Там лежал необычной формы ключ.

— Что это? — изумилась она.

— Как, вы же видите, ключ. Обыкновенный ключ. Ну, может только не совсем обыкновенный.

— И что же... что же дальше?

— Давайте сядемте.

— Конечно. Садитесь.

Она тоже присела на диван, все еще не понимая, зачем ей принесли ключ, от чего он и зачем нужен.

— Видите ли, Ильзе, я пришел к вам с предложением. Нет, не руки и сердца. Оно глубже. Меня не было почти месяц, я устраивал свои дела, все очищал тропочки и дорожки, которые должны были бы привести меня к месту, в котором я собираюсь обосноваться. Дело в том... в том, что уйдя из монастыря, я успел за это время продать свою квартиру, у меня, представьте, была в центре своя квартира, получить деньги и договориться... правда, я это еще прежде подготовил... место, куда собираюсь идти, где обосноваться намерен. Это что-то типа хутора. Там нет, как вы понимаете, дорог, машин, нет суеты, а есть то, что, как мне показалось, может подойти и вам. Там есть тишина леса, возможность погрузиться в себя. И есть... работа. Да, знаете, работа. Ее много. Я человек выносливый, мне не помощь нужна, не подумайте. Но вместе мы... Словом, поедемте со мной.

Ильзе едва не упала. Вот так, в самый почти Новый год приходит человек и предлагает уехать в неизвестные края, бросив все, абсолютно все! Но как предлагает! Не намеками и двусмысленностями, а прямо, без обиняков! Что же, выходит, он думал о ней? Все эти недели? Ну нет, это невозможно!

— Что, страшно? Понимаю. Мне самому... не то, чтобы страшно, но боязно вот так к вам, с таким предложением. Не с кандачка же я, все взвесил, сами понима-

ете, обдумал. Вы не из нынешней жизни. Нет, согласен, вы цивилизная женщина, вы очень даже красивая женщина, но что-то в вас есть от природы, от того леса, в котором вас увидел. У вас есть еще время.

— Время? И сколько же? Сколько вы мне даете времени?

— Не много, часа три-четыре.

— Как? Так ведь праздник!

— Ну так что ж? Я понял, вы не из тех, кто их сильно жалуется. К утру будете готовы. А дальше... дальше у меня все решено: машина там, вещи. Все и сделается. Не просто же так я к вам пришел.

— Да-а... Нет, погодите, я не все еще поняла. Давайте хоть посидим, вина выпьем. Или вы и вина не пьете?

— Отчего же, пью. И теперья выпью. С удовольствием даже.

Емельян поднес к губам бокал вина, затем помедлил, протянул руку и чокнулся с Ильзе: «За удачный Новый год. Поскольку старый был тоже неплох».

— Столько вопросов. Ну вот скажите, с чего вы взяли, что я... словом, что я готова к такому повороту судьбы?

— А что ж тут непонятного? Каждый человек ждет чуда, надеется на него. Вот я вас увидел в лесу. Ну не только же ради здоровья вы прохаживаетесь по лесу? Тоже чего-то ждете, разве не так?

— Да, я жду. Но не буквально принца. А жду... разных там перемен, превращений, неожиданностей...

— Считайте, что одну вы уже имеете. Неожиданность.

— Понятно. Но у меня же работа, обязательства...

— Я все понимаю и многое предусмотрел. Например, вашего кота мы возьмем с собой. Ключ я вам принес от вашей комнаты. Чувствую, что вы захотите уединения пока. Не сразу же вам в работу впрягаться. Это и будет вашей автономной территорией.

— А почему вы сказали, что всего три-четыре часа? Ведь ночь впереди?

— Да, у вас ночь, а я вот скоро уеду. Часов в десять



вернусь за вами. Успеете и телевизор посмотреть и поспать.

— Нет, это невозможно! Я не знаю, как вы так могли?

— А что, скажите, разве я неправ: вы разве любите кого-то? Только это может остановить меня.

— Я? Нет, не скажу я вам этого. Вот так, запросто сказать чужому человеку о своей жизни, о своих чувствах?

— Не думаю, что я такой уж чужой. Вы скверного человека не привели бы в дом. Разве не так? И потом... Скажите, что вам мешает попробовать новую, да, пока незнакомую вам жизнь?

— А разве для вас не стало бы разочарованием, ударом, если бы женщина побыла-побыла, да и убежала? Давайте... словом, ой, даже не знаю... давайте хотя бы узнаем друг друга получше.

— Нет, узнавать можно и целую жизнь. Здесь нужна только решимость и еще...

— Что?

— Вера. Больше пока ничего. Пока.

— Но я ничего не знаю о вас.

— Хорошо, я немного расскажу, хотя это зряшная уступка. Этот рассказ мало что прибавит в оценке ситуации, в отношении ко мне. Все просто: жил себе, случилось большое горе, о нем после, я его пережил как-то, уверовал, пошел от грешной жизни в монастырь. Но я слишком бунтарь, чтобы подчинить себя несвободе. Не выдержал, ушел. Вас вот повстречал. Решил свои дела, не за этот месяц буквально, я и прежде готовился, вот мне и помогли. И сделал то, что, наверное, давно и должен был сделать: уйти от людей, но остаться свободным. Строить дом, растить детей, сажать, пахать, кормить и много чего еще.

— А кем вы были до монастыря?

— Я? Вы не поверите: я был музыкантом, работал в оркестре. Музыкантом в прошедшем времени быть нельзя, я им остаюсь и теперь. Только оркестра нет. Закончил консерваторию когда-то. А родился в сентябре, через десять лет после войны.

— Да, вы старше. Но музыку я люблю. И стихи.

— Как же? Что за любовь без стихии? Стихи — они ведь стихия. Как увлечет, как захватит — вот и пропал.

— Откуда вы знаете? Разве писали? Или пишете?

— Конечно. Наверное, и вы — тоже.

— Прочитайте. Это лучше, чем слушать биографию.

— Согласен. Не взыщите.

**Я шел по лесу, сильный и упрямый,  
Качался перезревший светлый диск луны.  
Я шел домой, дорога вела прямо,  
Однако груз давил бесчестья и вины.**

**Я постарел на десять долгих весен  
И стал седым, как снег на кромке мха,  
Я так устал грести вперед без весел,  
Почти в дыму, где лишь сплошная мгла.**

**Мне свет постыл и горе примелькалось,  
Заядлый пьяница, я был почти что нем,  
Мне света здесь осталась только малость,  
Я очерствел и одичал совсем.**

**Ну что ж, судьба, тебя мне не измерить,  
Не завязать узлы расползшихся концов,  
Осталось жить и — верить иль не верить —  
Но ждать отныне счастья гонцов.**

Он замолчал и было понятно, что ему вдруг сделалось очень тяжело. Даже трудно сказать, отчего. Но ясно, что тяжело.

— Вам плохо? В смысле ...

— Нет, без всяких смыслов. Мне вполне нормально. И музыка звучит.

— Вы разве... музыканты, бывает, пьют. И в тихотворении вот...

— Ох, какая же вы трусиха, а еще сами пишете. Есть же образы, в конце концов, аллегории, вымысел. Что вы, право? Свое прочтете?

— Пока, наверное, не готова. Но, может, решусь. Соберусь вот... Вы кушайте, сейчас горячее будет готово. Я, хотя и не люблю праздновать, все же традиции чту и даже вот индейку запекла. С яблоками. Попробуете. А то зовете, а сами и не знаете, что я за хозяйка, что умею, чего — нет?

— Это не самое главное. При желании, при настоящим желанием, человек всему может научиться. Это точно. Я, когда был маленьким, хорошо помню, что очень хотел овладеть фортепиано. Стояло у нас дома старенькое, разбитое. Бабушка играла, а когда ее не стало, то и играть оказалось некому. Но почему-то меня не спешили отдавать учиться музыке. И я сидел сам и пытался понять, что это за устройство такое, почему при касании рук, оно начинает звучать? И так меня этот процесс захватил, что мама поняла: пора. Не вымучивала, видела, что я готов. Вообще, она старалась всегда так поступать. Понимала, когда нужно, когда пришел тот самый момент — и делала. Так и со школой впоследствии было, и с музыкой и...

— Что? Говорите.

— И когда я жениться решил. Она не умела, мне кажется, противоречить. Отсюда — такие замечательные, особенные отношения. Ни принуждения, ни шлепков. Все — по обоюдному согласию.

— Это правда редкость.

— Я давно не женат, вы не бойтесь.

— Я не боюсь, я все думаю, какой вы необычный. И что вас тогда в лес потянуло? Или меня?

— Значит, так было суждено. Знаете, я ни о чем в жизни не жалею. Порой очень грустно становилось от того, что детей Бог не дал. Но что делать? Так бы у нас был бы уже взрослый сын. Или дочь. Ладно, не смущайтесь, не буду об этом. Проводим прошедший год, ладно? И я буду собираться. Полночь проведете сами, иначе я не успею все сделать.

— У меня тоже нет детей. Да нет. Я не об этом. Хотела спросить... Вы что же, всерьез это все задумали? И не страшно было расставаться с обычной жизнью, с вашей музыкой, в конце концов?

— А я и не расстался с ней, она во мне. Хотите верьте, хотите — нет. То, что всерьез, то, что глубоко и принадлежит человеку, не девается никуда, уходит ли он в скит, в лес, еще куда-то... Есть вещи вечные и это надо понять. Вот, пожалуй, что я хотел сказать. Это самое главное, самое важное.

Раздался звонок и был он так некстати и таким вторжением в то, что только вот-вот установилось и вдруг оказалось таким хрупким, таким оголенным, что стало страшно: неужели все, что только сейчас, здесь произошло, правда? И этот человек, и его предложение, и сама, наконец, возможность изменить весь ход жизни?

Ильзе поднялась, вышла в коридор, постояла какое-то мгновение и... открыла дверь. Перед ней на пороге ее квартиры стоял Александр и улыбался. Ситуация постепенно покрывалась странным паром, напоминая некоторые моменты «Иронии судьбы...». Однако здесь все было иначе: комическим и не пахло, напротив, все приобретало серьезный, драматический характер.

— Простите, я без звонка. Вы не сердитесь? И... и можно войти?

Ильзе была, наверное, белого цвета, стояла, смотрела на пришедшего и не находила слов. Да и что тут скажешь? Не впустить, возмутиться? Эх, да уже не поможешь.

Она отступила, давая пройти в дом гостю и, когда тот оказался в комнате и увидел сидящего мужчину, вдруг смутился, замолчал и его обычная уверенность и чувство превосходства : над всеми — над людьми, над миром, над самим собой — куда-то подевались. Был он хотя и выше, и крепче сидевшего человека, но ступившись и толком не знал, что делать. Однако Александр не был бы собой, если бы все же не нашелся.

— Простите, может, я не вовремя. — Он протянул руку и назвал свое имя. Емельян привстал, руку словно и не увидел и, мгновенно поняв это, Ильзе сама назвала его имя. Она ухватила каким-то подсознанием, женским чутьем своим, что может возникнуть не только неловкость, но и неприятность и постаралась сгладить это.

— Садитесь, садитесь, коль пришли. В Петербурге что теперь, не звонят предварительно, не предупреждают? — И сама поняла, что полезла на рожон.

— Отчего же, и звонят, и предупреждают, но я не смог, не смог, представьте, этого сделать.

— Что, телефоны поотключались? — Ильзе явно царапалась, это было заметно всем.

— И телефоны, и почта, и взяты народом другие важные объекты, так что, не до мирных переговоров. Еле поезд взяли осадой. Не оставаться же без вестей о вас. — Он тоже начинал постепенно приходить в себя и тоже не хотел быть особо миролюбивым.

Все это время Емельян молчал. Трудно так, глядя в какое-то одно место сидел и молчал. Он словно игнорировал Александра, явно выказывал свою нерасположенность к пришедшему. Не было ни любезности, ни былой доброжелательности. Ему все это было явно не по душе. И Ильзе не пыталась сгладить ситуацию, она просто не хотела лгать и выкручиваться.

— Вы что же, на дневном поезде?

— Да нет, про поезд я так... Самолетом, конечно. Дел в последний день? с избытком, так что, какой уж поезд?

Ильзе принесла гостю тарелку, сама налила ему вина и положила свою великолепную индейку. Был еще салат, разные вкусности, но он пока сидел, не притрагиваясь к еде и только пытался как-то сгладить, изменить ситуацию. А она явно была не в его пользу.

Наконец он поднял свой бокал и предложил тост.

— Не сердитесь на меня, может, что-то и не так. Но я не думал, не ожидал. Да и не хочу оправдываться. Словом, прошедший год... много было в нем хороше-

го. Особенно его последний месяц. Конференция, резонанс, успехи. Победа, одним словом... За победы в жизни! — Он отхлебнул вина, потом еще разок приложился, взглянул на Ильзе и снова сказал:

— Конечно, добирался трудно, я имею в виду неоплаченные дела, город, перелет. Что же вы молчите? — он обратился к Емельяну. Вы, стало быть, друг Ильзе?

Такого натиска не ожидал никто и никто не стал отвечать на выпад гостя. А тот не думал униматься.

— Знаете, каково это: руководить огромным медицинским центром? Вырваться — правда событие. Но я все равно рад. Даже если вы не вполне одобряете мой поступок. Вот вы, — и он обратился к Емельяну, — что молчите? Давайте выпьем с вами! Вы не такой, хотите сказать?

— Я ничего не хочу сказать, — наконец проговорил Емельян.

— Нет, хотите, я же вижу. Для вас — неожиданность — мой приезд. Ну и что, что не вовремя? А кто из нас знает, что вовремя, что — нет? Мы, люди, вообще мало, что знаем.

— Это те, кто не хочет знать по каким-либо причинам, — сказал Емельян.

— Стало быть, вы-то все знаете? Вы — знаете? Как вы можете знать? Да что через час будет, никто не знает! Вот о моем приезде вы даже и не догадывались! А я взял и приехал!

— Какой вы, однако...

— Да, я боец, победитель. И сразу не сдамся. Не при вык.

— А с вами никто и не собирается сражаться.

— Вы уже ступили на путь борьбы. Раз вы здесь, вы уже за что-то или за кого-то сражаетесь. Но прежде всего — за свое желание, намерение.

— Я его вам не намерен оглашать.

Александр налил всем еще вина, взглянул на часы, заметил, что до прихода Нового года осталось сорок минут и заключил:

— А я намерен. Я приехал сделать Ильзе Ахатовне предложение руки и сердца. Как вам такое слово? — И он посмотрел на Ильзе сначала, потом на сидевшего мужчину. Те сперва молчали, наконец Емельян поднялся и резко двинув свой стул, направился в коридор. За ним поднялся и поздний гость, последовал тоже в коридор.

— Разве это бойцовская позиция — уходить с поля сражения? — спросил он.

— Видите ли, это мой дом, а не поле, тем более, не поле сражения, — вставила свое слово Ильзе. Было понятно, что она чрезвычайно взволнована и недовольна всем тем, как развивается ситуация.

— В какой-то момент все превращается в поле сражения, стоит захотеть, — сказал Александр, но на него не взглянул и никак не прореагировал Емельян, а только обратившись к Ильзе, сказал: « В десять — как договорились».

Она ничего не ответила, Александр еще пытался задержать собирающегося уходить мужчину в пальто, но у него это не получилось.

— Что же вы нас покидаете? — спросил он.

— Думаю, что и вы скоро отправитесь в другое место. Так будет, уверяю вас. Да и какое тут сражение? Вы — прирожденный петух, а они только кричат, а не завоевывают.

— Я не успела еще прочитать вам...

— У вас еще будет время. Много времени. Я так думаю.

— Подождите. Я хочу сказать вам... — Она обернулась, убедилась, что Александр отошел, оставив их одних, и схватила за руку этого странного человека.

— Я не знаю, я пока ничего не знаю.

— Зато знаю я. Вы будете готовы. Так уж случится. А этот — он махнул рукой в сторону комнаты — этот ваш гость скоро испарится. У него есть в запасе места. У него всегда будет что в запасе. Я ничего не держу про запас. Я решаю — и все свершается.

— Что, как в сказке?

— Почему как в сказке? Как в жизни! А это поважнее.

Захлопнулась дверь и Ильзе еще какое-то время стояла в коридоре, не зная, что ей сказать Александру, да и вообще... что делать.

Когда, наконец, ее отсутствие стало затягиваться, он сам вышел в коридор, поднял с пола сумку, вынул оттуда большой пакет с продуктами, две бутылки разных напитков и... маленькую коробочку. Ильзе еще подумала, что какой странный вечер: мало того, что появляются люди, которых она не ждала, так каждый еще с коробочкой.

— Что это? — спросила она.

— А вы откройте и увидите.

Она не стала этого делать, а протянула коробочку ее владельцу: «Заберите, не надо. Ничего не надо, понимаете?» — «Как не понимать? Однако праздник и вы всё-таки откройте». Ильзе подчинилась и увидела в темно-синем бархатном овале кольцо. Совершенно изумительной красоты кольцо. Она посмотрела на изысканную вещь и снова протянула коробочку Александру. «Нет, я не могу. Поймите, я просто не могу. Не надо». Она сказала это даже резко, слишком резко. Он взял из ее рук свой подарок, положил на стол и спросил: «Этот человек дорог вам?» — «Не знаю. Наверное».

Александр помрачнел, куда-то улетучилось его задиристое игривое настроение, он еще пытался держаться, а потом спросил снова.

— Он что, правда вам нужен?

— Что значит «нужен»?

— То и значит, — грубо сказал гость.

— Наверное. Наверное — да.

— Понятно. Однако я не привык сдаваться так скоро. Вы что же, не принимаете моего предложения?

— А вы думали, я так и обомлею? Так и расплывусь от счастья?

— Да, почти так. Почти так и думал. А что такого? Я же видел, что понравился вам. Станете отрицать?

— Понравились, точно, но жить с вами я бы не хотела. Вы бы меня задушили.

Александр сделал шаг к Ильзе и попытался обнять ее, причем, не ласково и нежно, а грубо, с натиском. Она отстранилась, взмахнула рукой, протестуя, но он еще сделал одну попытку и тогда она, уже совсем отстранившись, сказала:

— Зачем? Зачем вы пришли? Привыкли покорять? Что все вам подчиняются? Нет. Я не покорюсь.

— Ну и ладно, живите с вашим угрюмым типом. Еще пожалеете.

И в ту же минуту произошло то, чего ни он, ни она не ожидали.

## **Часть вторая**

### **ЕМЕЛЬЯН**



*Мы знаем, что древний взгляд  
трактовал возникновение человека  
из соединения души с телом.*

*Карл Густав Юнг*

*Действующее лицо будет иметь  
характер, если... в речи или действии  
обнаружится какое-либо направление  
воли, каково бы оно ни было; но этот  
характер будет благородным, если  
обнаружится благородное направле-  
ние воли. Это может быть в каж-  
дом человеке...*

*Аристотель*

**Сошлись и решили, что лучше жить  
вместе.**

**И думают молча, сидя на месте,  
Как быть, чтоб трава не засохла у дома,  
И не замерзла вода у синего мола,  
Чтоб птица-синица улететь не успела,  
Чтоб сердце до срока не перезрело.  
Прошло два столетья, как пара весен,  
У бедной судьбы уже больше не спросим,  
Как умудрились сгореть те верхушки  
У серых берез, что на самой опушке  
Так долго стояли, как зной в июле,  
И тихо пылали, как жар в кастрюле,  
Как долгое, долгое горное эхо,  
Как самая сладкая в жизни утеха, —  
Все сплыло, упало, покрылось хвощом,  
Ты помнишь, мой милый, когда под  
дождем**

**Сплетая безумные белые руки,  
Мы вовсе не знали тогда о разлуке,  
Хмельного не ведали пряного плена,  
Что заставляет признать, преклонивши  
колена,**

**Что осень давно наблюдает за нами,  
Давай же уснем, не греша падежами,  
Давай уплывем в безраздельность**  
из песни,  
**Где солнце и ветер живут в поднебесье,  
Где время-пространство безбожно отстало,  
И я не могу натянуть одеяло,  
Чтоб скрыться застенчивым серым  
комочком.**  
**Ах, ты уже здесь? Далеко ли до точки?  
Сюда поскорей, это я приглашаю,  
Как нищая гостья тебя угощаю,  
И думаю тщетно: ах, как безвозвратен  
И день мой, и час, что был так  
безогаден,**

**Как нежно молчит о бездомности горя  
Мой бедный артист у уснувшего моря,  
Мой чудный Пьеро в знаменитом наряде  
Метель. Намело. Приходи, Христа ради.**

Невиданная жара стояла в Вавилоне. Тридцати-двухлетний Александр с некоторых пор повсюду искал и находил различные признаки то неких предзнаменований, то начертанные предсказания, то сами события, его сопровождающие, подчеркивали то, что он так настойчиво ожидал. А ждал он, если и не своей собственной гибели, то указаний на сей счет. Он то и дело оборачивался к судьбе лицом, словно вопрошая, когда? Когда же?

Настроения эти усилились в особенности после того, как он потерял своего дорогого единственного друга Илию. Приказал забальзамировать его тело и похоронить с почестями. Ничего не помогало ему: ни страсть Роксаны, ни другие знаки внимания многочисленных почитателей. Он, так привыкший к легкому нраву Илии, совсем потерял бодрость и оптимизм. То ему

чудилось, что за ним следит кто-то из колодников, то обычные вещи, случающиеся с каждым, начинал трактовать как самое горькое предзнаменование. Так, однажды, во дворец, незамеченный стражей и освобожденный от оков, вошел колодник и, пока Александр умащался, надел его царскую одежду на себя. Возложил диадему и уселся на трон. Пораженный таким вызывающим поведением, царь подошел к трону и спросил сидевшего, кто он и зачем так поступил. Вразумительного ответа он так и не получил. Однако на советы убить насмешника, царь поступил иначе: принес в жертву свою одежду богам, отвращающим беды. И всё же беспокойство его только усилилось. Он все чаще ругал философов, стал верить халдеям.

Диодор Сицилийский, что описывает этот случай, говорит, что Александр вообще стал поносить всех, кто своей болтовней думает обмануть силы судьбы.

Он отчего-то, в особенности после смерти Илии, стал все чаще и глубже задумываться о смерти. Именно с этим была связана его безграничная вера во всевозможные предзнаменования, которые он не только не избегал, а напротив, даже искал, видел их повсюду. Что стоит, к примеру, случай, когда в печени жертвенного животного, которое было принесено Пифагором для гадания (он предсказывал будущее по внутренностям жертв), не оказалось доли. Когда Александр задал вопрос, что это означает, Пифагор ответил, что это знамение, знамение предстоящего несчастья. И Александр, на удивление, не рассердился на Пифагора, напротив, стал оказывать ему различные знаки уважения за то, что тот смело смог сказать правду.

После внезапной гибели своего друга, которого отравили, Александр не раз проявлял беспокойство в связи с тем, что и его участь может быть весьма похожей. И в последний год своего царствования жадно ловил всевозможные намеки на эту тему. Все, что так или иначе было сопряжено с риском для жизни, одновременно манило его и в то же время оставляло в душе

след. Случайно оброненная царская шапка в воду, пойманная моряком и одетая бездумно на голову, тоже была воспринята Александром как возможный знак судьбы. За пойманную шапку моряк был награжден одним талантом\* и высечен, хотя некоторые советовали его и вовсе убить, поскольку царская шапка на голове простолюдина воспринималась как будущая беда. Александр не убил моряка, но предчувствие неминуемой гибели осталось.

Очень часто он прибегал к советам своих военачальников, философов, однако в большинстве случаев поступал вопреки их советам и предостережениям. Выделялся только один человек, советам которого Александр доверял. Это был Аристотель. Они часто беседовали один на один и многое из того, что впоследствии случилось с Александром, было словно предопределено не только судьбой, но услышано Аристотелем заранее.

— Ты говоришь, учитель, что тебе известен конец. Так кто это совершит, скажи мне теперь?

— Еще древние говорили: что пользы в знании, если от него одно только горе?! Зачем знать все, в особенности самое страшное? Ты думаешь, что сможешь предотвратить опасность?

— Нет, раз ты считаешь, что случится все равно то, что должно случится. Но скажи, что им было не так? Зачем это отравление и неужели никто не мог спасти меня?

— Да уж... Самое печальное, что люди не хотели верить в истинность случившегося и все затягивали и затягивали процесс умирания. То отнесут в бассейн, то дадут еще вина, то позволят обсуждать дальнейшие военные планы, а то и снова поднесут вина. Люди... они порой сами не знают, что творят. Так было и так будет Потом, много-много позже, когда уже и цивилизация будет иной, и мир изменится настолько, что ты

---

\* Денежная единица в Древней Греции.

его просто-таки и не узнал бы даже, другой великий правитель, кровожадный и мстительный, подозрительный и любящий кровавые расправы, тоже будет долго умирать, а люди... они будут ходить вокруг, да около, боясь увидеть то, что следовало увидеть, а, может, и предотвратить и — кто знает — может и помочь? Но помогать, когда умирает вождь, дело опасное и может так обернуться против того, кто вознамерился это сделать!.. тогда, когда ситуация этого требовала, — и все попусту?

— Неужели я недостоин буду другой, лучшей участи, чем долго и на виду других умирать? Скажи, неужели нет такого средства, такой стратегии или снадобья, чтобы изменить ход вещей?

— Уже одно то, что ты знаешь в подробностях свой конец — поистине царское откровение. Никто еще не удостоивался таких подробностей, как ты. Тебе и лучше, и... страшней, согласен. Знать все о своем уходе — что может быть тяжелее? Но крепись, дорогой царь, осталось всего несколько дней и дальше — дальше вино, мучения, целых девять дней то улучшения, то беспмятства, а главное — попытки вернуть тебя совершенно не теми людьми, в которых ты верил. Если б ты только знал, как они будут возиться с этой чемерицей, взвешивать и находить дозы. Но это такая гадость и спасение одновременно, что предугадать дозу почти невозможно. Ею можно либо убить, либо спасти. Упущено будет время — вот что страшно. Время! Если б эти халдеи, о которых в истории никто и не вспомнит, знали, что это такое — время! Они никогда бы не пошли на это. Твоя смерть только усилит внимание мира к тебе. И теперь, и впоследствии. А они? Да что они?

— Ну хорошо, чем же утешиться, какой мыслью? Что останусь во времени?

— Не только во времени, но на все времена — а это, изволь заметить, совсем другое дело. Ты так и останешься великим. Никто другой ни теперь, ни потом, в иные времена, не удосужатся такого признания и такой чести. Только ты. Это пусть тебя и бодрит.

— Хорошо сказать — бодрит. Знать, что вот-вот ты выпьешь тот кубок, который поднесет тебе, быть может, твой друг. Хотя кто у меня может быть теперь друг? Времени на обретение другого нет, а настоящего я потерял. Говоришь, несколько дней? И все?

— Да, и все. Но... хочу еще вселить в тебя силы. Что значит — и все? Ты попадешь в другой мир, только и всего. Может быть, и там будут походы, друзья? Хотя, знаю, что самое главное, что там может быть — это покой. Его тебе за всю жизнь не доставало. Вечное стремление к победе, необходимость быть первым — ты не устал от такого бремени? Что толку, уж прости меня, пробыть на этом свете еще лет пятьдесят, но так и ничего не приобрести? У тебя год шел за три, а, может, и побольше. Ты мало, во что веришь, уж, наверное, не в загробную жизнь, поэтому не призываю тебя ни предаваться горечи, ни бить в грудь — какой ты, мол, безгрешный, ты просто обдумай, что не так. Что ты мог бы и хотел изменить. И хотел бы?

— Да нет, я и размышлять не стану. Я ничего не хотел бы менять. Ни своих привязанностей, ни женперсиянок, ни беременной жены Роксаны. Я, если и жалею о чем, нет, о ком, то только об Илие. Однажды Филоксен — он командовал армией, стоявшей на берегу моря — прислал письмо, что у него есть некий Феодор из Тарента, который хочет продать двух мальчиков необыкновенной красоты. И не хочу ли я купить их? Моему возмущению не было предела: неужели обо мне так плохо думают, что предлагают такое?

— Это твой замечательный воспитатель в детстве Лисимах. Он многое заложил хорошего. Хоть и стар был, а пошел за тобой в горы, когда ты совершал поход на налетчиков во время осады Тира. Многое потом запишет Плутарх.

— А откуда он все узнает?

— Ты помнишь Харета, распорядителя твоего двора? Его записи — ценнейший источник.

— Да, помню, как Лисимах так устал, что лежал, не

шевелился. А враги были близко. Я кое-как поднял старика и шел с ним рядом, отстал от своего отряда. Ночь тогда была очень холодная, да и место опасное. Я неожиданно увидел огни неприятеля и побежал первым на эти огни. Двух варваров убил мечом сразу, а потом вытащил из пламени горящую головню и побежал к своим. Мои македонцы тут же развели огромный костер. Это зрелище было пострашней ада, наверное. Враг бросился бежать. Хитрость и целеустремленность — вещи великие.

— Согласен. Хотя, смотри, что пишет Плутарх. Ты помнишь битву при Гавгамелах в 331 году? Смешно, ты чуть не проспал ее.

— Неправда твоя. Не ее я едва не проспал. Я уже был победителем. Когда меня разбудили и задали похожий вопрос, что это я еще сплю, я ответил, что мы уже одержали победу и больше не должны бродить по этой бесконечной пустынной стране, преследуя уклоняющегося от битвы Дария. Иногда спокойствие и даже безразличие вселяют больше воинского духа, чем ночные приготовления и вечная суета. Любой воин имеет право отдохнуть перед сражением. И я никогда не был позади схватки, всем это хорошо известно.

— Да, я помню и твой рукопашный бой, когда ты, словно обезьяна, вскарабкался на стену крепости, но лестница подломилась и тебе ничего не оставалось, как спрыгнуть в город. Инды ничего подобного не видели, сбежались, смотрели, как отбивается царь. И шлем был пробит, и стрела еще попала в грудь. Да, ты хотя и упал, и инд уже успел подбежать к тебе, но как же ловко ты всадил ему меч в бок. Ветка дерева помогла тебе. Такая малость. Но теперь, теперь вряд ли что спасет тебя.

— Это что же, неужели пирушка у Мидия?

— Да, и тогда уже пришла пора знать о мрачной репутации таких застолий. Но что поделаешь, разве от всего обережешься?

— И вправду была сначала лихорадка? И что же,

разве мог я пить, если это строжайше запрещалось, ведь сам издал такой приказ.

— Пил, Александр, словом, как и обычно, достаточно много. Но были и другие причины, ослабившие твое здоровье. Ты забыл, как спрыгнул с флагманского корабля на песок бухты Ахайи? Это было одиннадцать лет назад и тогда ты был истинным атлетом. Но потом... Лихорадки, ангины, ранение ступни, плеча, бедра, ухудшение после раны зрения в Мараканде. Ну, и конечно, смерть Илии, который был не только другом, пересмешником, спасителем в тревогах и беспокойствах. Разве не он мог переодеться в твою одежду и вести переговоры от твоего имени? А мятежи? Роковая вечеринка в честь уходящего в поход командующего флотом Неарха, однако, многое раскрыла в тебе. То, о чем не все и догадывались. Ты прочитаешь эпизод из «Андромахи» Еврипида, а затем залпом выпьешь чашу неразбавленного вина. И потом неожиданно почувствуешь себя плохо. Все это произойдет в доме Мидия.

Диодор напишет: «Вдруг, словно пораженный сильным ударом, он — то есть ты — громко вскрикнул и застонал; друзья вынесли его на руках». Диодор не упоминает слово «лихорадка», а говорит о шоке, боли, слабости, «больших неудобствах». Плутарх напишет, что даже издав ужасный вопль, ты не остановился, продолжал пить и лишь к концу другого дня тебя станет лихорадить.

Что же до лихорадки... Многие спотыкаются в этом месте. Кто говорит об отравлении, но где будут ее симптомы, проявления? Ни рвоты, ни диареи. Не обошлось, конечно, без мышьяка. Стояла страшная жара в Вавилоне. Любой труп должен бы быстро разложиться. Но этого не произойдет. Тело останется долгое время нетронутым, чистым. Только вопрос, который мучает меня и будет мучить всегда: что же люди, отчего они не приняли надлежащих мер? Что, так же, как и спустя столетия, в 1953 году другой эры, тоже боялись? Боялись чего, спугнуть смерть, помешать ей? Или поверить в ее приход не было ни сил, ни желания? Плутарх

тарх будет вообще отрицать отравление. Что же до чемерицы, то ты всегда знал свойства этого растения и как оно опасно. Об этом тоже говорит Плутарх.

Страшит снова и снова другое. Как мог труп в течение семи дней пролежать в жаркое время, а жара была душающая в Месопотамии, как мог он пролежать без видимых повреждений, без признаков тления, бледности. Ссорившиеся военачальники вообще думали, будут думать, прости, что ты остаешься еще живым, так готово было тело к дыханию, живости. Люди не решались, согласен, но вопрос: что их сдерживало: страх или желание отдалить возможное возвращение к жизни? Ах, зависть, вездесуща и неискоренима. Сколько еще не минет столетий, а она все равно будет настаивать на своих правах и зловредном нраве.

— Дай, Аристотель, мой учитель, я обниму тебя.

— Что ты? За что?

— За то, что ты, я это вижу, чувствую, сам не хочешь моей смерти. Она тебе ненавистна. Я рад этому. Значит, есть люди, которые меня любили, а не только ценили как стратега и завоевателя.

— Ты удивил меня. Всем известна твоя порывистость, необузданность даже, но она всегда выверена, у тебя всегда была голова на месте.

— Ты хочешь сказать, что чувства и привязанности — не для меня? Но вот мы, мы с тобой... Разве это не опровергает твою теорию?

— Моя теория хороша и полезна лишь в одном. Мир живет ритмами и циклами. Вот у тебя, значит, один из них скоро закончится. Но это ничего не означает. Кроме того, разве, что развитие, развитие как таковое, вечно, его ничем не перебьешь, не остановишь. Прости, но даже твоей смертью, Александр. Вот, послушай.

**Ни звезды, ни луна не смогут  
Унять неистовство страстей,  
Возьми на щит — при чем тут ропот,  
Когда звучит труба идей?!**

**Зайдем за ритмы в небе ясном,  
Услышим музыки призыв,  
И безнадежном, и напрасном  
Мне видится души порыв.**

**И геометрию пространства  
Мне не под стать перекроить,  
Нет в мире веры в постоянство,  
И цифре ноль — ей вряд ли жить!**

**Когда в надежде обустроить  
Своей души печальный дом,  
Ты вдруг сподобишься утратить  
Все силы, перечтя сей том,-**

**Но и тогда звезда ненастья  
Не сможет засиять в ночи.  
Да полно, есть ли в мире счастье  
Иль толко пепел на печи?**

**И есть такое пробужденье,  
Что все стремится обуздать  
Меня, тебя, любви творенье  
И лиры пламенную страсть?**

**И стоит ждать шагов химеры,  
Что обустраивает мир,  
Который дорог мне без меры,  
И правит миром только Пирр?**

**Но Пирровы победы тщетны,  
И лишь понравятся юнцу,  
На небосводе сна заметны  
Штрихи от чисел — роль глупцу.**



**Придет ли лиры совершенство,  
И состоится ли дуэль  
Гармонии и сна блаженства,  
Составив скуке параллель?**

**Нет, так же будет мир томится  
По идеалу красоты,  
И ритмы чисел будут сниться,  
Как снопы света у звезды.**

— Я думал, ты трактаты только сочиняешь. А здесь — стихи.

— А я думаю, что и в трактатах — тоже поэзия стиха.

— Скажи мне, ты все знаешь о мире, его устройстве, скажи, что его ждет?

— Все просто. Все предельно просто. Человечество еще придет к этим простым откровениям. Нужно делать ясные, понятные вещи. Не предавать, любить, не покушаться на чужое, не забирать жен друзей и недругов. Нужно просто стремиться жить по совести. Когда-то потом это назовут заповедями, но это будет еще очень не скоро. Пока же, пока, дорогой Александр, одна жизнь, хоть и такая великая, как твоя, скоро завершится. Но ты, ты увидишь звезды, и тебе не будет так бесконечно грустно от того, что ты покидаешь нас.

В тридцать два года в невыносимую жару, в мае 323 года до н.э. в Вавилоне умер великий царь, завоеватель мира, Александр Македонский. Незадолго до этого Вавилонский царь Валтасар увидел своими глазами страшное предзнаменование, сулившее беду. «...Вышли персты руки человеческой и писали против лампы на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала». Вот что было начертано: МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН. Значение этих слов: МЕНЕ — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; ТЕКЕЛ — ты взвешен на весах и най-

ден очень легким; ПЕРЕС — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам.

Александр наверняка поведал эту историю и рассказали, что означали эти знаки. Он так и жил оставшееся время с болью в сердце и ощущением подступающей трагедии, которая коснется и его самого. Так и вышло.

\*\*\*

В Москве у канун Нового 2004 года было холодно, дул ветер, стояла настоящая зима. В квартире у Ильзе она и ее знакомый из Санкт-Петербурга Александр, приехавший не совсем кстати, стали очевидцами неслыханной истории, которую слушали и наблюдали с нескрываемым изумлением. Поскольку в Питере нечто подобное уже коснулось обоих, то сомнений насчет того, что это и кто это, уже не оставалось. Оставалось другое — найти ответы на вопросы, отчего это произошло именно с ними и почему им предоставлена была возможность увидеть себя со стороны, хотя и в далекие-предалекие времена. То, что нынешний Александр увидел в своем предке, настолько потрясла его, что на пустые вопросы, ничего не значащие разговоры, обиды, непонимание не оставалось ни времени, ни сил, ни желания. А то, что это был он — даже он в это поверил и понял, что как те знаки во дворце Валтасара, так и ему эта картина дана зачем-то. Для чего-то. Не просто так.

Печальна была Ильзе. Во-первых, не стало ее, той прежней, из далекой, почти нереальной жизни: погиб ее предок, Илия. Во-вторых, предстояло так скоро и строго все взвесить и обдумать, а так же, что случилось до этого происшествия, что она была угрюма и раздражена. Ей надо принимать решение, а здесь красавчик Александр, знающий себе цену, решивший, что мир может и должен покориться именно ему. Неважно, в какой форме. Что-то такое неприятное она ощутила, увидела в нем, что ей стало нехорошо. Неужели

ей мог и вправду понравиться этот самовлюбленный красавец?

Конечно, она перебирала, понимала это. Не такой уж он плохой, и действительно многое может. Но вот она — не может. Нет-нет, с ним — нет, ни за что. А что может? Господи, да что же делать? Она вспомнила один совет, который еще в Азии пересказывала бабушка: если проблема не решается, стоит ее вывесить, словно нитку, за окошко. Пусть себе отвесится. А там, там видно будет. И она решила: решила ничего не решать, пусть само все течет, куда-нибудь выведет.

Александр сидел, откинувшись на стуле и молчал. Наконец он произнес:

— Видно, не судьба. Что ж, проигрывать тоже надо уметь.

— Вы не проиграли, вы, может, выиграли, кто это может знать.

— Знать кто? Только один показатель — время. А у нас его не было, опереться не на что, вот беда.

Он сказал это простое слово тоже так просто, что Ильзе стало жалко его.

— Вы не сердитесь, я не виновата. Так уж все сошлось.

— Он что, ваш... ваш любимый?

— Может быть.

— Что значит — может быть?

— Есть — да или нет. Все, больше ничего.

— Вы столь же категоричны, как ваш предшественник.

— Кстати, про наше путешествие еще там, в моем любимом Петербурге. Вас это не навело ни на какие мысли?

— Ну, как же... Сначала я решил, что малость того, сбрендил. Но потом как-то все стало выравниваться и пониматься.

— И что же вы поняли?

— Ах, милая Ильзе... Что, что?! Да не об этом нынче речь. Я думал, вот сегодня вся жизнь моя перережится.

— Она в каком-то смысле и перерешилась, вы не считаете?

— Возможно.

Он поднялся, поднял бокал, налил в него вина и, не предлагая Ильзе, сказал: « Будем считать, что все закончилось. Но если передумаете... Если... Словом, звоните». Он выпрямился во весь свой немалый рост, огладил полы пиджака и направился к двери. Одел роскошную дубленку, все остальное и еще сказал, совсем уж на прощанье: «Осталось двадцать минут. Я не останусь, буду идти. В дороге еще не приходилось встречать Новый год. Желаю... желаю вам счастья». Она вернулась в комнату, взяла коробочку, которую он оставил и протянула ему.

— Нет, этого я не возьму. Хоть что со мной делайте.

— Но мне... поймите, это нехорошо.

— Да кто же может знать, что хорошо, что — нет.

— А вот и неправда. Мерило есть и оно... оно внутри нас. Каждый это знает и знает, когда что-то нарушается. В равновесии что-то нарушается. Все просто.

— Просто. Прощайте.

Он открыл дверь и, не оглядываясь, направился к лестнице.

Она вернулась в комнату, посмотрела на неприбранный стол, потом на часы, на которых было без семи минут двенадцать и села. Подумала, что такого Нового года у нее еще не было и что, может быть, это и хорошо. Во всяком случае, неожиданно вошедший, даже ворвавшийся в ее жизнь человек, Емельян, что-то такое поднял со дна души, всколыхнул, заставил взглянуть на обыденные, привычные вещи иначе. И что же делать? Собираться? Нет, она не готова к этому, пока не готова.

На экране телевизора возникло знакомое лицо главы государства, послышались очень убедительные, хорошие слова о прошлом, и еще лучшем будущем и она налила себе вина, поднялась и с боем часов сама себе сказала, что все и правда может быть неплохо и будет, и так и должно быть. Что бы ни было! А утром? — что

ж, утром видно будет, но паковать вещи вряд ли стоит, что-то не получается идти к сумкам и начинать складывать их туда. Как-то это не органично, что-то есть в этом противоестественное. Пусть будет так, как есть. Посмотрим.

Она совсем немного посмотрела концерт, затем убралась, все выключила и легла спать. Но уснула не сразу, а все перебирала подробности минувшего вечера. Какой молодец, однако, Емельян: не стал опускаться до перепалки, каких-то выяснений, а оказался значительно сильнее Александра. Просто проигнорировал его и ушел. Это ей очень понравилось, точно.

Утром она проснулась поздно, посмотрела на часы, подошла к окну и ахнула: наконец зима, словно успокоившись и уверовав в то, что ее прав у нее уже никто не отнимет, так властно и решительно захватила все возможное пространство, так расположилась на земле, на каждом кустике и дереве, укрыла даже едва заметные участки пустых прогалин, что не оставалось никакого сомнения: она — победительница! За окном был суший рай, если таковой вообще имеется. Торжественность обрядов, которые справляла зима, так и бросались в глаза и поражали своим щедрым великолепием, роскошью и полным осознанием своей причастности к великим силам природы.

В окно Ильзе хорошо виднелась тропинка, которая вела чуть в горку, а рядом расположилась настоящая ледовая горка, с которой уже пришли кататься ранние любители снега. Мамы зябко поеживались чуть поодаль и скорее не от холода, а от предшествующей ночи. Ильзе стояла и смотрела и застала себя на мысли, что, наверное, за городом, где-то совсем-совсем далеко, еще прекраснее.

В десять утра никто не позвонил, в полонинадцатого — тоже, и через час не было никого. Она сначала ждала, потом все больше стала углубляться в возможные причины того, что могло случиться, что это означает. Так и прошла почти вся первая половина дня.

Наконец, почти около часа дня в дверь раздался

звонок, она выскочила, не спрося, кто и увидела на пороге совсем незнакомого мужчину, который был явно встревожен, но стремился не показать этого. Во всяком случае, он сказал:

«Вы ведь Ильзе, да? А я от Емельяна Дмитриевича». — «Да, да, что-то случилось? Говорите». — «Видите ли, он сейчас, словом, он попал в больницу. Дорога была скользкая, он — в травматологии. Ничего особенно страшного». — «В какую?» — «Это довольно далеко отсюда, она на Вавилова. Вы поедете? Простите, я хотел сказать, как сможете, навестите его, да?» — «Ну конечно, какая палата, что ему... Нет, я сама все сообщу. Но, может, он сказал, что ему что-то надо?» — «Да. Сказал, что через день-другой, если сможете, приходите. Вот мой телефон, там все написано». — И человек протянул Ильзе заранее подготовленный листочек.

Она взяла его, еще спросила, не войдет ли он, но тот заторопился и простился. Ильзе осталась одна.

Она смотрела на листочек, видела там только имя человека, его телефон и все. «Что я наделала? Я даже не спросила, как он себя чувствует и тяжелая ли травма и что ему толком нужно?» Но успокоившись, она перевернула листочек и увидела номер больницы и даже то, каким образом к ней лучше подъехать и режим работы. Как гора с плеч упала. Она глянула на часы и стала собираться: пока доберется, уже начнут пускать, а учитывая то обстоятельство, что сама она врач, — сможет договориться. Да, ведь сегодня Новый год! Тем более пустят!

Она огляделась, думая, что же можно и нужно принести и решила, что фрукты уж точно будут кстати и что кусочек индейки тоже не повредит. Собрав все и приведя себя в порядок, она отправилась на улицу Вавилова. Там действительно пускали и проблем с посещением больных ни у кого не было. Быстро сориентировалась, нашла этаж, затем и палату. Но тут мужество словно упорхнуло. Она несколько мгновений стояла у дверей, не зная, как ее встретят и что она скажет и вообще... Но тут дверь открылась и из палаты вышла

медсестра. Бегло посмотрела на Ильзе, спросила, к кому она и та ответила, что... Словом, фамилию назвать она не смогла, поскольку не знала ее. Но — вышла из положения. Она сказала: «Меня ждет Емельян». — «А-а», — протянула сестра и направилась к себе на пост.

Делать было нечего, пришлось заходить. Палата была на четвертых, но в ней находилось двое: Емельян и еще какой-то мужчина, который читал книжку и только мельком взглянул на вошедшую. Емельян лежал, выпростав руки из-под одеяла, а нога была странно подвешена. Такое Ильзе видела, конечно, в собственной клинике, но сейчас ей явственней показался кадр из кинофильма, где герой лежит вот так же беспомощно, с поднятой кверху ногой. Что значат ассоциации! Их действие значительно образнее и заразительнее, нежели воспоминание и просто-таки знание о предмете из собственных профессиональных дел. Вот надо же, лежит себе человек, а только накануне, еще вечером, они сидели у нее дома и пили вино. Боже мой, ну как же непредсказуема жизнь!

Однако она подошла, аккуратно положила принесенный пакет и спросила, что же случилось. Емельян улыбнулся и поздравил ее с Новым годом. Так и сказал: «С наступившим вас праздником, с Новым годом!» — «Вас так же», — ответила Ильзе и снова повторила свой вопрос. Тогда он попытался немножко изменить положение тела, может быть, даже приподняться, но охнул и остался лежать в прежней позе.

«Видите, как бывает? Махнул рукой, остановил машину, на вокзал мне надо было успеть, а водитель, видно, сильно спешил. Ну и не рассчитал свои силы. Словом... словом, столкнулись. Называется ДТП. Моя нога в этом ТП неправильно себя повела, где-то там застряла и вот — результат. Говорят, недели на две, не больше. Это даже не перелом». Ильзе смотрела на него и не верила, что совсем-совсем недавно все в ее жизни было иначе, а вот теперь... теперь у нее... Есть обязательства, есть забота, есть ЧЕЛОВЕК. Поверить в это было трудно, но надо было осваивать это новое для

себя внедрение в жизнь событий, обстоятельств, отношений.

— Вы, наверное, голодны? Хотите поесть? Сама приготовила.

— Потом, я без вас, ладно. Спасибо, что принесли.

— Вы же будете бороться, выкарабкиваться?

— А куда ж деваться: дела ждут, мне разлеживаться некогда. Да и вас вот с панталыгу сбил, теперь отступать никак нельзя. Это даже ничего, даже на руку. Вы пока привыкать ко мне начнете, взвешивать, обдумывать. Хотя особенно размышлять не советую. Знаете, есть такие ситуации, которые принять надо сразу, не очень полагаясь на размышления. Разве вы не согласны?

— Может быть. Вы говорили, что у вас недавно, осенью был день рождения?

— Ну да. А что? Вышить, может, мне что-то хотели?

— Да нет. Думаю.

— О знаках что ли? Да не сомневайтесь, подходим, я так думаю. Даже уверен.

— А у меня скоро будет. Этой зимой. Скажите, почему вы уверены, что все это нужно и что все получится?

— Видите ли, у меня всегда так в жизни. Если я что задумал, прежде выносил, вывесил, себя испытал, то получится непременно. Вот посмотрите. Иначе я бы не пришел к вам с таким предложением. Особенно не думайте. У вас сколько дней отпуска, ну, праздника?

— Мне уже послезавтра на дежурство.

— Стало быть, есть два дня. Сегодня и еще завтра. У меня к вам будет просьба. Не бойтесь, не сложная.

— А я и не боюсь. Пусть и сложная хотя бы.

— Так вот, пойдите завтра — сегодня уже не успеете — в концертный зал, в большой концертный зал консерватории. Там будет играть мой друг. Я хотел бы знать ваше мнение.

— А на каком инструменте?

— На виолончели. Как вы к ней?

— Люблю. Очень переживаю, когда она звучит. Что-

то таинственное и горестное есть в ее тоне, интонации, самом характере звука. Она не моцартовская музыка. Он, наверное, для виолончели ничего не написал?

— Нет, не писал. А для флейты есть.

— Ее я тоже люблю, но как-то иначе, по-другому. Она мне не так близка.

— Это радует. Флейта тоже не так проста, она не только мягкие, нежные звуки издает. Так закрутит, забредит, на таких нотах — сам рад не будешь. Так сходите?

— А вы считаете, попаду? Ведь праздник?

— Я вам протекцию составлю. Скажете администратору фамилию Юровского, вас и пропустят.

— Это кто, друг ваш?

— Мой. Вы выспались, вам никто больше не докучал?

— Никто. Если только зима за окном, что так уж распоясалась — никакого сладу, все сгребла под себя. Кажется иногда, что она будет вечно, всегда, никогда не закончится и что никакое другое время года ее не сдвинет. Вот упертое существо. А вы, как я посмотрю, упрямый.

— Как вы догадались?

— Да что уж тут догадываться, и так все ясно. Умете, как видно, принимать решения, даже и за других. И как это они в вас зреют? Как зарождаются? Ведь все не так просто: пришли, предложили. ... Что-то предшествовало этому: анализ, размышления.

— Предшествовало. В особенности в тот первый раз, когда я у вас в таком нелепом виде оказался. Но мне за него не стыдно. Я много чего такого прошел, знали бы вы только! А вот вы — существо ранимое, хрупкое, вас беречь надобно, да еще... еще не спугнуть постараться.

— А вы это как узнали?

— Да это наука нехитрая: смотришь и все видишь, и выводы делаешь.

— Значит, вы уже тогда все замыслили?

— Конечно. В общих чертах — да, а конкретный план,

детальный, вызрел уже потом. Много там у меня уже подготовлено. Знаете, главное — там есть дом. А все остальное...

— Вы заметили, мы не называем друг друга по имени?

— Знаю. Но вам не сподручно Емельяном меня величать, не привыкли, все не так скоро получится. Если только, — и он засмеялся, — Емеля? Как вам?

— Нет, другие ассоциации. Вы — Емельян и имя ваше вам подходит. А мне, надеюсь, мое. Вы его помните?

— Не стоит обижаться, помню, Ильзе. Даже отчество запомнил, знакомый ваш подсказал. Значит, и география у вас тоже непростая, и родня... Словом, все, как и требуется. У меня ... ладно, обо мне потом.

— Да нет, скажите, что у вас?

— У меня биография не из легких. Но не теперь. Всё со временем узнается. Так как, пойдете на концерт?

— Постараюсь.

— Хотел бы услышать более четкий ответ.

— Ох, вы какой. Наверное, пойду.

— Идите, не пожалее. Расскажите. Благодарю вас. Все-все, остаюсь... покорнейше... и т.д.

Она поднялась, постояла несколько мгновений рядом, затем разом повернулась и вышла.

Как же ей было и хорошо, и тревожно одновременно! И что из всего этого может родиться? Или развиться? Но что может — это точно.

Сквозь опустившийся разом вечер светились и проглядывали серебряные нити, что преподносила к празднику красавица-зима. Она на этот раз была особенно щедра и заботлива. Складывалось такое ощущение, что она и ведать не ведает о других погодах и чьих-то иных правах: есть и останется именно она. А что потом... да что там может быть потом?! Это неважно. Есть вечер, первый день Нового года, дорога домой и... воспоминание о встрече, подробности которой проступали в ее памяти все более отчетливо. Бледный и небритый, лежащий в палате почти в беспомощном состоянии, он, Тем не менее, оставался сильным человеком. Это как-то угадывалось, понималось и ... притягивало. Не было



в нем никакой позы, желания быть слабым, даже жалким. Нет, он по-прежнему сохранял достоинство и еще что-то такое, что не сразу и могло быть названо и определено. Но то, что это была сила, — точно. Совершенно точно. Надо же, даже из больничной палаты он все равно умудряется руководить ею, ситуацией. И слушаться в этих обстоятельствах как-то нехорошо: обидишь человека. И она решила, решила, что завтра отправится в консерваторию. А до того просто побудет дома, почитает, отдохнет и постарается все обдумать, взвесить, оценить. И еще — помечтать.

Блюз очень обрадовался ее приходу. Эти приходы незнакомцев в последнее время сильно его напрягли и потревожили. Он не привык к таким частым приходам посторонних. Вел он поэтому себя прекрасно, ходил не то, что рядом, а в ритм ее шагам, почти приклеенным к ноге. Ел все, что давали. На диване сидел смиренно и не пытался царапаться или шкродничать. Видно было, что он пытается уберечь свою хозяйку и наглядно показать, что с ним-то уж во всяком случае ей будет лучше всего. Это не эти дядьки, что следом друг за другом все приходили и приходили в дом. Как им хорошо вдвоем! Он это демонстрировал всячески, хитрюга!

Ильзе только однажды подумала, не пойти ли с утра в лес. Но быстро отмела эту мысль и решила подготовиться к театру основательно. Сделала масочку, уложила волосы, вообще целый день занималась собой. И ближе к вечеру вспомнила, что снова забыла спросить про фамилию у своего знакомого. Или теперь больше, чем просто знакомого? Смешно, но она не знала фамилии человека, который собрался отвезти ее в другую жизнь, в другое место, лишив привычных мест пребывания: дома, знакомых и друзей, работы. Самого маршрута, которым она проходила ежедневно дважды в день и который сроднился с ней настолько, что она знала каждый поворот, каждую шероховатость на поверхности, где и когда качнет особенно сильно трамвай. Закрыт или нет сегодня лоточек с парфюмерией

— все, все, все! И вскоре ничего этого не будет. А что останется? Неизвестно что. Ночь, пурга, заброшенная хибара, может, еще овцы или куры, и пара собак. Да, невеселая картинка.

В действительности же очень хотелось поподробнее узнать, что там на самом деле и так ли уж все неказисто, как она представляла себе. И еще он не сказал, в каких это краях, насколько далеко от Москвы. Словом, хороша: ни фамилии, ни адреса. Только фантазии и предчувствия. Ладно, посмотрим, решила она и стала выбирать, что бы ей такое надеть. И — нашла! Это было купленное когда-то в Испании болотного цвета платье-хитон с фиолетовыми, едва заметными вставками. И еще там были великолепные пуговицы. Такие красивые, что не требовалось украшений. Но одно небольшое было вполне уместно.

Таким вот образом нарядившись, надев еще замшевые сапоги — на самый торжественный случай лежавшие — она отправилась на Большую Никитскую. Поехала заранее, чтобы там и походить и не суетиться. Когда увидела памятник Чайковскому, подошла близко-близко и вгляделась в лицо, в его выражение. Какое оно было вдумчивое, спокойное и вместе с тем ... отрешенное. Человек, выставленный на обозрение всем, был закрыт ото всех. Раньше, бывая здесь, она не особенно это замечала. А вот теперь, пристально рассматривая, увидела.

У окошечка администратора уже стояли люди и она оробела. Неужели ей удастся все произнести и не ступешаться? Однако слово, данное Емельяну, было превыше всего и она назвала фамилию Юровского. Ей без лишних вопросов протянули красивую бумажечку, где были указаны ряд, места и все остальное. Пропуск был на два лица. Ах, как жаль, что второго лица не было и она не стала предлагать никому контрамарку, решила пойти одна, используя одно лицо. И правильно сделала. Так было прелестно, что рядом не было никого, и она и вправду сидела почти одна. Во всяком

случае, с одной стороны. Концерт был композитора — Феликса Мендельсона-Бартольди — большое трио №1 для фортепиано, скрипки и виолончели.

Зал сиял, люстры светились от счастья причастности к великому таинству звуков, которые, соединяясь, слагались в нечто такое, что подвластно пониманию только каким-то высшим силам или — в крайнем случае — небесам. Даже Аристотель выделял из искусств прежде всего музыку с отсутствием в ней хаоса и наличием ритма и частот, которые-то и сопрягаются в некую небесную гармонию. А уж гармонию он ценил превыше всего.

Это она точно знала хотя бы потому, что с удовольствием в свое время посещала занятия по философии, когда готовилась к кандидатским экзаменам. Ей вообще всегда было интересно то, что лежало как бы на границе разумного, реального и иррационального, что не подвластно было лишь одной логике, а что возможно было проверить, лишь пройдя сквозь преграды и препятствия иных сил и смыслов, совсем не связанных с реалиями и действительностью. Хотя как сказать?! Разве наши фантазии не есть та же действительность, та же реальность, только осознанная как-то иначе? И еще неизвестно, чего больше и чем больше живет человек: собственными размышлениями и придумками, замыслами и фантазиями или конкретными действиями и событиями? А если они и происходят, то их анализ, их осознание в текущей жизни разве не есть подтверждение того, что она и состоит из такого странного сплава мечты, вымысла и... немного здравого смысла?

Но... может, ей это только так казалось? Может, все было далеко не так? И реальность, одна-единственная, и есть самая настоящая правда? Истинная и безоговорочная?

Началась музыка. И она услышала, как в ее течение стал вливаться звук так ожидаемого инструмента. Играющий виолончелист был так сосредоточен и даже

печален, как ей показалось, что она тут же поддалась его настроению. Но это было не совсем так: не печален, нет, скорее, глубоко погружен в столь же глубокие мысли о чем-то величественном и несуетном, в самую суть таких процессов, которые могут быть подвластны лишь музыке.

Ильзе перестала думать о музыканте и закрыла глаза. Дом с огромным садом и бескрайним за ним лугом, именно бескрайним, представился ей. Она увидела и этот дом, и все, что стоит за ним, обратила внимание на пересеченную местность и поразились своему впечатлению: слияние с местом, с природой, с самой собой было столь явным и пронизывающим, что она на мгновение подумала, что, наверное, эта местность должна быть очень похожа на ту, в которой она может оказаться. Она была одновременно и вполне реальной, и даже обычной, но что-то все же было и сказочное в рельефе. И в самом духе, который царил над ней. Именно царил и рождал такие сочетания звуков, которые невольно превращались в стихи. Она старалась запомнить то, что пришло в голову, что осенило ее, но боялась, что следующая музыкальная часть окажется еще сильнее и ей будет не угнаться и не удержать пришедших на ум слов и их сплетений.

**Исторгся вопль,  
Разверлось небо,  
Качнулись горы,  
Настала небыль.  
И солнце в гроте  
Не смело жарить,  
Жила как в гробе,  
Мне б жизнь прибавить,  
Мне б только сердце  
Стучало тише,  
Я выла волком  
Вверху, на крыше.**

**Я помню чудо почти бесстрашья,  
На сердце худо,  
Мне жить — опасно.  
Я не бывала в ладу с судьбою,  
Что перекрыла весь мир собою.  
На зло надменным  
Чиnam из свиты  
Я гордо пряла  
Венок из липы,  
Я увлекалась чужим обманом,  
И источала лишь пыль в туманах.  
Как натерпелась седого страху!  
Живи и помни: я верю магу.**

Но когда началась самая мощная часть, самая трагическая и почти бездонная, Ильзе увидела того, из прошлого Александра, дни которого, как она уже знала, были сочтены. И она снова подумала о смерти. О его, его друга Илие, хотя точно знала, как на самом деле звали этого юношу, но так уж сделалось, что уж теперь? — Илия и ладно. В действительности он был Гестеионом. Но почему-то все странные, ирреальные события так и толкали на то, чтобы называть этого человека именно так — Илия. Она заметила, что смерть такого воина, каким был Александр, наверное, не случайность. И не в том даже смысле, что все на свете имеет причинную зависимость, что есть следствия и т. д. А в том, что он испил свою жизнь до конца. Вряд ли, завоевав весь мир, или почти весь, он понимал, что дальше. Дальше — сами думы об этом были так тяжелы, что лучше было и вовсе бы не размышлять об этом. Он психологически надломился. Как сказали бы теперь, выработал свой ресурс. Да, цель — дело великое. И сделав так много, так бесконечно много к своим почти 33 годам, он словно остановился. Конечно, впереди были еще сражения, и еще. Но вот что дальше и какова истинная цель этого «дальше», ска-

зать было трудно. Перспективы? Завоевывать что, небеса разве? Недаром он стал верить гадалкам, предсказаниям, различным предзнаменованиям. Он потерял реальные ориентиры. Ему стало скучно жить. А жизнь всегда готова это уловить, почувствовать... и — не спустить. Она и отомстила ему за отсутствие праведной цели.

Израсходовал отпущенный ему запас жизненных сил. А ситуация, она — тут как тут, уже подкралась, подобралась. Кто кого предал? Да разве об этом речь? Вот и она теперь все больше задумывалась, для чего ей дана была эта встреча, что от нее хотела судьба, сама жизнь? На какие такие вопросы должна была ответить Ильзе, если в ее жизни появились столь далекие персонажи? Прошлое не просто так вошло в ее жизнь, задело, коснулось? Оно не уходит, не улечучивается, появляются все новые и новые подтверждения каких-то преобразований и перемен. То вот новый питерский знакомый, то невесть откуда объявившийся Емельян...

Тема судьбы, а с нею и смерти, что явно слышалась в скорбных звуках музыки, так растревожила ее, что она не могла успокоиться и всё снова и снова принималась вспоминать то о божьей воле, то о собственной своей жизни, но более всего — о смерти. Зачем она вообще человеку и всегда ли дается за что-то? И можно ли ее предвидеть, предугадать? А бывает она наградой? Ужас! Вопросы роились и она все более подчинялась трагической власти музыки, которая непреодолимо и властно воекла ее в какой-то неразгаданный мир страстей. А они только и могут быть подчинены либо жизни, либо смерти. Разве сама она совершала лишь праведные поступки? А ее измена Алексею, на зло, во вред ему, их отношениям, себе? А все ли так делала на работе и не ленилась быть предельно отданной своему делу? А когда сообщила больному то, чего ни при каких обстоятельствах делать было нельзя: из лучших побуждений, чтобы боролся, или самой было недосуг бороться за него? А-а, тысячи грехов, и жизнь

своя — тоже грешная. Да и как иначе? Нет, это не в оправдание, только в напоминание: много плохого сделано и, наверное, искупить уже ничего нельзя. Алексея больше в ее жизни нет, того больного — тоже. Что же до остальных больших и малых прегрешений — они с ней, идут себе по пятам и продолжают тревожить.

Как же сильна последняя часть. Такая трагическая и непостижимо величественная, что неизвестно, как остался жив композитор, осилив такое?! Не-воз-мож-но! Она чувствовала, что силы, которых было еще много в ее молодом теле, ее ум, интеллект напряжены до такой крайней степени, что она не выдержала, встала и сделала несколько шагов к двери. Там и осталась стоять до самого конца. до последнего, самого финального аккорда. Потрясение? Вряд ли. Это было, скорее, похоже на очищение, на избавление от какого-то непосильного груза. Все, она больше не могла переносить эту ношу и очень скоро, раньше других покинула здание. Шла быстро. Едва держась на ногах, но шаг не сбавляла, не обращая внимания на прохожих, на порывы ветра, на зиму. Она была в каком-то особом состоянии, определить которое пока не могла, да ей и не до определений было. Она хотела лишь одного: поскорее остаться в одиночестве. Ей нужно было как можно быстрее добраться до дома.

И когда она оказалась в своей квартире, теплой, прибранной, с елкой посредине, то тут же бросилась к ящику, выгащила бумагу и написала.

**Исполнится заветная мечта:**

**Я обрету спасенье.**

**Увянут розы, сгинут берега,**

**Я буду ждать счастливого мгновенья.**

**Оно придет, я знаю, я предвижу,**

**И зло, и хаос горько ненавижу,**

**В твоей душе веселый знак я вижу**

**И ощущаю вечности привет.**

**Придется ли опять встречать мечту,**

**Что придвигается все ближе?**

**Послушай, ночь, я не обижу**

**И не заставлю долго ждать.**

**В спасенье чуда окунись опять**

**И жизнь свою в раскатах дня услышу.**

Шел уже второй день наступившего Нового года, до работы оставался всего денек, и она уговорила себя лечь и перестать заниматься экзальтацией. Все, хватит про смерти, хаос, грехопадение, истощенность жизни — хватит! Настает другая пора и она уже на пороге. До нее дотянуться можно почти рукой. А завтра, что ж, завтра непременно настанет, никуда не денется и она увидит Емельяна. Что за имя такое странное, надо бы спросить. И как его звать, если не полным именем? Ладно, разберемся. Она легла, но снова вскочила, и снова принялась вспоминать отдельные фрагменты, мгновения концерта. Сердце, так давно не дававшее о себе знать болью и неприятными ощущениями, вдруг тоже застучало и заныло, да так прихватило, что пришлось пить капли. На этот случай у нее всегда было свое лекарство, которое давно уже не являлось популярно в фармакологии. Но она в него верила и пила, когда вот так, как сегодня, объявлялся ее порок. Вставал на ее пороге и говорил «здравствуйте». Его симптомов никогда не ждали, это всегда была неожиданность и тем более неприятная, если учесть, что в какие-то, весьма продолжительные времена оно и вовсе не давало о себе знать. «Ладно, справимся и с этим, не век же ему болеть», — подумала она, но сама-то лукавила, ох, как лукавила. Ей ли было не знать, что порок — такая штука, которая не девается никуда и что жить ей придется с ним до конца своих дней.

Она лежала, поглядывала иногда в окно, которое намеренно не стала занавешивать и все думала и думала. О жизни и смерти, о любви и преданности, словом, о тех вечных вещах, которые и составляют смысл жиз-

ни каждого человека. В самом деле, если бы не ее та давняя измена, может быть, и у нее с Алексеем все сложилось бы иначе? Зачем она это сделала? Кому и что — главное — хотела доказать? Но ведь хотела, это точно. Боли, мести ему в ответ на его жестокость. Да, это было с его стороны не любовью, а захватом, сильным, не терпящим возражений. Он так решил и все и вся должны были ему подчиниться. До дури, до неоправданного, ничем не мотивированного проявления агрессии доходил он в своем стремлении завоевать и ее саму, и настоять на своих правах и еще — дать ей отчетливо понять, что хозяин только один — он. Других нет и быть не может. Именно поэтому ему был так непонятен ее вечный отказ от брака, неприятие его предложений. Она хорошо чувствовала, чем они обрاملены и зачем нужны ему. Даже в таком тонком вопросе он все равно настаивал на своем первоочередном праве выстраивать ситуацию и быть лидером. И ее деликатный, весьма осторожный отказ он никак не мог принять. Он искренне не мог понять, что ее вообще не устраивает и почему за такого красавчика она не идет замуж!

Но она не шла и уж теперь точно об этом не жалела. Жалела об одном: никогда не надо предавать. Измена — это прежде всего измена себе, нарушение каких-то границ в самой себе. И это очень задевает и всегда болит. Хоть потом, но болит. Только по молодости она не вполне понимала смысла кантовской фразы о нравственности в себе самом. Однако с годами ее чистый смысл открывался ей все яснее и масштабнее. Она теперь четко понимала, что изменить если и можно кому-то, то прежде всего самому себе. А это очень неприятно, это всегда саднит и тревожит. Не стоит. Но это, теперь она стала мудрее и серьезнее и ни за что не изменила бы. Даже из чувства мести, даже желая расправиться с обидчиком.

Так, размышляя и вспоминая концерт, в особенности его срединную, самую трагическую, самую насыщенную часть, она понимала, как ей здорово повезло,

что слушала такую музыку. И — корила себя: редко ходит, все больше в лесу скрывается. Но в лес в последнее время не хотелось: очень уж не желала она столкнуться там с какими-нибудь неожиданностями. Путь все идет так, как есть.

А наутро все так же была зима, да еще более похорошевшая и уверенная в себе. Она словно поуспокоилась, перестала нервничать и осыпала снегом не только дома, улицы и все вокруг, но еще и совершала с этим снегом какие-то чудодейственные превращения и кружения, похожие на падающие осенние листья.

Ильзе оделась и отправилась на улицу Вавилова. Там пропускали без особых препятствий и она вскоре оказалась у палаты на третьем этаже.

Когда она вошла, увидела ту же картину: сосед лежал и читал книжку, теперь уже отвернувшись к стене, а ее Емельян тихо смотрел куда-то вперед и о чем-то думал. Интересно, о чем же?

— А, вот и вы. Ну как? Что там на улице? Зима? Ох, колдует как!

— Вы сегодня в хорошем настроении? Это замечательно.

— Настроение — вещь не самая важная. Это слабость — иметь дурное настроение. Вы были? Говорите.

— Была. Мне было очень плохо.

Воцарилась пауза и оба не знали, как выйти из неловкого положения. Заговорил он.

— Что значит «плохо»? Музыка не понравилась?

Она рассмеялась. Музыка! Да разве такое возможно?

— Нет, совсем не в этом дело. Она была... Можно, я потом расскажу? Сейчас вы скажите, как ваши дела? Что делают и что говорят?

— Говорят обычные вещи вроде того, что все будет хорошо. Но это неплохо, я и сам знаю, что именно так и будет. А делают? Ну, что-то там делают, это тема неинтересная.

— Можно, я поговорю с доктором?

— Ни в коем случае. Я вылезу, непременно, и — даже



на три-четыре дня раньше их прогнозов и дат. Про музыку, скорее о ней.

— Она была. Главное — она была. И со мной тоже что-то происходило. Все дело в звучании инструмента. Это он, волшебник. Сколько в нем боли, тревоги, смятенности и вместе с тем — покаяния и смиренности. Правда? Удивительный инструмент. Он потому и подвластен только мужчинам в основном, что такую силу может выразить именно он, мужчина. Как, разве не так?

Емельян изучающе смотрел на Ильзе и затем сказал:

— Там, где мы окажемся, все будет под стать звучащей музыке. Может, не виолончели, разным инструментам, но звучать там, на природе, она будет во всю свою неумную силу. Поверьте!

— Что ж мне не верить? Вы лучше скажите, что вчера делали? О чем думали? И когда вы приняли такое решение?

— Ох, как много всего. Делал? Ну, сами понимает, не бегал — это раз. Думал? Думал о нас с вами. А решение? После той встречи в лесу, когда потом у вас побывал. Вот вам мой отчет.

— Что вы, я... мне просто интересно. Вы очень сильная личность. А с сильным мужчиной должна быть не менее сильная женщина. Вот я и думаю...

— Правильно думаете. Силы вам не занимать, а чего не хватит — добавим.

— А до консерватории что делали? И почему — музыка? Кто-то в семье играл?

— Нет, в семье не играли. Нашелся только я. Мама словно учуяла, поняла, куда меня надо. Не в радио кружок, не дельтапланеристом не стал, не пошел. Уже лет в пять тянуло именно в эту сторону. А толчок и теперь помню, какой был. Играли мы во дворе, то в прятки, то в догонялки, все, как у всех. И вот спрятался я, стою и слышу... А было это в чьем-то сарае. Слышу, представьте себе, не что-то там величественное, а мышинный писк и возню. Но были они при этом какие-то рит-

мические, что-то совпадало сразу по двум фазам: внутри самого животного и того, что ее окружало: шорохи в этом сарае, может быть, рожденные темнотой, моим воображением — не знаю, но начало возникать многоголосие, я это свои детским умом понял. Не знал только названия. И все это вместе попеременно шелестело, скрежетало, попискивало и получалась не что иное, как музыка. Я даже забыл, зачем залез туда, так было интересно. Потом уже сознательно стал к этому прибегать: спрячусь где-нибудь, затаюсь и жду — сейчас начнется. И действительно, начиналось. Я уже еле выдерживал. Приходил, садился к нашему роялю — старенькому пианино — и что-то там вырисовывал. Мне важно было закрепить картинку, которая складывалась каждый раз в моем сознании, в памяти. И мама, конечно, не могла этого не заметить. Не охала, не вскидывала руки, а однажды просто сказала, что мы идем в школу, в особенную школу, где нужно будет показать свои картинки. Ну, мы и пошли.

— Показали?

— А как же! Вы же в тот вечер прочитать хотели. Сможете?

Ильзе оглянулась на лежащего мужчину, но Емельян ее успокоил и сказал, что можно ведь тихо и тогда никто не услышит. «Кроме меня», — добавил он.

— Сейчас, я сейчас.

**Спрягаю пряди тайного письма,  
И, прогулявшись переулком, смолкну,  
И, запрокину голову у синего окна,  
И, стоя напролет всю ночь, промокну.**

**Придет на ум чередование смыслов,  
Их нитей тонких вязкая вуаль,  
Под стать искусству ветреных артистов  
Я заплачу актерством дань.**

**Сыграю роль и весело, и лихо,  
И, не вникая в прелести творца,  
Отброшу поручни пловца и тихо  
Открою двери пышного дворца.**

**Войду в него без тени сожаленья,  
Порадуюсь беспечности слуги,  
И, пролетая в нимбе вдохновенья,  
Взмахну рукой и прошепчу: не лги.**

**Так, существуя в вымысле и в были,  
Порой меняю жизнь на выдумки игры.  
Ах, как очаровательны вы были,  
Метаморфозы смысла из сумы.**

Помолчали, потом он сказал:

— Вот только слуги у нас там не будет. Оказывает-ся, сколько в вас разного! И не думал.

— Да. Мне завтра на работу. Приду попозже.

— Нет, отдохните. Первый день он и есть первый. Устанете. А я буду выкарабкиваться. Вы верите, что другая, совсем другая жизнь не так страшна?

— А как же консерватория?

— А-а, какие сложности, подумаешь! Взяли и поехали. Что нам стоит?

— Вы сами тоже водите машину?

— И машину, и трактор, и... подводную лодку.

— Как?

— Так, служил там. Не знаю даже, что лучше: море или музыка? Не могу без моря.

— Но ведь собираетесь жить без него.

— Нет, там есть большое озеро.

— С рыбой?

Емельян засмеялся и кивнул: «Да, с рыбой».

Она еще какое-то время оставалась в палате и они, уже не разговаривая, просто молчали и ... слушали, как тогда, в детстве Емельяна, звуки: те, что за окном, в коридоре, всюду.

— А как вас называла мама?

— Мама?

— Да. Я ничего такого не спрашиваю?

— Ничего такого. Так и называла Емельяном.

— Это замечательно.

— Почему?

— Не знаю. Все, я пошла. Отдыхайте.

И она вышла из палаты.

Ей и раньше приходилось бывать в этой больнице и всякий раз, приходя сюда, она испытывала ужасно неловкое чувство: что вот она на свободе, здоровая и сильная, а человек болен. Так было всегда и избавиться от странного наваждения она не могла. Кольнула подобная мысль ее и теперь.

Она шла вдоль забора и думала, что с каждым разом этот человек притягивает ее все больше. Какая-то необъяснимая сила была в нем заключена. Это виделось и определялось сразу. И она с удовольствием подумала, что как же славно, что наконец-то в ее жизни появился именно такой, именно сильный, а не жестокий и агрессивный мужчина.

Наутро, как и до наступления Нового года, она отправилась к себе в клинику. И ее встретили, как родную, и она — с радостью своих коллег. Все шло, как обычно: обходы, подготовка к операции, наркоз, реанимация. Кто-то уже выходил из наркоза, у кого-то операция и воспоминания о ней оставались все дальше и дальше. Однако на все события, перипетии текущих дел, встреч, разговоров она смотрела по-другому. Изменилась даже не точка зрения, а само понимание происходящего. Она сознавала, что идет черед важных, нужных взаимодействий. Но что-то новое вклинилось в их оценку. Так, например, она в какие-то моменты стала ловить себя на том, что работа начала окрашиваться в рутинные цвета. Несомненно, каждый случай был уникален и не похож на другой, но в том, что обрамляло его, были очень схожие вещи. Разговоры, оценка, реакция. Не было — страшно сказать — какого-то драйва, обостренного чувства опасности. Каждый знал,

что если не он, то другой непременно вклинится и сможет. Стала уходить не просто острота, но острота индивидуальной ответственности. Непонятно, кто за что в действительности ответственен. Коллектив, как было когда-то, как, собственно, было всегда в этой стране. Все решала не отдельно взятая человеческая личность, а коллектив. Суд присяжных, общее собрание — у кого кто. А ей вдруг захотелось отвечать только самой, быть причастной к судьбе, к беде абсолютно самостоятельным, не опираясь ни на чей совет, мнение.

Опыта уже было предостаточно, но вот того, что касалось личностного роста — здесь, как обычно, царил иерархическая ходьба по лестнице, долгая и утомительная. Надо было дожидаться звания доцента, определенное количество лет просидеть, пробыть с ним, затем — защита докторской, если оставят в живых и не сомкнут ряды в страстном желании, чтоб никто другой не проник в них и не расширил их. И так — тоже много лет. Затем... затем все то же долгое и тернистое восхождение, может, даже утрата опыта в ущерб значности, известности, представительности. Меньше операций, меньше общений с больными, зато — премии, поездки, бесчисленные конференции, соавторство в столь же многочисленных статьях. Публикации — как один из видов возможного успеха. Словом, многое из того, что постепенно уводит врача из профессии, одаривая его благами процветания и признания. Что важнее? Наверное, кому что. А ей? И впервые она подумала, что даже если примет предложение Емельяна, можно будет ТАМ не только дрова заготавливать и коз доить, но и заниматься практикой. Ездить по деревням, ходить от дома к дому и уж во всяком случае приносить пользу. Да и квалификации не потерять. «Надо бы непременно сказать об этом ему. Так будет правильно. И все от этого только выиграют», — думала Ильзе, осматривая очередного больного и перебирая возможные варианты доз, вида анестезии, расспрашивая о его жизни, привычках, болезнях. Она привыкла не формально относиться к таким беседам. Иногда

мелочь, незначительная оговорка значили потом больше, нежели обстоятельно написанная история, анамнез.

Она шла по коридору к больному, у которого завтра по плану должна была быть операция и мысленно спрашивала себя, а готова ли к переменам? И что произойдет, когда она, к примеру, объявит о своем уходе? Будут ли искренне жалеть о ней ее сослуживцы или очень скоро забудут? И даже дядя Костя. Сколько ему? Около семидесяти уже. Столько лет вместе. И оппонентом на зищите у нее был, и вообще... столько хлебнули всякого — разного. И вот у Зинки на днях свадьба, не забыть бы. Она шла по нескончаемо длинному коридору и словно заново открывала знакомые стены-двери, видела посыпавшуюся штукатурку у косяков, где-то не очень тщательно помытые полы. Но все это было ее родным, привычным и расставаться с этим было точно трудно. Во всяком случае, сейчас, да и за несколько дней сделать это и впрямь сложно: надо было отстояться решению, проникнуться сознанием перемен, новых событий и имен в ее жизни.

На кровати лежала довольно полная женщина с усталым, даже измученным лицом. Ильзе сразу обратила внимание на то, что она постоянно крутила кольцо на пальце и безучастно смотрела куда-то вверх.

— Добрый день, меня зовут Ильзе Ахатовна, я буду завтра с вами на операции. Наркоз — это по моей части.

Та, наконец, оторвала взгляд от одной ей ведомой цели, внимательно посмотрела на врача и почему-то невпопад сказала:

— А я думала, что до весны дотяну, так не хочется зимой. Сто одежек, а я вон какая толстая.

— Ничего, зимой лучше заживает. И день завтра хороший.

— В каком смысле?

— В разном. Например, в том, что наш главный доктор, Константин Эдуардович, будет с нами. Я спросить вас хотела. Скажите, а что для вас главное в операции? Ну, понятно, чтобы успешно прошла. А потом?

— Как это? Что значит «потом»? Работать буду, у меня три сына, не залежишься. Целый день на ногах.

— Понятно. И все же. Что вы думаете о будущем? Чего хотите?

Больная внезапно рассмеялась, взгляд ее сделался осмысленным и вполне живым. Она хитро глянула на докторшу и сказала:

— Замуж хочу выйти.

— А есть за кого?

— А как же? У меня всегда есть.

— Здорово. У вас аллергии нет на препараты? Читала в истории, что вроде нет?

— У меня лет десять аллергия на мужиков была. Теперь я ее вывела. Все! Осталось жир убрать, да эту заразу выцарапать. И буду я королевной снова. Как вы думаете, выберусь?

— Да куда ж вы денетесь? Тем более, замуж собрались.

— Да. И платье уже есть. Мне сколько деньков надо, чтоб оклиматься?

— Недели две.

— Нет, это мне не подходит, надо поменьше. Ну ничего, я жилистая, хоть и толстая. Сокращу сроки. Как в пятилетку, помните?

— Еще бы!

— Мне бы к пятнадцатому успеть похорошеть заново. Вот, как раз три дня и можно сниматься. Не бойтесь, доктор, все будет хорошо. Я знаю.

— Я — тоже. До завтра.

Она снова пошла по коридору и ей отчего-то было весело. То ли оттого, что женщина попалась хоть и простая, но с оптимизмом смотрящая на все жизненные препятствия. Даже и замуж наметила — когда пойдет. Вот бы и ей, Ильзе так! Не мучиться, не сомневаться, без колебаний — раз и замуж! Да еще в непроглядную глухомань! Так нет, вечные интеллигентские штучки донимают: о пользе обществу, о том, чего не доделала, не додала. О страхе зачахнуть и совсем забыть профессию. Разве не страшно было идти, идти,

защищаться, сидеть часами в Ленинской библиотеке, да и в других тоже? Страх не состояться, страх не полюбить, не сказать свое слово, наконец, в науке! И вот теперь, разом от всего отказаться, победив все те страхи, и... обрести новые. Да? Наверное.

Окна в больнице были большие, тогда еще понимали, когда строили, что человеку нужно видеть мир, пространство вокруг себя. И она остановилась возле одного из них.

**Зима — в покосах,  
Снег — на погостах,  
И в изумрудных гроздьях —  
Снег.**

**Уходят росы,  
Завяли розы,  
И в апельсиновых рощах —  
След.**

**Иду искать,  
Бегу, тревожась,  
А он все тает в синей  
Роще.  
Совсем раздет,  
Уходит ввысь,  
Кривится боком,  
Становится судьбой  
И непреклонным роком.  
Ему — привет.**

**Вперед хочу,  
Назад пытаюсь,  
Я все найти его стараюсь,  
Чтоб дать обет.**

**Но следа нет,  
И вряд ли будет,  
Но навсегда горит, прилюден,  
Основы свет.**

Она потянулась, взмахнула, как обычно, руками и зашагала к себе в ординаторскую.

В конце рабочего дня домой отчего-то не хотелось, да и пришлось задержаться. Подошла Зина, вся в слезах, сказала, что ее тошнит день и ночь и что скорей бы уж «это все прошло».

— Если бы я знала, какие это муки, ну, ни в жизнь...

— Брось, Зин, все через это проходят.

— Да? Вы-то вот не прошли же. Ой, ладно, извините.

Поняв, что сморозила глупость, она сразу перестала хлюпать, сознание словно вернулось к ней снова и, уже смеясь, она сказала, что жених не дождетя, когда можно будет, не таясь, спать вместе. «Мы-то почти все по углам. Своего нет. Под приглядом. Он и тоскует у меня. Хорошенький! Жуть!» — сказала Зина и Ильзе посмеялась вместе с ней над ее «жуть» и вообще надо всем, чем можно.

— Слышишь, как снегом пахнет?

— Ой, я все теперь слышу. У меня совсем нос другой стал. Я такое слышу. Не знаю, как операции теперь выдерживать буду.

— Пройдет.

— А вообще-то интересно. Раньше я не знала, что у зимы запах есть.

— И какой он?

— Он? Как малина. Или ... в общем, на ягоды похож. Хотя и не лето вроде.

— Вроде. И что, так и пахнет малиной?

— Еще вспомните меня.

— Непременно.

Ильзе медленно оделась и вышла на улицу. И пове- ла носом: где тут малина? Никакой ягоды не было, а

шел, снова, как и все дни шел снег. Его было так мно- го, что тротуары убирать едва успевали, а иногда она просто даже проваливалась в него по щиколотку. Та- кая была зима!

Когда она отпирала дверь, то уже слышала теле- фонный звонок. И все же не успела. Так уж сложи- лось, что подруг, в обычном понимании этого слова, у нее не было, и звонки телефонные были крайне редки. Она после своих отношений с Алексеем так и не обзавелась подругами, а напротив, растеряла их. Была у нее одна, Ирина, но между ними как-то неза- метно встал Алексей, начались оговоры, подозрения, словом, закончилось все не лучшим образом: расста- лись они с Ирой, а потом и с Алексеем. Ира очень хотела выйти за него замуж, но для него что-то, что «очень», тем более по инициативе женщины — было невозможным, неподъемным делом. Поэтому он всячески избегал с ней контактов, чем страшно до- саждал Ирине. И все же однажды сделал свое не- симпатичное дело назло Ильзе. С этого и начался тот разлад, который все обрастал и обрастал слож- ностями, сплетнями. Стало общаться просто невоз- моту. Постепенно, вместе с отказом от своего полу- любимого, она отказалась и от общения с Ириной. И ей стало легче. Одиночество, полное, безоговороч- ное, было куда честнее и необременительнее, неже- ли узда то ли, дружбы, то ли любви.

Кто же мог звонить? И вот — снова звонок. Она подбежала, сняла трубку и... услышала голос Алек- сандра. Это ей совсем не понравилось, однако, вежли- вость требовала задать некоторые вопросы. Тем более, что он и сам был горазд на откровенные рассказы и подробности.

— Как же вы справились? Обиделись?

— Ну, это не про меня. Знаете, это даже пикантно: встретить Новый год необычно. А уж с необычностью мне точно повезло. Не поверите, но я ехал на после- днем трамвае. И откуда он только взялся? Наверное,



водителю просто некуда было деться. Мы и отметили. У нас с собой, вернее, у него было. Помните Высоцкого?

— Вы из Питера?

— Но не из Москвы, уж точно.

— Знаете, мне кажется, вы никогда не полюбите, уж простите меня.

— А вы задира.

— Я умею видеть правду.

— Какую же правду вы увидели во мне?

— Вы — хозяин многого и многого в жизни. Но иногда устаете от той роли, которую когда-то взялись исполнять. Смените амплау и вам полегчает.

— Так не пойдете замуж?

— Ах, бросьте, все это не серьезно.

— А как бывает серьезно? Я, наверное, чего-то не понимаю.

— Наверное.

— Научите.

— Это невозможно. Знаете, каждый несет свой чемодан.

— Я предпочитаю большие дорожные сумки.

— Вот и несите.

— Не поможете?

— Знаете, на что бить.

— Наверное, вы правы.

— Не стану вас утешать, никто ничего сделать не может.

— Ну, это вы зря... Может. Вот вы, например. Улыпаться и пойти.

— Я и иду.

— Куда же?

— Вероятно, в сторону, противоположную вашей.

— Ах, милая вы моя, как это заводит: отказ! Очень!

Но я сильный.

— Может быть. Но не настолько, чтобы молчать о своей силе. Весь мир, как ваш предшественник, не завоеуете. Вы все время нарушаете границы. А мир после Македонского изменился, человек не любит вторжения в свои границы.

— Вам надо меньше читать умные книги. Станьте дурочкой, в конце концов.

— Поздно. Да и скучно, скажу я вам.

— Ильзе, может быть, вы приедете? Может быть, все еще возможно?

— А что «все»?

— Ну все: дети, дом, преданность...

— Возможно. Только не со мной.

— Вам что, неужели этот хмурый тип нравится?

— Вы снова нарушаете границы. Хотя... ладно, скажу: нравится.

— Понятно. Что ж, жаль. Если захотите, найдете меня. Вам и звонить нельзя?

— А зачем?

— Как я не разглядел, что вы такой прагматик!

— Нет, я вас же хочу побереечь. Лишнее это.

— Я добрый, вы бы поняли это. Потом.

— Особой доброжелательности в тот вечер я не усмотрела. Вы были... как бы это сказать...

— Да уж говорите.

— Вы привыкли быть победителем. А завоевание — вещь хлопотная и длительная. Или наоборот, очень даже скорая и легкая. Кому как.

— Что-то все не о том. Но главное я понял.

— Я думала, уже тогда вы поняли все.

— И тогда, и теперь. Желаю... желаю вам не ошибиться.

— Постараюсь.

— И еще — счастья. Прощайте.

Она положила трубку и стало сразу тускло на душе. Вот ведь, нашелся победитель! Не нужна ему ни женитьба, ни любовь. Просто привычка побеждать сломалась о чье-то там сопротивление. Надо же! А он думал, что она уже у него в кармане?! Нет, не все так легко. Она так ценила свое гордое одиночество, что даже если бы не было Емельяна, и тогда бы не поддавалась этому пожирателю женских сердец. Ни за что!

А наутро она стала собираться на работу особенно тщательно, так как знала, что пойдет к Емельяну. Все

так же было скользко, холодно, поддувал ветерок, но все скрашивалось прелестным убранством, которое зима сотворяла по своим эскизам и фантазиям.

В метро ее кто-то взял за локоть, она оглянулась и увидела незнакомого мужчину. Он улыбался и было непонятно, чего в его взгляде больше: иронии или радости от встречи.

— Вы кто? — спросила Ильзе и ей ответили:

— Неужели я так изменился?

И тогда она стала вглядываться в лицо и что-то больно ужалило ее. Но вдруг вспомнила, что когда-то давно, когда в очередной раз запустили спутник или полетел наш человек в космос, они, все ребята со двора, побежали на горку, чтобы лучше рассмотреть небо. Им казалось, что они непременно увидят там что-то. И там был, конечно же, Вовчик, который стоял и смеялся, и радовался больше других. И все увлеклись его настроением и тоже смеялись, как только могут смеяться дети: просто так, без всякой причины. И вот теперь Вовчик, в шапке, которую снял и держал в руках и на лице которого все сияла та же детская улыбка, стоял перед ней и спрашивал о чем-то. Голова закружилась, она чуть не упала, и он, поняв ее состояние, мгновенно сориентировался, подхватил и сказал, что все хорошо. «Причем, везде, — сказал он, — и на земле, и на небе. Ты помнишь?» Она, словно возвращаясь после легкого шока, смотрела на Вовку и думала, что, наверное, и она уже не такая молодая, и что жизнь так беззаботно бежит себе и бежит и не удосуживается даже задержаться, чтобы ты успел сделать то, что нужно, что хотел.

— Вовчик, это ты?

— Как, ты уже заметила? Раньше ты не была такой тугодумкой.

— Раньше... раньше все было по-другому.

— Брось, все так и было, ты просто всегда читала слишком много книг.

— Вовчик, а у тебя дети есть? — вдруг спросила Ильзе и сама удивилась своей бестактности.

— А как же, двое. А у тебя?

— А у меня нет.

— Ну вот, я же говорил! Одни книги в башке! А время-то бежит, моя хорошая. Выглядишь прекрасно, что тебе? Рожай давай скорей, а то так и останешься старой девой. Дети нужны, — сказал он особенно напирая на это, видимо, зная и правда, что это самое главное в жизни.

— Ты что, тут живешь?

— Да что я, ненормальный? Здесь жить нельзя! Поэтому ты и не размножаешься. Я живу в селе. Знаешь по фильмам, что есть деревни и села, а не только большие города?

— Ты всегда был весельчаком.

— Я им и остался.

— И тебе не скучно?

— Мне скучно здесь, вернее, грустно смотреть, как вы все несетесь по жизни, не ведая, не зная, что это такое. Вы — механизмы, машины.

— Да? А, небось, лечиться в Москву бежите?

— Не обязательно. А мы и не бодем.

— Вот это здорово. Как так получается?

— Некогда — раз, природа — два, друг друга видим и любим — три.

— Понятно. И на сколько ты здесь? По делам?

— Вечером домой. А еду в министерство, надо кое-что пробить на строительство и медцентра, и школы.

— Ты что же, начальник?

— Конечно, характер у меня такой.

— А мама, тетя Эля, они как, живы?

— Мамы нет, а тетка жива. Да и отец еще жив, но там так и остался, в Азии.

— И даже в Литву не захотел?

— Не-а.

— Ты как в детстве говоришь свое «не-а».

— Ты-то где, кто?

— Доктор я, людей лечу. Нет, не лечу, а наркоз даю во время операции.

— Ой, не надо, лечите дальше, а мы лучше так...

- Вовчик, я так рада. Ты кого-то из наших видишь?
- Ну. Симка где-то здесь обитается.
- Замужем.
- И неоднократно.

— Молодец. Жаль, бежать надо. Когда еще увидимся? Вот тебе моя визитка, мало ли что. — И она сунула в руку Вовчика карточку. — Привет всем передавай. С Любочкой я общаюсь, у нее все хорошо, она тоже осталась там. Счастливая! Дай, поцелую. Пока.

И она последовала дадыше, успевая радоваться и сокрушаться одновременно: вот ведь везет человеку на характер, все у него хорошо. И так было всегда. Хороший, уверенный, никаких комплексов, депрессухи. И как он так может?

Не случайно, наверное, именно теперь надо было встретить Вовчика с его радостным ощущением от жизни в деревне, «на селе», как он сказал. Может, и правда, в этом что-то есть? Но он там давно, а вот так с ходу, после стольких лет жизни в столице?!

Целый день, и когда шла операция у той, вчерашней женщины, и потом, когда по заведенному обычаю, пили чай у дяди Кости, она все возвращалась мыслями к утренней встрече. Действительно, как он так может? А она, она смогла бы?

С такими мыслями она вышла из клиники и поехала в другую, благо, это было не так далеко. Добралась за полчаса, а, если бы не снег, то вовсе минут за двадцать.

Вошла в палату и встала, как огорошенная: Емельяна на месте не было. Не было и читающего мужчины. Она осмотрелась в коридоре, забеспокоилась и тут, наконец, у окна увидела стоящего Емельяна. « Не забыть спросить про фамилию», — почему-то подумала она и пошла к нему.

Тронула за плечо, он обернулся и развел руками. Жест явно означал, что вот, мол, смотрите, уже на своих ногах.

- Вы не рано?
- Нет, у меня же план.

— А болит?

— Это уже мелочи. Как сами?

— Скажите, а ваша фамилия?

— Да, точно, я и забыл. Меня зовут — разрешите представиться — Емельян Дмитриевич Обручев. Подходит?

— Что именно?

— Ну, фамилия? Вы же от нее не откажетесь, надеюсь? А ваша? Хотя, нет, можете не говорить, а то что-то мы не про то. Я вот что хотел сказать.

Он медленно, но все же решительно шагнул в сторону палаты. Там он присел на край кровати, она — рядом на стул, и они снова стали говорить.

— Так я вот о чем. Вы постепенно готовьтесь. Судьба словно дала вам отсрочку. Заявление там, все прочее.

— Вы совершенно твердо намерены? Решили?

— А разве вы еще не поняли? Знаете, мне почему-то трудно было все время назвать вас по имени. Ильзе... Удивительно мягкое и в то же время звонкое имя. Где вы родились?

— В Азии. В Средней Азии.

— Это хорошо. Там сильны понятия о семье, о роли ее.

— Росла без отца, он рано умер. И я решила еще в детстве, что непременно буду врачом и никогда не допущу такой ошибки, как с ним. Как его утробили.

— Лечить можно везде. И в глуши — тоже. Там это еще ценнее. Я ни за что не развелся бы. Сам этого не сделал бы. Мать так воспитала, что я думал, все вытерплю, даже самое худшее. Но тут... тут трагическая случайность, ничего не попишешь.

— А что для вас брак?

— Для меня? Для меня это означает... да все означает, не стану мудрствовать. В браке только и должен жить человек.

— Но вот вы же, вы пошли сначала в монастырь.

— Да, от безысходности. Но и там не смог: не хватило сил. Степени свободы — они ведь разные бывают. И

тамошняя оказалась слишком суровой. Я, видимо, не был к этому готов. Зато готов к другому: иной жизни, иному укладу.

— И в чем он заключается? В уходе? Ведь все равно в уходе? От мира, от людей?

— Ошибаетесь. Не в уходе. В изменении, но не в отказе от жизни. Думаете, театры и консерватория делают человека счастливым, а жизнь — насыщенной? Любовь — она везде, ее только услышать надо. И жить можно везде, но или, — он засмеялся, — почти везде. Как понимать, как чувствовать эту жизнь! Здесь суета съедает. А в жизни еще столько успеть надо.

— И что бы вы хотели успеть?

— Книгу. Мне надо успеть написать книгу.

— О чем же? Что-то профессиональное?

— Не совсем. О музыке, ритмах и ... о той же жизни. Но это я так, не серьезно. На самом деле все строже и четче. Это книга о гармонии. Что это такое, как она рождается и что ее рождает, как проявляется и можно ли к ней прийти? Гармония на многих уровнях и во многих проявлениях. Но, мне так кажется, я — вслед за Аристотелем — смогу развить его идеи о ритмах вселенной и запечатлеть их в тех сочинениях, что у меня имеются.

— Так вы что же, пишете музыку?

— Так любя ее, нельзя не писать ее.

— На стареньком пианино?

— Пока так

Он взял ее руку, она несколько напряглась, но он не выпустил ее сразу, а почему-то перевернул, подержал еще на весу и отпустил.

— И как же вы жить собираетесь, если так любите? Кому, для кого вы пишете? И кто там ее слушать станет?

— Неверно. Сама постановка. В вас кричат стереотипы. Мол, раз город — известность, успех обеспечены. А если глушь — ты, якобы, никому не нужен. Неверно. Не сердитесь, но пишут, как еще Толстой заметил, только по одной причине. Я имею в виду

нормальных писателей, сочинителей, не конъюнктурщиков. А потом... потом это все как-то устраивается, распространяется. У меня, знаете, друзья есть. И это такая опора. Пишут лишь потому, что не могут не писать. Я из них. Вы же не можете не работать? Так вот, и там станете. Я же вас не на дойку коз хочу определить.

— Боязно.

— Понимаю. Посмотрите, еще втянетесь, весь этот городской угар станет ненавистен.

— Вы устали?

— Вопрос не для меня. Иногда мне кажется, я не умею уставать. А вы... вы утомились. Идите. И завтра отдохните. Погуляйте, подумайте, просто дома посидите.

— А вы почему телефон мой не спрашиваете?

— Я, видите ли, по старинке: не люблю техники такого рода. Надо человека видеть. Но вы правы. Может, стоит записать.

И здесь Ильзе протянула ему карточку, вынув ее из сумки и поднялась, чтобы идти. Однако что-то мешало ей, словно какого-то вопроса еще не задала. И она стояла, медлила. Помог он.

— Еще есть дни. А времени — целая жизнь, чтоб привыкнуть. Идите. Буду ждать. Правда.

Она вышла и медленно пошла по коридору, затем вниз и — на улицу. Почему он ее щадит, велит сидеть дома, не напрягаться? Это что, позиция или чувство неловкости? Так о многом хотелось его расспросить, но вопросы замирали на губах и говорила о другом. Не менее важном, но все же — о другом. Ей хотелось знать, что он чувствует, как относится к ней. Однако она тут же осеклась: ну если б плохо, не стал бы планы такие строить. Вот, однако, стереотип, о котором и он говорил: хочется фраз, слов, а поступки, намерения... Почему они-то не анализируются, не берутся во внимание? Она припомнила, как кто-то ей сказал, будто живет она в полножки. Так и есть, она согласна. Какой-то

непонятный внутренний зажим сидит в ней, управляет поступками, поведением. А хочется — прямо, наотмашь, не боясь никого и ничего. Лет уже столько, что вряд ли сможешь, изменить в себе это настолько, чтобы стать другой. Пусть не совсем другой, но начать видеть мир в оба глаза, да так широко и открыто, чтобы изменилась его оценка, реакция на жизнь, сам способ жить, в конце концов.

Она долго шла пешком, пока вконец не устала и не замерзла. Скорей бы послезавтра, — подумала она, представляя встречу с Емельяном через день. И зачем я не возразила, согласилась? Вот они, эти полножки. Но ничего, может, еще и послушаюсь.

И снова она не пошла в лес, да и поздно было и главное — она как будто искала причины, отодвигающие возможность похода туда. Словно оправдывая свое поведение, она каждый день сочиняла все новые отговорки и не шла. Что же дальше, когда? Отвечать, однако, не спешила.

Дома было тепло и Блюз так ждал ее и так был снисходителен и к ее настроению, и даже к тому, что уже неделю ему не давали вареной рыбки, что она устыдилась. Действительно, что за хозяйка? Могла бы зайти в магазин и прикупить что-нибудь. Она раскрыла холодильник и неожиданно обнаружила там давненько купленный кусок рыбы, неизвестно как там оставшийся. Отварила и стала накладывать коту. Он извелся в ожидании ужина. Какие только песни не пел, как только о ноги не терся. Даже заскочил на верхнюю полку и оттуда с нетерпением наблюдал, когда же, наконец, положат еду. Спрыгнул, снова терся и пищал и — дождался. Если бы ее спросили, какое зрелище на нее производит самое благоприятное впечатление, то она, не задумываясь, ответила бы, как кошка пьет молоко. И еще жадно ест. Она сидела и наблюдала, как урчал, мяукал, сопровождая свою трапезу Блюз, и думала, что когда-то, но ведь правда, так будет, что ее дети будут кушать и пить молоко и она, наверное,

будет так счастлива, что даже кот, зима, все прелести природы не смогут затмить этого чуда. Так будет, она стала теперь подолгу думать об этом и все более проникаться мыслью о будущем, о неизвестном своем будущем, но которое непременно должно было быть счастливым. Будущее с Емельяном.

Кстати, сама ведь тоже не обращается к нему по имени? Что это, снова комплекс: выговорить сложное, непривычное имя? Глупость какая, просто не пришлось, вот и все.

Так она пыталась оправдать себя, а сама вспоминала, как он смотрел на нее, что говорил и еще... как взял ее за руку и держал ее. Скорей бы, скорей послезавтра!

Она приготовила салатик, свои неизменные бутерброды и снова подумала, какая же она никудышная хозяйка. Однако странное дело: когда кто-то должен прийти, она все может. И — хочет! Только себе — ни-ни. Одной есть — это ужас. Но идут дни и недели. А она все равно одна, значит, надо что-то делать, не жить же впроголодь! Так и сердце стало чаще прихватывать. Вот и сегодня на работе в самый неподходящий момент она почувствовала, что давит, словно плиту на него положили. Нехорошо. И она решила, что завтра непременно купит много всякой еды и приготовит первое, второе и.. компот. Как в детском саду. Правда, там был кисель, который она страшно не любила. Но вот прошли годы и с удовольствием пьет его. Значит все возможно изменить, не говоря уже о вредных привычках, родились-то которые только из вечного пребывания в одиночестве. И разрушать его не хочется, и делать для себя — тоже. Какой же выход? Изменить неудобные привычки, да и только.

Она Вспомнила встречу в метро с Вовчиком и так захотелось в любимый город, в котором не была более десяти лет. Говорят, стал он очень красивым, просто-таки великолепным. Посмотреть бы!

И невольно взяла свой блокнотик и начала писать.



**Я в тайну погружаю плоть,  
И мистикой уже не превозмочь  
Пропахших зноем снов и совпадений.  
Однако нет в судьбе моей мгновений,  
Что так отчетливо беспечны и темны,  
Как диск полуночный танцующей луны.  
В застывшем воздухе таится аромат  
Цветов и сена — вон, их целый клад,  
В уснувшей ночи — тайная печаль  
И расставаться с тайною мне жаль.  
Невнятных призраков шальной испуг,  
Ночь кончилась, мрак испускает дух,  
И кружится на ниточке надежда  
На легкий вздох — снимаю все одежды,  
И исступленно искушенью рада,  
Стремительно бегу по саду  
И догоняю вечное движенье.  
Прочь домыслы, долой сомненья.  
Я прогоняю призраков лукавых,  
Седых и немощных, безглавых,  
Освобождаюсь от посулов и соблазнов,  
Не принимаю ветреных отказов,  
И, обретая снова обновленье,  
Я доверяю тайне превращенья  
Из сизых сумраков и мглы ненастья,  
Я восстаю опять и жажду счастья,  
И тайное опять предстанет явным,  
Качнется мир и снова станет пьяным,  
И я смолчу о нашем прегрешеньи,  
Мне тайна — нипочем, я жду решенья.**

Она легла, уснула сразу и ей приснился сон. Как продолжение ее странных попаданий в старые времена, в ту историю, которая давно закрепилась в созна-

нии как миф и почти нечто нереальное. Но она, тем не менее, была, жизнь с ее героями, персонажами, кумирами и богами.

Без звонка и без стука, в ее квартире оказался мужчина в весьма странной одежде, которая была пошита необычным образом и явно не совпадала с сезоном. На улице мороз, а он — в светло-бежевом легком одеянии. Вошел, огляделся и сел не на диван, а прямо на пол, придвинув к себе маленький журнальный столик. Внимательно посмотрел в окно и сказал, что такое видит впервые. Ильзе не дрогнула, не испугалась, а почему-то сразу поняла, что перед ней человек совсем из другого времени, из другой цивилизации и — более того — не ведающий ничего о зиме. Стало быть, из теплых краев. Но анализ ее и оценки шли как-то стороной, по касательной и не имели особого отношения к происходящему. Человек сидел, смотрел в окно и наконец заговорил.

— Вы же не всегда такая грустная, правда? Грустить — большой недостаток, это противоречит законам развития жизни.

— Просто я устала.

— Знали бы вы, как устал я! За столько-то столетий! Вы же меня узнали, когда оказались в трехсотых годах еще, старой эры. А теперь я решил вас навестить. Как вам живется? Что любите? Кого изучаете? Слышали ли обо мне?

— Попробую догадаться. Вы — Аристотель? Просто другие персонажи в последнее время мне не встречаются. Я имею в виду то, прошлый век.

— Правильно, ученый старец. Воспитавший Александра Великого.

— У нас недавно была конференция и там один оратор сказал, что нынешнее время совсем не для философии. Что сейчас время силы. И даже больше — силы на силу. Я ему не поверила и возразила, и даже вас в пример привела.

— Вот потому и время сейчас такое: не для философии, говорите? Это он загнул. Если бы люди мыслили,

а не просто совершали те или иные действия, не было бы такого количества войн, разрухи, бедности и ... разврата. Всё гибнет: сам человек в своей похоти, в стремлении завоевывать огромное пространства. А с ним гибнут его близкие. И его идеи. Все тонет в скверне.

— Но ведь ваш Александр, разве он не был подвластен таким же идеям, умонастроениям? Разве он не подчинил себе весь мир? А ведь рядом долгое время были вы, великий мыслитель и человек, уж никак не жаждущий войн. Как это сочетается?

— Время было другое — это одно. А второе — такая традиция, что у воина, тем более такого воина, был не просто старший друг, но учитель. Разве учитель может предостеречь от поступков, которые вознамерился совершить человек? Нет, да и сдерживать — не мое прямое занятие. Я могу начертать путь, который ждет человека, подсказать, какие ждут его на этом пути промахи и просчеты, но запретить... Нет, это не мудро. Пусть расшибается, совершает ошибки...

— А в чем же тогда ваша миссия? Разве не в том, чтобы от чего-то предостеречь и уберечь?

— Я не нянька, а он — не младенец. Каждый проходит свой путь. И чем жестче он, тем более выполненной оказывается твоя миссия. Это потом, спустя время человек начинает заниматься самым важным делом, которое только и можно представить: анализом своих ошибок, побед, важных дел. А сначала он более всего что? — сопротивляется. И в этом его сопротивлении тоже заключена определенная сила. Человек и должен не соглашаться, иначе в чем же смысл собственных его поступков?

— А роль учителя? Она тогда какова? Разве лишь в том, что потом, спустя время, человек поймет правоту его, согласится, начнет сожалеть?

— А разве этого мало? Человек размышляет — в этом главная его роль, функция. А ошибки... да как же без них?

— Странно... Я думала, что учитель способен спасти, защитить, уберечь.

— Напрасно. Мы не в школе и не у няньки. Это там от падения следует уберечь. А от жизненных невзгод и неправоты никто и ничто, кроме самого человека, не уберезет. И в этом мудрость жизни.

— А я бы хотела иметь такого вот учителя, который иной раз мог дать совет, сказать, как надо и что надо.

— И сделали бы по-своему, так?

— Может быть и так. Вы знали, что Александр погибнет, да еще так нелепо?

— Все знать невозможно. Но то, что он приблизился к какому-то рубежу, перелому, — это было очевидно. Что-то должно было произойти. Но что конкретно — нет, доподлинно я не знал.

— Но разве вы не могли ему запретить, отсоветовать, в конце концов, не ходить на пирушку к Мидию? Разве вам не известна была его скверная роль во многих делах?

— Вы очень узко понимаете мою задачу. Она вовсе не сводится к роли кнута и хлыста. Можно выстроить коридор намерений, по которому проходит человек. Но говорить: не прикасайся к этой или той стенке и иди так-то и так — я же не колдун и не волшебник. Я — скромный ученый, способный к размышлению. Может быть, к анализу ситуаций, человека в них... Может быть. Я так надеюсь.

— Но в веках остались ваши размышления и о ритмах, и о жанрах искусства, и о небесных светилах. Как о многом вы размышляли, однако!

— А еще я стремился быть полезным Александру, к примеру. Вот, не получилось.

— Но и он, когда мог казнить, иногда отказывался от этого и миловал человека. В нем, помимо жестокости, было и человеколюбие?

— Возможно. Но поменять его характер, его взгляд на вещи было нереально. Да и не нужно. Много было в ваше время правителей, которые тоже имели соратников, друзей, советчиков? Много они их слушали? Да, имели целые полчища гадалок, магов и прочих лиц, но начертать даже день один, следующий в жизни че-

ловека день, — и опасно, и вредно. Зачем? В неизвестности, в неожиданности кроется тоже своя прелесть и красота. Разве не так?

— Наверное. Все знать наперед — жить стало бы скучно.

— Вот и я о том же.

— Однако вы все у меня спрашиваете, будто я и вправду знаю все. А это совсем не так. Я только думаю, размышляю, вот и все. Вся премудрость. А о чем размышляете вы? Нравится вам ваше время?

— Разве можно выбрать время? Да, иногда я играю в такие игры: в каком бы времени хотела бы жить? И знаете, в каждом есть и хорошее, и плохое, или совсем такое, что туда даже заглядывать не хочется. Вот я и думаю, что то, в котором ты живешь, и есть самое правильное. Бесплезно выбирать, все равно туда не попадешь.

— Это как сказать. Вы вот попадаете иной раз в такие переплеты, что видите и что было, и как было.

— Вы и это знаете.

— Да, Ильзе, знаю. И то, что вы неверно называли друга Александра, и делали это сознательно, вероятно, по созвучию своего имени? Так я думаю?

— У нас на работе есть врач, который говорит «Я так вижу». И вы очень похоже.

— Значит, он тоже мудрец.

— А это трудно — быть мудрецом?

— Вовсе нет. Думай себе и делись иногда своими мыслями с другими. И все дела!

— Здорово вы сказали: «И все дела»! Мы тоже так говорим. Вообще, оказывается, ваша речь не так уж и отличается от нашей. Я понимаю вас, вы — меня. Так?

— Конечно. А попить вина вы мне не дадите?

— Ой, конечно, я вас даже не угостила. Вот только вина... Сейчас гляну. Есть шампанское. Осталось после Нового года.

Ильзе вышла на кухню и принялась откупоривать бутылку, взятую из холодильника. Налила в бокал и поднесла мудрецу. Тот удивился очень и спросил, по-

чему она не налила себе. Но она ответила, что во-первых, пьет только в исключительных случаях, а во-вторых... Во-вторых и было главной причиной: бутылка попросту была пуста.

Человек на полу изменил позу, облокотился рукой о диван и сделал глоток. Видно было, что напиток ему понравился. Тогда Ильзе снова поспешила на кухню, чтобы хоть чем-то угостить гостя. Кое-что там все же нашлось. Она вынесла тарелку, поставила перед сидящим и спросила снова.

— А как вас называли друзья? Не величали же постоянно Аристотелем?

— Кто-то звал по имени — Стагиритом, кто-то — просто учитель. Я даже и не помню, так давно это было.

— А сейчас, сейчас вы живете или ненадолго явились, ну, просто в гости?

— Трудно сказать. Знаю одно: смерти нет. Есть просто иные формы жизни. Но навсегда, окончательно человек не исчезает. Принимает другие обличья, трансформируется, хотя у вас это слово ох, как не любят, но... живет! Представляет?! Ни рая, ни прочего нет, он продолжает свое существование. Изменяются формы, само окружение, главным образом — представления о чем-то, но все продолжается. Иначе куда бы делась наша цивилизация?!

— А что же со мной? Отчего выпала такая участь — видеть и наблюдать другие времена как бы со стороны? Это провалы во времени, хотя и с возвращениями, или просто провалы? Может, я просто... того?

— Что значит «того»?

— Ну, крыша поехала.

— Ничего у вас никуда не поехало. Вы слишком придаете большое значение прозаическим вещам. Подумаешь, порталы, провалы? С кем не бывает! Только не все говорят об этом. Нет повода для беспокойства. И из этого можно извлечь нечто такое, что для других закрыто и запретно. Наслаждайтесь такой возможностью, а вы печалитесь. Не годится!

— Я тоже никому не говорю. Наблюдаю. И во время

операций — особенно. Что-то все же с человеком происходит. То ли улетает куда-то, то ли на время изменяется его жизнь. Он сам лежит, остается недвижим, а душа и даже сознание где-то витает. Причем, он это отлично сознает. Ну, то, что его словно разделили.

— Я вот что скажу вам. Сейчас я тоже не только здесь, вино с вами попиваю. Но и в своем ином мире. Там своя жизнь. Некоторым мудрецам, таким, как я, к примеру, которые все думают, думают, иногда предоставляется возможность выхода. Куда? Да куда хотите. Сам выбираешь. Так и захотелось побывать там, где есть женщина, иногда встречающаяся с самим Александром. Узнать, что там за время, как люди живут, что любят, как ненавидят? И знаете, все, как и раньше. Вот только одежд таких не носят, а в остальном... И любовь, и ненависть — все осталось, как и тысячи лет назад. Даже поверить в это трудно.

— Неужели ничего не изменилось?

— Изменилось. Появилось больше запретов. Отсюда — душевнобольные, самоубийцы. У нас такого не было. Свободы было больше. Но и распущенности — тоже. Вот и пойми, что лучше. Вы напридумывали себе границ, я имею в виду не Персию и Месопотамию, а других, внутри себя. И вам стало плохо. Тесно от них. Все очень подчинено правиласм. А у нас правила были более просты: сильный и слабый, господин и слуга, воин и мирный житель, завоеватель и тот, кого поработили. Отсюда работали две линии в основном: да — нет, любовь — ненависть. И еще — правда ... Нет, здесь я сдаюсь. Не знаю, что сказать, что противопоставить. Есть правда, но всегда ли она так пряма и безукоризненна? Отсюда и неправда не может быть абсолютной. Вообще абсолют — вот в чем особенность и разница. Представления о нем у нас разные. У вас можно одно стереть, у нас — другое. И так вечно.

Стагирит помолчал, расправил свои одежды и потом неожиданно предложил: «А сами вы не хотели бы пожить в моем времени?» Ильзе смотрела на старого,

очень старого человека и вдруг подумала, что, к счастью, она ничего не хотела бы менять. Ни во времени, ни в обстоятельствах. Только того, что ее может ожидать с Емельяном. Интересно, знает ли о нем гость? Но спросить не решилась, а тот только хитро смотрел на нее. «Понятно, не хотите. И правильно. Не стоит. Живите там, куда вас поместила природа. Сейчас я уйду, вы напишите еще одно стихотворение, потом пойдете к вашему дорогому человеку, ну, а совсем потом...» — «Говорите». — «Не стоит. Само все произойдет. Только не подвергайте все сомнению без конца. Верьте — это самое спасительное чувство. В вере — неважно в какие блага — лишь бы в людские, очеловеченные, великая сила. Верьте, меньше сомнений».

Он исчез также неожиданно, как и появился, Ильзе проснулась и подумала, что вот теперь, сейчас же ей надо бежать к Емельяну. Однако тут же смекнула, что всего лишь раннее утро за окном и если и бежать куда-то, то — на работу и только. И еще она припомнила сказанное старцем слово о том, что вот теперь, после его ухода она напишет стихи. И они полились сами собой.

**Во искупление души —  
Тихонько, тихо, не дыши,  
Не чередуй напрасно звуки,  
Останься в стороне от муки,  
От придорожной суеты.  
Услышь меня, я здесь. Где ты?  
Пройдись неслышными шагами  
По вдоль ручья. Я здесь, за вами,  
Ничья.  
Ни шороха, ни зги — одни  
Мы пробираемся сквозь дни  
В надежде легкого спасенья.  
Но нету сна и нет везенья,  
И льют без устали дожди.**

**Прошу, меня ты подожди,  
Смотри, как легкий снег кружится,  
Ну, что за вздор: тебе — жениться?  
И Богу тайному молиться,  
И все долу поклониться,  
И не увидеть век мечты?!  
Я здесь еще. А-у, а ты?**

И вдруг ее посетила мысль: а что, если не пойти сегодня в клинику, прогулять, так сказать? И отправиться в магазины, закупить прекрасной одежды? Да, что-то в этом есть!

Она быстро привела себя в порядок, позвонила на работу, спросила, нет ли срочных операций и вообще чего-то срочного, и сославшись на неотложные дела, предупредила, что не придет. Она вышла из дома и... не поверила своим глазам. Куда только все подевалось вместе с королевскими замашками зимы?! Капал дождь, местами становился сильным и это — посреди зимы!

Она вдруг вспомнила, что завтра у Зинки день регистрации. Надо же, чуть не забыла! Вот и все кстати: можно будет что-нибудь купить ей.

Ильзе ехала в метро, потом шла по переходу в известный ей магазин, который посещала редко, но всегда удачно, и думала, что сегодня и ночь, и день совершенно особенные. Такая встреча просто так не случается. Значит, впереди ее не только ждет что-то важное, но и подготовиться к этому следует по всем правилам. Как это ей свойственно: только подумать о чем-то и тут же начать себе же противоречить, возражать, не соглашаться. «Ничего, — подумала она, — в этом что-то есть. Может быть, даже наметки того анализа, о котором говорил ночной гость».

По магазинам она ходила нечасто, но если выпадала такая возможность, погружалась в это с таким восторгом, что на время выпадала из реальности, так захватывал ее процесс выбора, примерок, когда она

представляла себя где-то и с кем-то и по каким-то поводам. Она всегда одевалась не случайно, не абы во что, но непременно со значением и смыслом. Порой вещь выбиралась так быстро и находилась так скоро оправдывающие выбор обстоятельства, что никаких не оставалось сомнений в правильности и необходимости покупки.

Вот и теперь она осмотрелась и сразу направилась к какому-то ряду, где только заметила краешек ткани необыкновенно перламутрового оттенка с зеленью. Она еще не знала, платье это, костюм ли, но уже запала на вещь. Им оказалось платье с необыкновенным подолом, от пояса задрапированным в тон платью более темного цвета кантом. Лиф был очень простым, облегающим, с вырезом чуть скошенным влево. Рукав тоже был достаточно прост, однако не совсем прямым, а с напуском, который был очень модным. Решено: платье она тотчас же отложила и требовалось подобрать мелочи: туфли и сумочку. Нашла она их не сразу, более того, поняла, что в этом месте ничего подходящего нет. Тогда она не стала тратить время и отправилась в следующий магазин, где сразу же заприметила темно-зеленую с переливами сумку, очень подходящую к платью. Дело оставалось за обувью.

Ильзе прошлась по рядам, но ничего нужного не попадалось. И вдруг в каком-то углу она увидела то, что нужно. Она даже приостановилась, так неожиданно было то, что она увидела. Туфли были совсем простые, просто лодочки. Однако и на них с боку было нечто такое, что очень совпадало с драпировкой на платье. Причем, особенностью Ильзе было ее умение составить так весь комплект, что называется, вприкидку, на глаз. Порой она даже не утруждала себя примерками, которые страшно не любила. Более того, ей особенно нравилось идти после таких вояжей домой, нести свои покупки и представлять, как уже в домашних условиях она все это великолепие соединит и встанет перед зеркалом. Проколов у нее в этом плане прак-



тически не бывало. Даже Алексею она умудрялась приобретать вещи, хотя еще в самом начале их отношений он как-то обмолвился, что одежду привык покупать только сам, что угодить ему невозможно. Она уже тогда хитро подумала, что уж здесь она даст ему фору: сумеет купить то, что нужно и в пору. Со временем он даже привык к этой ее роли и уже без всякого сопротивления принимал все, что она приобретала.

Расплатившись, она в приподнятом настроении отправилась восвояси, предвкушая домашние примерки и впечатления. Все так же накрапывал дождь и это было тем более удивительно, что на дворе стоял январь и совсем недавно казалось, что зима будет царствовать вечно и что силы ее и права неисчерпаемы. Она еще подумала, что надо же, наверное, в этом году и день ее рождения тоже пройдет не так, как прежде. Раньше она с удовольствием притаскивала тяжеленные сумки на работу, там и праздновали. Дома этот праздник многие годы традиционно не отмечался. Ходили пару лет с Алексеем в кафе, но все это было так тускло и формально, что никак не запомнилось. Но этот год... Нет, точно, что-то другое, новое должно быть. Непременно!

Конечно, она не могла не думать о Емельяне и даже в метро замедлила шаг, размышляя, что, быть может, стоит свернуть и поехать к нему. Но почему-то слова его о том, что следует придти через день задела, она не хотела проявлять инициативу. И все же, все же так хотелось его повидать и она решилась. Со всеми своими пакетами сделала пересадку, вышла из метро и пошла пешком. Конечно, изрядно промокла, но все-таки добралась до больницы. Когда пришлось уговаривать поставить еще и пакеты, встретила, естественно, сопротивление гардеробщицы. Умилостивила ее, обе остались довольны и Ильзе поднялась на третий этаж. Когда она открыла дверь палаты, то Емельяна не увидела. Не было его и в коридоре, а также на лестнице и в переходах. Она встала у окна, чтобы не пропустить его, простояла так довольно долго, но он все не появлялся. Тогда она решила спросить у соседа по палате. Тот

удивленно посмотрел на нее и сказал, что сосед сегодня с самого утра как ушел. «Как ушел?» — спросила Ильзе. — «Так. Он мне не докладывал». — «Но с ним все в порядке?» Сосед пожал плечами, взял свою книгу и совершенно безучастно сказал: «Я за ним не слежу». Ильзе отправилась к медсестре и та сказала, что больной в порядке и просто отпросился по каким-то важным делам до девяти вечера.

И Ильзе поняла, что не стоит напрягать человека, который еще накануне решил, когда она должна подойти, и отправилась в путь. Он был долгим и мучительным и даже мысль о нарядах не очень согревала, поскольку согреться хотелось в самом прямом смысле: так она измокла и устала. А дождь все расходился и было уже совершенно непонятно, чего в природе больше: откуда-то взявшейся весны или сдающей по неизвестной причине позиции зимы. Все смешалось. Смешалось и в ее голове. «Куда это он мог поехать, отпроситься? Что за тайные дела? И скажет ли завтра, что его заставило уехать?» Она не знала ответа ни на один вопрос, стало неуютно на душе и предстоящее завтрашнее торжество совсем было некстати, так все скукожилось и помрачнело где-то глубоко внутри.

Вымокшая и уставшая, совсем растерянная, она поставила чайник и снова укоризненно подумала, как неправильно она питается и какая она легкомысленная. Кое-что все же нашлось в ее холодильнике и она стала это что-то жевать и запивать бесконечным чаем. После третьей чашки полегчало и она подошла к окну. Надо же, в январе и такой дождь! Стоит написать несколько строчек по этому поводу. Она так и вывела: «Дождь в январе».

Но прежде чем начать писать, посмотрела на елку, которая все еще стояла посередине комнаты и улыбнулась неподдельному восторгу и непониманию Аристотеля, который спросил, что это за дерево и что таких он никогда не видывал. И почему оно растет в доме? Надо же, такой мудрец, а простых вещей не знает. И такое случается.

Январский дождь  
Все перепутал карты,  
Сместил параметры  
Весны, метелей, холодов.  
Январский дождь  
Стучит по дням и датам,  
И кажется, что больше нет врагов.  
И запах струй, скользящих по асфальту,  
Повсюду расточает этот гость,  
Звук в комнате подобен альти,  
А на окне синее винограда гроздь.  
Все спуталось, смешалось, изменило  
Подходы к лету, солнцу, молотье,  
И отчего январский дождь стучит  
по крыше,  
Мне не понять, как, впрочем, и тебе.  
И сладость синей ветки винограда  
Не вяжется с метелью за окном,  
Дождю январскому я, правда, рада,  
Но только пусть оставит на потом  
Свои проказы дерзкие, усмешку,  
Свои нелепые попытки взять реванш  
У осени, которой дождь наклеил метку,  
И у весны, что светит где-то там  
Ах, чудный аромат январского прикола,  
Когда из запотевшей синевы  
И посреди ледового накола  
Вдруг брызжут капли, обрывая синь у мглы.  
Как изумительно нелеп безумный посох  
Тех капель, что скандируют зиму,  
Как непристойно живописен остров  
У памяти помятой, где живу.

Как удивляет вечная тропинка,  
Идущая в сплошных осколках льда.  
Смотрю, упала вдруг снежинка,  
Коснувшись леденеющего лба.  
В раструбах памяти невольно провисает  
Январский дождь-висяк,  
Его не вернуть,  
И даже память брэнная  
Почти не вспоминает  
О тех потерях,  
Что лишь посланы любить.  
О тех немногих днях,  
Где юность бушевала,  
Хотя полжизни прожито уже.  
Вот так же дождь зимой —  
Ну, что тебе сказала?  
И разве виновата я.  
Что ты — не мой?  
Что льют дожди зимой, и в понедельник,  
Что юность спешает в тридцать пять?..  
Я плачу под дождем,  
Уже умылись ели.  
И мокрая тропа зовет меня опять.

Она отложила свой блокнот, повертела ручкой и снова вспомнила недавнюю встречу. На какое-то мгновение ей показалось, что это был вовсе не сон, а все произошло наяву. Как и предыдущие встречи, события, соучастницей или очевидцем которых она невольно явилась. Она спросила своего ночного гостя, откуда он знает, что она пишет стихи. Он усмехнулся и ответил, что ему известно нечто такое в людях, что он и сам рад был бы забыть, не зная. Но вот — знает! И тогда она спросила, что он думает об этом. Он ответил. «Не все мне понятно и не все ладится с тем же ритмом и

рифмой порой, но есть то, почему их хочется слушать. Вы овладели, овладеваете настроением пространства. Не его параметрами и конструкцией, но тем, что не входит в физические данные, но что все же есть в изложении: это музыка и настрой. Он порой говорит больше, нежели самые размеренные и правильные ритмы и рифмы. Так что, пишите себе. Что-то может получиться».

Ильзе собралась на работу и в последний момент вспомнила, что не знает ни времени, ни места, где должно происходить Зинкино торжество. Пришлось звонить, уточнять. Ей сказали, что «роспись» (так и назвали) будет в двенадцать и ехать надо было в Останкино. Это было, к счастью, совсем недалеко от дома Ильзе и она решила, что отправится прямо туда, а пока нечего, мол, лениться и пора готовить обед. Когда она, наконец, собиралась и была готова к такому подвигу, то делала все быстро и с фантазией. Ничего никогда формально не парила, не жарила. Вот и суп стала варить, исходя не только из основного продукта, но припомнила, что у нее есть огурчики и перловка, а также кусочек корейки. И получился отменный рассольник. Она не всегда охотно ела собственноручно приготовленные блюда, но тут отведала и порадовалась: все-таки что-то может, не только наркоз давать. Пора, — подбодрила она себя, — пора, скоро такие разносолы придется запотраивать. Надо же, хозяйкой неизвестно, в каких краях будет! Ага, — поймала она себя, — значит, уже решила что ли? Неужели все сможет бросить и... Ой, страшно!

Ехала на трамвае и в который раз убеждалась в том, что ее район самый лучший. А уж когда увидела пруды и церковь, и вовсе обрадовалась. Действительно, особое это место в городе, столько с ним связано и легенд, и небывлиц. Кто считает, что башню на приличном, намоленном месте не поставили бы, кто — наоборот. Но то, что не самое замечательно это место хотя бы одному его названию — точно. Остатки чего-то, кого-

то. Разве радостно может тут быть, да еще и работать? Все-таки замечательно, что ее дом не рядом, не по соседству. Нехорошая слава этих мест с ее-то воображением не то, что в Грецию, — куда угодно завела бы.

Вся их команда была в сборе, кроме дяди Кости. Сказали, что он неважно в последнее время себя чувствует. Ильзе устыдилась: в эти дни все собственными проблемами больше занята, да погружениями в иные миры, встречами с героями, о которых скажи кому — точно, определили бы в спецклинику.

Зинка была нарядная и все держалась за свой живот, который был замечен уже всем. Вся процедура «расписки» прошла достаточно формально и не стоило бы о ней и вспоминать, если бы не маленький инцидент, внесший некоторое разнообразие в церемонию. Жених забыл паспорт, вышла заминка и пришлось ехать за документом. За время вынужденного перерыва Ильзе подошла к Зинке, обняла ее и сказала, что у нее непременно родится прекрасный ребенок.

— Кто, кто? — тут же заверещала Зинка.

— А что, есть разница? — спросила хитро Ильзе.

— Да вот, он все пацана желает. А сам... Опозорил только с этим паспортом.

— А сама что же не проверила?

— Да что я? Мы сегодня как порядочные, порознь ночевали.

— А далеко он живет?

— Слава Богу, — нет, рядом. Поэтому и ЗАГС этот.

— А венчаться будете?

— А как же? Но надо по правилам, через три месяца.

— Правила мы сами и устанавливаем.

— И нарушаем.

— Это точно. Зин, а ты его любишь? Ну, вот так, чтобы на всю работу и Москву плюнуть и уехать куда глаза глядят?

— Это вы загнули. Уехать... Везде нынче тяжело жить. А в больнице все-таки выжить можно: и покормят, и с собой еще дадут.

— Да-а. Где гулять-то будете?

— А что, вы нашу открытку не получили? Это я уже забыла. Сейчас дам. — В центре, — сказала она с гордостью. — В ресторане на Чистых прудах. Там и церковь уже присмотрели, нравится она нам.

— Понятно, Ну, я за тебя рада.

— Я за себя тоже. Вон, бежит, окаянный. Вся трясусь. Думаете, так просто было этой дорогой его повести? Не каждый в петлю лезть хочет, и он — все сопротивлялся, самостоятельного из себя строил. А у меня — вон, самостоятельность из всех щелей лезет. Стыдно.

— И как же он решился?

— Как, как? Хитрость я знаю, вот и пригодилась.

— Приворожила что ли?

— Ну, скажете, — обиделась Зинка. — Он от меня без ума по ночам. Это и решило дело.

Ильзе еще побывала некоторое время, посмотрела на всю публику, собравшуюся в ЗАГСе и потихоньку вышла. Она медленно шла до остановки и странное чувство накрывало ее словно снежной пеленой. Вот, идет она, симпатичная молодая еще женщина, даже и заглядываются на нее, и работа у нее, и открытие, и способности, и дом, и... мужчина, а вот уверенности, что все она делает правильно, — нет. Словно капает что-то над ее головой, вроде того дождя, который зарядил на несколько дней посреди зимы.

Она добралась до метро и отправилась в больницу. Сердце почему-то стучало особенно сильно, когда она поднималась на третий этаж, и она снова, в который уже раз подумала, что, наверное, судьба посылает ей испытание в виде и этой встречи, и такого необычного человека.

Человек сидел на кровати и читал. Рядом лежала тетрадь, в которую он тут же заносил свои пометки. Она сначала остановилась, потом осмелела и подошла.

— Вот вы какая, — произнес Емельян, с нескрываемым интересом рассматривая наряд Ильзе.

— Да, сегодня торжество на работе было, санитарочка замуж выходила.

— Замуж — это хорошо, это даже здорово. Как вы считаете?

— Я? Не знаю.

— Да что с вами: не знаю. Надо, поймите, надо знать.

— Когда соберусь, тогда и буду знать.

— А вы не тяните, начинайте собираться.

— Странно у вас предложение звучит. Если, конечно, я не ошибаюсь.

— Не ошибаетесь. Это — предложение. Да я его еще в тот вечер, накануне Нового года уже сделал. Просто лишние церемонии не по мне.

— А по мне — они совсем не лишние.

— Согласен, извините. Так я исправлюсь. Выходите замуж за меня, прошу вас.

— А вы все хорошо обдумали?

— Да что тут думать? Я день и ночь только о вас и думаю.

— А как вы себя чувствуете?

— Чувствую, что еще немного и я вас съем, понятно?

Ильзе засмеялась, так ей стало легко и хорошо, да и соседа не было, что она подседа поближе к Емельяну и сказала:

— Долго вам тут еще быть? Что говорят?

— Через пару дней выхожу. Я же планов своих не нарушаю. И вам не советую.

— Ой, боюсь, заведете вы меня куда-то... Знать бы, куда?

— А вы знаете, я же не скрываю. Да что вы там раздумываете? Все будет хорошо, я точно знаю, верьте мне.

— Я, кажется, уже верю вам.

— Мы, наверное, не скоро на «ты» перейдем, как вы считаете?

— Наверное. Да это и неважно.

— Вы сегодня особенно красивая. И пахнете почти весной.

— А как пахнет весна?

— Наверное... Наверное, дождем. Идущим дождем. Как вот в эти дни.

— Да, точно. А зима, Зинка наша говорит, пахнет малиной. Но она беременная, поэтому ей так кажется.

— Ничего, будет и у нас свой запах малины. Я верю.

— Вы странный.

— Да чем я вам странный? Нормальный я.

— Вы — хороший, я в людях не ошибаюсь. Или почти не ошибаюсь. Я их со всеми их подтекстами и подводными течениями вижу.

— И какой я, по-вашему?

— Вы? Неожиданный и в то же время — как кремень: сильный, неотступный и можете так в себя уйти, закопаться просто. Вам этого позволять не стоит.

— И как вы станете меня от этого зла уберечь?

— Как? Да очень просто: собой. Вас просто предавать нельзя. Вы как ребенок: чуть что и обидеться можете.

— Не обидите?

— Ни за что.

— Идите. Спасибо. Мне так много надо обдумать, вы так много сказали, что — не сердитесь, гуляйте, дышите, пейте воздух, пусть он и из дождя.

Ильзе закрыла дверь, постояла некоторое время у двери и, вздохнув полной грудью, стала спускаться по лестнице. «Он точно необычный. И — хороший! Смотрел так особенно. Господи, как все будет?»

На улице она на мгновение подумала, что, может, пойти на свадебное торжество? Однако мысль эта тут же испарилась, поскольку даже этот невинный акт она внутри себя расценила как предательство по отношению к лежащему в больнице Емельяну. Ну, если и не так драматично, но что-то несимпатичное в этом есть. Или точнее — было бы. Нет, она отправится домой и даже не зайдет в лес. С лесом пока, всего лишь пока — завязано. Пусть пройдет время. Может быть, в ее последующей жизни его будет столько, что она успеет всласть им надышаться.

А дома ее ждал сюрприз. В почтовом ящике лежало письмо, в котором сообщалось, что ее заявка на участие в конференции, которую она подавала индиви-

дуально, частно, так сказать, а не от учреждения, удовлетворена. И тезисы, что она послала, будут опубликованы. Значит, в феврале она должна будет поехать в Финляндию. Господи, и хорошо, и... Как это все делается? Ладно, время еще есть. Разберемся. А еще месяца два назад она очень, очень радовалась бы такому ответу. Что ж, прав Стагирит Аристотель: ничего невозможно предугадать, каждый миг жизни преподносит все новые и — главное — неожиданные повороты.

Блюз вел себя замечательно: был покладист и весьма любезен. Даже долгое отсутствие хозяйки воспринял стойчески, не вредничал и не отворачивался, как это на него иной раз нападало, когда он хотел продемонстрировать обиду.

Что ж, оставалось ждать. Прошел день, наступил следующий и вечером, когда после работы она заехала домой и собиралась в больницу на улицу Вавилова, раздался звонок в дверь. Она, по обыкновению, забыла заглянуть в глазок и распахнула ее. На пороге стояла Емельян. Она сделала резкое движение в желании обнять его, но в последний момент отступила. Как же все непросто, оказывается. Никогда еще она не проходила такой целомудренной школы отношений двух людей. Двух, которые, как выяснилось, все больше дорожили друг другом.

Мужчина стоял на пороге, держа какой-то сверток и цветы. Зимние, всегда прекрасные хризантемы, которые она любила больше всех. Желто-оранжевые, колючие, как бывала она сама подчас, они так и сверкали в руках Емельяна. Он сразу же сказал, что не будет рассиживаться, так как у него нет времени. В комнате он почему-то подошел к елке, которая безбожно осыпалась и становилась все менее привлекательной и дотронулся до нее. Иголочки снова трепетно взметнулись и осели на полу. Да, пора ее было выносить, это ясно.

Емельян все еще стоял и было видно, что что-то его смущает, не дает возможности раскрепоститься, растаять, как снег, давно превратившийся в дождь.



И наконец он сказал.

— Ильзе, остался день. Я бы хотел, чтобы у вас не было сомнений, ну, совсем не было. Ни в моих намерениях, ни в чем. Поедьте в ЗАГС. Прямо сейчас. У меня есть друг, он обо всем договорился.

— Вот вы какой предприимчивый. Уже ведь вечер.

— Да, но не столь поздний, чтобы не успеть совершить это действие. Все то, что не требует формальностей, мы отметим не здесь, не в городе, а уже на месте. Там место святое.

— Вы меня хватаете, как центральный нападающий. Какой-то захват, в самом деле. Я не знаю, я просто в растерянности.

— Прошу вас, наденьте вчерашнее платье и поедем. У нас есть полтора часа. Даже чуть больше.

— Что, прямо сейчас?

— Конечно. Потому что завтра ехать.

— Но... но моя работа и все...

— Это вы от неловкости. Все ведь решено. Ничего страшного. Не будем терять время.

— А, может быть, завтра утром?

— Утром мы будем в дороге.

— Хорошо, тогда скажите, почему такие сроки? Что они означают? Разве нельзя отложить на месяц-другой?

— Нет. У меня много обязанностей. Книга — я говорил вам о ней. Но есть и другое. Мы ведь должны будем на что-то жить. Там есть храм, а я, как вы знаете, музыкант. Буду заниматься церковным хором. Он там замечательный. Не по наслышке вам говорю. И меня там ждут, сроки давно оговорены. Я не привык подводить. И вам нужно осваиваться. Поедьте.

Ильзе посмотрела на свою елку, еще раз подумала, что ее сегодня необходимо вынести и подошла к шкафу. Емельян вышел на кухню и оттуда сказал, что мог бы дождаться ее на улице, но надежнее будет спуститься вместе.

Она действительно надела вчерашнее платье, успела подумать, не во вчерашний ли ЗАГС они попадут и

позвала его в комнату. Он только смотрел, не говоря ни слова. Затем подошел, взял за обе руки и сказал:

— Не бойтесь. Это только кажется, что страшно и что я — захватчик. Вы до приезда туда должны почувствовать что-то другое, новое. Для этого надо ехать. Потом осознаете.

Они вышли, она огляделась, не понимая, на чем они отправятся и очень удивилась, когда он подвел ее к своей машине, прекрасной темно-синей машине, марки которой она не знала, но понимала, что такая машина проедет и по ухабам и колдобинам и что выбор ее не случаен. И еще она подумала, что он, Емельян, действительно подготовился основательно, коль и жилье продал и машина такая крутая у него. Он распахнул дверцу, она села и только в эту минуту подумала, какое важное сегодня число. Ехать с такой миссией в рождественские дни — дорогого стоит.

Боже мой, какие только совпадения нам не преподносит жизнь! ЗАГС был действительно ее, останкинский, и ехать пришлось совсем недолго. Он спросил, не забыла ли она паспорт, она кивнула и дальше ехали молча. У ступенек их поджидало двое мужчин, замечательно одетых, ухоженных, настроенных доброжелательно, но и решительно одновременно. Познакомились, он назвал своих друзей — Игорь и Станислав — и вошли в здание. Ильзе выполняла все действия, находясь словно под гипнозом. Однако это был не сон, она это точно знала хотя бы по тому, что вскоре у нее забрали ее паспорт, велели обождать, затем ввели в зал, в котором она была только накануне и тут она, наконец, очнулась. Страха, нерешительности не было, она даже подумала, что не примени к ней такие необычные меры, век бы еще сидела, раздумывая о жизни и писала свои стихи. Настала минута, когда был задан тот самый, главный вопрос и она смутилась. Возникла пауза, молчание стало угрожающим и помог Емельян. Он пошутил и сказал, что готов отвечать за них обоих, что невеста волнуется, что, впрочем, понятно. И тут она неожиданно для себя, да и для окружающих, навер-

ное, произнесла это зовущее «да» и в то же мгновение что-то тяжелое сползло с плеч, освободило грудь и уже не было мыслей, самого волнения, не было ничего такого, что могло смущать. Вот сейчас, сию секунду, произнося это «да», она стала кем-то другим. Новым человеком, как он и предупреждал. И тут она снова услышала, что необходимо обменяться кольцами. «Но кольцо-то откуда возьмется?» — скользнула мысль, а он уже надевал обручальное колечко на ее палец. Они ставили свои росписи, пожимали руки двум его друзьям, и тут она подумала, что они так и не прикоснулись еще друг к другу. И что это даже хорошо, иначе она просто не вынесла бы. Напряжения, неожиданного вторжения, самого события, церемонии. Она четко слышала поздравления той же, вчерашней женщины и вдруг подумала, что не сказала ничего о фамилии. И Емельян, словно прочтя ее мысли, засмеялся, взял ее за руку и тихо сказал, что поздравляет ее вдвойне, потому что она теперь — Обручева. Боже мой, даже здесь он взял решение вопроса на себя! Не спорить же теперь. Да и фамилия у него ничего себе, хорошая. Обженили! Взяли и обженили! Но вот ведь что — она и не думала сопротивляться, отказываться. Могла бы, в конце концов, запротестовать, уклониться. Нет же! Нет! Стало быть, дело сделано и назад пути нет.

Вышли из помещения, огляделись и снова сели в машину. Мужчины, еще раз поздравив и заверив, что непременно увидятся и весьма скоро, — в свою, только что женившиеся — в свою.

«Интересно, — подумала Ильзе, — а когда мы перейдем на «ты»? И как здорово, что он не наступает, не торопит». Емельян, сидя рядом и заводя машину, спросил:

— Вы разрешите ненадолго заехать к вам? А торжество, уверяю вас, еще у нас будет. Я не тороплю, да сегодня вам самой было бы не вполне комфортно слушать торжественные напутствия.

— Это точно. Конечно заедемте. Ведь мне все равно надо домой.

— Вот и замечательно.

Ехали молча, Ильзе смотрела в окно и думала, что зима снова наступает и что слякоть и дожди последних дней отступили, снова поклонившись зиме, сочтя, что только она — истинная хозяйка в эту пору.

Ей нравилось, как Емельян ведет машину, как он ловко разворачивается, маневрирует, как скор в реакциях. А она иногда позволяла себе прокатиться на такси, если ехала с работы и была уставшей и могла отличить хорошего водителя от плохого.

У дома они поставили машину, он снова извлек свой сверток и сумку и поднялись к ней на этаж. В квартире он прошел на кухню, вытащил из сумки приготовленные вино, продукты, ягоды даже воду. А сверток все еще оставался нетронутым. И только когда он все подготовил, разлил вино и поднял бокалы, она, наконец, осознала, что находится дома, что рядом с ней человек, который час назад стал ее мужем и что жизнь и вправду только начинается.

Держа бокал он сказал, что сейчас только начало и что впереди — целая жизнь и к ней нужно подготовиться. Да и просто начать жить. Хорошо, полноценно. Они чокнулись, выпили и он сказал, что непременно сегодня следует выбросить елку, так как завтра ей будет некогда. Он ловко собрал игрушки, попросив коробку, сложил их, аккуратно вынес деревце, а она успела прибрать на полу все, что осталось после него. И поняла, что иголки придется собирать еще долго. Хотя, когда теперь?

Вернувшись, Емельян взял свой сверток и протянул его Ильзе. «Это вам». Она не сразу решилась развернуть, подержала, словно прислушиваясь, что там внутри и он подбодрил ее: «Смелее, не бойтесь, там ничего страшного». Она развернула пакет и увидела...

Там лежал необыкновенной расцветки палантин: багровая зелень с вишней и книга. Толстенная, в жестком элегантном переплете. Когда она посмотрела на надпись, чуть не задохнулась: на тесной обложке золотыми буквами было выведено — АРИСТОТЕЛЬ.

Такого не могло быть. Ну, просто не могло и все. И как этот человек, ставший неожиданно ее мужем, мог знать о ней нечто такое, что сподвигло его преподнести именно такую книгу? Как это все происходит, почему? С чем связано?

Первое название, которое она увидела, начав листать том, было «Поэтика». Она знала это произведение и подумала, что в немалой степени ее вкусы как-то прихотливо сочетаются с пристрастиями Емельяна: у того тоже интерес к гармонии ритма, числа и пространства так велик, что пишет об этом книгу, сам ведь говорил. Что пойдет вслед за Аристотелем. Надо же!

Она смотрела то на него, то на книгу, и всё же спросила: «Откуда вы могли знать? Ну, про него?» — «А что, собственно? Что я должен был знать? Вы пишете стихи, стало быть, о размере нужно читать не наших благословенных критиков, а мудрецов. И лучше, и значительнее, и глубже этого автора не сказано еще никем. Вот и вся правда. Разве не так?» — «Наверное».

Она развернула палантин и ее некстати кольнула мысль: «А вот Алексей никогда ничего не дарил. Здесь же» ... Она не стала продолжать, потому что осмыслить сразу и все, что произошло, было нереально.

— Вот и оставайтесь, вам еще собраться нужно. А я, я поеду, пожалуй. У меня тоже дел немало.

— Как вы себя чувствуете?

— В свете только что произошедшего события — вполне неплохо. Даже можно сказать — замечательно. А у вас как настроение?

— Так много всего, прямо не знаю, я просто ошарашена.

— Но ведь хорошо ошарашены. Ничего, все обдумается, времени — вагон. Лес у вас будет, практика — обещаю. Не устали жить на эскалаторе?

— Есть такой момент, надоело. Лица, устаю от их угрюмости, нежелания замечать радостные знаки, звуки. Все — мимо. Становишься невольным роботом. На днях особенно это заметила, когда оторвалась от рабо-

ты и поехала по городу. Едут роботы, с никаким выражением лица.

— Все-все, успеем договорить. А сейчас, сейчас до свидания. До утра. Отдохните, выспитесь. Пока, моя ... моя зеленая мечта.

Он вышел, Ильзе осталась посреди комнаты, не в силах унять волнение, которое, кажется, заполнило все ее существо, поднялось ближе к горлу и сил мочать не было никаких. Она выскочила на балкон и во весь голос закричала: «А-а-а-а...» Раскинув руки, несмотря на холод и вернувшуюся зиму, она выпевала это «а» с восторгом и захлебываясь от счастья. Вот она, оказывается, жизнь, в которой есть все: полнота, гармония, и это все возможно! Возможно, а совсем недавно казалось, что только обыденность и заведенный порядок определяют смысл и содержание жизни. Нет, есть, оказывается, такие ее проявления, что меняют сложившиеся стереотипы, валят навзничь приоритеты, постепенно выводя другую мелодию, нежную и восторженную одновременно.

**В органном зале  
Звучал хорал,  
Орган упрямо  
Сплетал и ткал  
Из пряных всхлипов,  
Где неба синь,  
Лавину звуков,  
Где холод, стынь.  
Единство света  
И мощь огня  
Пронзали холод  
И жгли меня.  
Венчались тайно,  
На склоне дня,  
Огонь и стужа,  
Там не был я.**

**Однако слышал,  
Как пел в ночи  
Безумный голос,  
Он плыл в тиши,  
И, неподвластный  
Стихии дня,  
Легко и властно  
Пронзал меня.  
То пел не голос,  
То пел орган,  
Взлетал на клирос  
Почти что пьян,  
И дивный, мощный,  
В избытке сил,  
Он пел упрямо.  
И из могил  
Сквозь бури натиск  
И бурелом  
Почти невнятен  
Был слышен стон.  
В живую плоскость,  
До дна земли  
Светло и прямо  
Те звуки жгли.  
На грани смерти  
И бытия  
Парила песня,  
Вся из огня.**

Ночь она проспала без единого сна, без сомнений и ни разу не проснулась. С утра собрала необходимое, самое нужное на первое время и тут вспомнила — ужас! — что что-то надо делать с работой. И подумала, что

хорошо бы заехать и сразу подать заявление об уходе. Будет, конечно, шум, но что поделаешь!

Она уже не размышляла, правильно или нет, разумно или нет поступает, а спокойно и деловито собиралась в дорогу.

Звонок раздался в десять утра и она пошла встречать своего мужа. Нет, невозможно все-таки было поверить в то, что за ней приехал ее нынешний, настоящий муж! А, тем не менее, это было именно так. Он спросил: «Готовы ли, как спали, как вообще вы?» — и стал выносить ее сумки. Их было всего две, третью она держала сама. Он поднял и третью и тогда она нагнулась и прижала к себе Блюза. Он понимающе кивнул и сказал, что самое то, чтобы в новое жилище впустить кошку. «Неважно, что кот».

— Мне бы заехать на работу...

— Да, я понял. Это нужно. Заедем.

— А вы как? Что вы делали?

Он засмеялся и сказал, что лег в четыре, так как собирал оставшиеся вещи, поскольку основное было готово еще до Нового года.

Когда она поднималась к себе в отделение, то ясно понимала, что не сдастся. И первый, кого она увидела, был дядя Костя. Он удивленно посмотрел на нее и сказал свое знаменитое: «Я так вижу!» А потом добавил, что давненько не встречался со своей дорогой ученицей.

— Константин Эдуардович, думала, увижу вас на бракосочетании Зины, но, говорят, вы хворали...

— Да, было неважно, теперь лучше. Сегодня, к счастью, операций нет. Я так думаю. Пока нет. Вы куда-то — у меня такое подозрение — стали испаряться. Все больше на наркозе ваша подопечная Нина Ивановна. Где вы? Что с вами?

— Сейчас скажу. Духу наберусь. А вы прозорливый.

— Еще бы! Столько сердец и печенок в моих руках побывало. Так что стряслось?

— Дядя Костя, я нечаянно вышла замуж. И собираюсь уехать, покинуть вас.

— Так, понятно. И как скоро?  
— Вы меня не убьете?  
— Говорите, я подумаю.  
— Милый, Константин Эдуардович, я так счастлива. И не думала, что такое еще возможно. А как скоро? — сегодня, сейчас.

— Ну и ну! В вас я этого почему-то не видел. Или не хотел такого чертенка видеть. Наверное. Говорите, сейчас?

— Да. Так случилось.

— Бумага при вас?

— Да.

Он хмыкнул и сделал свой знаменитый жест рукой: мол, что с вас возьмешь?!

— Давайте сюда.

— Здесь причина не указана.

— Я понимаю.

Он вынул из кармана халата ручку, чуть помедлил и ... подписал заявление Ильзе об уходе со своей работы, где она трудилась десять лет, успела защитить диссертацию и стать ведущим специалистом.

— Простите меня, но все так стремительно...

— Понимаю.

— Ну, дядя Костя, не сердитесь, дайте, обниму вас.

И она крепко обняла своего коллегу, учителя, поцеловала его и добавила, что никогда не забудет. «Ничего, ничего я не забуду. Спасибо вам. За все, за все. Можно, я теперь пойду?» — «Где вы теперь будете? Где вас искать?» — «Меня не надо искать, я сама объявлюсь. Я уезжаю. Далеко, наверное, сама толком ничего не знаю. Спасибо».

И она быстро пошла по коридору, желая только одного: никого больше не встретить, ни с кем не столкнуться. Понимала, что все это похоже на бегство, но что поделаешь, она уже не могла влиять на ситуацию.

И вдруг ее окликнули. Она оглянулась и увидела быстро шагающего дядю Костю. Он догнал её, взял за руку, отдышался и сказал: «Желаю вам счастья. Толь-

ко потом, когда успокоитесь, зайдите, поговорим, хоть расскажете». Она порывисто обняла его, прижалась к его бороде и ... заплакала. «Конечно, я обязательно приеду. Пока. Берегите себя».

Внизу она еще раз оглянулась на здание, на свой подъезд и подошла к машине. Емельян стоял неподалеку, подошел, открыл дверцу и, ничего не спрашивая, завел мотор.

Из Москвы добирались более часа, затем ехали по шоссе, потом ушли куда-то вбок, и наконец дорога стала совсем неухоженной, с рытвинами и колдобинами. Лес обступал со всех сторон и было件нятно, что началась такая глухомань, что ни о каких шоссе́йных трассах речи и быть не могло. Но... но страх не приходил. Был, напротив, восторг ожидания. Она оглядывала все вокруг, рассматривая через окно местность и поводя головой в разные стороны и поняла, что они уже очень далеко от города. Она решила не спрашивать, по какой дороге едут, сколько еще километров и т.д. Хотелось увидеть и понять все самой. И она терпеливо ждала. Блюз всю дорогу выдержал достойно, не метался и не особенно мяукал, так, иногда только, когда особенно трясло.

— Так, значит, скоро ваш день рождения?

— А разве я говорила?

— Наверное. Но число не назвали. А между тем, число — вещь важная и даже многое объясняющая в характере человека, в его жизни. В пристрастиях. Так какое число?

— И вы все скажете обо мне?

— Я и без числа основное, мне кажется, в вас понял.

— Двадцать пятое.

— Совсем скоро. Хорошо. Значит, семь. Это и радуга, там семь цветов, а это многое говорит о вселенской гармонии. Это число организует микро — и макрокосмос. Вообще-то — это магическое число. Они, числа, вещи, несомненно, ритуальные. Ваше — это семеричный принцип организации этого самого космоса, и каж-



дое — таит, содержит в себе какие-то структуры Мира. Для древних особенности числа имели такое особенное значение, что под них подверстывали войны и сражения, браки и рождение детей.

— Так вы об этом пишете?

— Это малая часть того, о чем я пишу. Там и миф, и отношение к нему у разных народов, и смысл чисел, и их предназначение, и то, как все это соотносится с музыкой высоких сфер, ритмами, с пространством и временем. Там и математика, конечно, без нее никак.

— Но вы же музыкант, какая математика?

— Видите ли, до консерватории я закончил спецшколу с математическим уклоном, а параллельно учился и в музыкальной. Некогда было ерундой заниматься. Потом знание о музыке и числах как-то соединилось и стало почти единым. Вот, пытаюсь найти логическое объяснение тому, что не вписывается в логический ряд. Но объяснение есть, должно быть. Иначе как быть с мирозданием и представлениями о нем. Нет ведь единой точки зрения. Есть мифы и в них больше, пожалуй, правды, нежели в самых строгих математических расчетах.

— Вы будете петь в хоре и писать о мироздании?

— И петь, и — главное — вести этот хор, что-то вроде руководства. А писать — что ж, без этого нельзя. Я всегда писал.

— И у вас есть статьи или...

— Да, есть книга, небольшая, но уже есть. А статей — тоже хватает.

— А почему вы не защищаетесь?

Он засмеялся: «От кого? Все это не столь важно. Я вообще против формальностей, против всего формального».

— Я успела это заметить.

— А вот теперь замечайте другое: мы подъезжаем. Вслушайтесь в эту тишину.

Ильзе вышла из машины, взяла на руки кота и установилась, как вкопанная. Перед ней стоял не просто хороший, не просто замечательный, но совершенно пре-

красный двухэтажный дом. Не коттедж на манер современных построек, но деревянный добротный дом, даже подумать о котором она не могла. Предполагала увидеть если уж не полуразрушенное нечто, то во всяком случае — ветхое и недорогое. А здесь — здесь было все иначе. Она и представить не могла такой красоты. И лес, плотный, мощный, и никого вокруг, и дом! Может, соседи и были где-то, но рядом она не видела, никаких построек. Она стояла и так и не двигалась, пока ее не позвал Емельян и не взял под руку. Она все еще осматривалась и не спешила войти внутрь, уже догадываясь, уже понимая, что там тоже должно быть очень неплохо.

Блюза, как и полагается, выпустили первым, затем шагнули сами. Большой холл первого этажа был хорош. Он примыкал к кухне и плавно перетекал в гостиную. Создавалось настроение все увеличивающегося пространства, которое таило новые и новые неожиданности и сюрпризы: ты только начинал понимать, что все, дальше ничего уже нет, а тут снова выросла какая-то комната, поворот и становилось понятно, что такую организацию сочиняли и создавали намеренно: это было перетекание и ощущение бесконечности и стабильности домашнего очага. В середине какого-нибудь следующего помещения вдруг появлялось нечто, напоминающее большой декорированный дуб или странную стену, которая и разграничивала пространство, и вместе с тем создавала его объем. Такое решение было тем более необычным, что с виду никаких выкрутасов и странностей, загадок дом не таил. Может, ей это так показалось? Ничего, у нее еще много времени будет на внимательное изучение этого жилища.

Стен в обычном понимании этого слова, которые отделяли бы одно помещение от другого, действительно не было. И анфиладой такую планировку тоже не назовешь. Вот, что значит особенность профессии: то, чем занимается Емельян, нашло прямое отражение в этой постройке и решении. Он стремится создать труд

о гармонии, а что это, как не сочетание частей, образующих целое! Вот и здесь она увидела именно такой, гармоничный подход к объединению разрозненных частей и отдельных фрагментов, соединены которые одним связующим целым. Становилось понятно, что хозяин хотел сказать таким видением: ничего не может быть разъединено и отсечено, если есть цельность одного общего замысла. Более того, она вдруг уловила еще одну мысль: ей показалось, что дом не строился, а так и стоял, сотворенный самой природой. Так бывает, когда слушаешь прекрасную музыку: она вызывает такое чувство, будто ее вообще никто не сочинял, а она такой и была, подаренная свыше. Такое же чувство вызывает филигранная техника танца, соединенная с чувственным, одухотворенным исполнением: кажется, что ты тоже можешь встать на пуанты и ... затанцевать. Словом, это относится не к какому-то одному виду искусства, такова его особенность вообще: истинное, оно и вызывает трепет и восхищение, но еще сопровождается сознанием, чувством того, что и ты, и сама природа причастны к акту искусства, что оно существовало всегда и специально никем не создавалось. В этом и состоит особая, великая его тайна: легкости и даже беспечности. И тогда, следом уже приходит другая мысль: неужели такое возможно, по силам конкретному, реальному человеку? И что это, если не деяние могущественных сил природы, не ниспосланный кем-то свыше подарок ее?

Емельян был очень естественным: он никак не изображал из себя хозяина, а также не воздвигал между ними искусственную стену. Напротив, все складывалось органично и не требовало усилий. И она уже без видимого удивления приняла его сообщение о том, где расположена ее комната, где другие помещения. Но главное — где ее. Она находилась вовсе не рядом с его, и это тоже не наводило на мысли о сплетенных гостиничных номерах, когда ночные поползновения — вещь само собой разумеющаяся. Нет, здесь все вып-

лядело серьезно, спокойно и обстоятельно. Становилось очевидным, что он не только понял ее настрой и нежелание быстрого сближения, но и сам еще не все осознал, и ему тоже требовалось время. Время на чувство, на любовь, на понимание и привыкание.

И за это Ильзе была бесконечно благодарна ему, судьбе, тому лесному случаю, что свел их. Она так устала от полуживых и отчасти агрессивных отношений с Алексеем, что с Емельяном ей все более и более становилось комфортно. Она все чаще вспоминала слова женщин, которые как очевидную заслугу в мужчине выделяли его умение защищать. И хотеть этого, и уметь это. Вот такое же чувство защищенности она постепенно начинала испытывать к своему мужу.

Она часто вспоминала маму, которой не стало четыре года назад. Многому научила она, это естественно. Но порой она рассказывала нечто такое, отчего потом, спустя время мурашки бежали: так точно все сбывалось и так провидчески она говорила о чем-то. И о мужчинах — тоже. Ильзе навсегда запомнила рассказ ее, еще тогда в Азии, в юности, когда мама поделилась с ней своей печалью об отце: что были и такие времена, когда она ждала до полночи его прихода и что это было очень горько. И еще она говорила, что надо уметь терпеть и перетерпеть что-то. А если сил нет, то уходить. Без слез и причитаний, — сразу и бесповоротно.

Интересно, он действительно верный? И была ли в его жизни сильная, безмерно сильная любовь? Когда-нибудь он расскажет об этом, наверное? Но выпрашивать сама она не станет ничего.

Пока он разгружал машину и готовил стол, она все рассматривала дом и думала, кто это его сочинил? Были ли это план Емельяна или он уже приобрел его таким? Она подключилась к приготовлению обеда и делала все охотно, резво. Когда, наконец, был сварен борщ, поджарено мясо, налиты вино в бокалы, он сказал, что ему на некоторое время необходимо уехать после обе-

да, а она должна отдыхать и осваиваться. Сказал, что дворовые постройки тоже покажет, их немало и что домашней работы хоть и много, но, как видно, коров и коз здесь нет, а что потом — видно будет.

Он сам, понимая, что у нее есть вопросы, стал рассказывать о доме. Так вышло, что строил действительно не он, а его друг, которому он, Емельян, и предложил свой проект перетекающего пространства. Потом друг решил на отъезд к близким в Америку и дом так и стал обживать. В нем еще вообще никто не жил. И тогда Емельян продал квартиру в Москве, сохранил комнату, так, на всякий случай, для каких-нибудь льгот в будущем, и купил этот дом. Причем, очень недорого, так, что и на комнату хватило, и на жизнь.

— Но почему монастырь? Что вас заставило так решать вашу судьбу?

— А это на тот период было единственно возможным выходом. Дом и все остальное сложились вот теперь только, буквально за месяц. Но видите, какой я хитрый: уже узнав вас, начав думать о вас, я решил на такие преобразования. Вы были моим побудителем, источником сил и энергии.

— Есть энергия заблуждения.

— Я знаю. Но это — не про меня.

— Откуда вы знаете?

— Я кое-что важное знаю о гармонии, а она не подводит. Вы вписываетесь в мою теорию, в мою жизнь, наконец. Не уверен, так же, как я в вашу. Но я не तोплю, не отвечайте пока.

А в монастыре тоже было хорошо, какое-то вдохновение души. Там вроде все и так, как нам представляется из нашей светской жизни: углубленность, отрешенность, полная гармония всех людей со всеми сразу, и в то же время — все не так. По крайней мере, такой идиллической картины нет вовсе. Люди живут, веруют, конечно, но тоже — со своими проблемами, неурядицами, ограничениями. И — конфликтами! Как без этого? У кого с кем — с самим собой, с окружаю-

щими, с верой, наконец. Не все и просто уживаются. Есть и сварливые, и неуступчивые. Но по большому счету — они хорошие уже по тому хотя бы, что сознательно отрешились от мирских благ, пошли другим путем. Просто поверили до такой степени, что иной жизни, как в полной отреченности от мирского, отказе от благ цивилизации и не видели свою жизнь. Не представляли.

— А вы? Как же вы?

— Я тоже пошел, и тоже — по вере, а не просто сбежал от чего-то. Но шли месяцы и пришел к пониманию, что не созрел пока до самого конца, до корней волос, чтобы принять все это: уклад, устои, отношения, степени свободы. И стал рваться. Мне нужно было высказаться. Наверное, это тоже грех, по крайней мере, его разновидность. Понимаю это. Но больше наступать на свою песню не мог. Верить можно и не отходя от обычного мира. И в этом, может быть, даже больше силы духа и обычного мужества. Я же не уйду совсем, буду в храме и петь, и заниматься людьми. Открывать им новые мелодии, которые подобает исполнять в церкви, сам напишу новые, часть есть уже. Словом, работы хватит. И не брошу ту свою работу жизни, можно сказать, которой я всецело отдан.

— Брак, узы, всяческие обязательства иного плана вам не помешают?

— Любовь помешать не может. Посмотрите сами. А сейчас я должен ехать. Побудете без меня?

Он уехал и она снова обошла дом и снова подивилась тому, с какой тщательностью и любовью он был сделан. Его задумка не просто была оригинальна и претендовала лишь на оригинальность, в ней было нечто большее. Она раскрывала мир и пристрастия самого хозяина, который явно любил волю. Это перетекание мотивов, настроений, меняющих назначение и функциональные надобности, тем не менее вмещалось в какой-то единый общий объем. И этим подкупало особенно. Было понятно, что и его создатель обладал тоже

нестандартным взглядом на пространство, его решение, что и он видел мир могучей цельной субстанцией, где гармонии было отведено самое важное место. Более того, именно она и определяла смысл и назначение этого дома. И внешнее решение тоже было продуманным: оно было под стать природе, лесу, то есть окружению. Внутри же присутствовал сам владелец со своими интересами и взглядами на жизнь. И они, внимательно всмотревшись, прочитывались весьма отчетливо.

Ильзе так устала от дороги, всех перипетий сегодняшнего дня, что вошла в свою комнату и, не успев раздеться, легла на кровать и уснула. Она даже не слышала, как заглянул к ней, не обнаружив ее в доме, Емельян, как большие настенные часы отбивали ежедневно свои удары, как, наконец, поднялось солнце и наступил день.

Она поднялась, очень удивилась, что нисколько не сожалеет о всем, что произошло, привела себя в порядок и пошла вниз. Емельян хлопотал на кухне и вперые подошел и порывисто обнял ее.

— Ну что новое место? Загадывали желание? Что во сне видели?

— Ничего. Не загадывала. Помню только, что сил уже не было никаких. Я так никогда не спала.

— Идемте на крыльцо, там увидите, что такое начало дня. Не из метро, где одни хмурые лица, а здесь, где видно каждое движение природы, каждый ее шорох.

На воздухе у нее слегка закружилась голова, так отвыкла она от чистого и пронизывающего воздуха. «А-а-а...» — закричал вдруг Емельян и она засмеялась потому что только недавно сама вот так же искренне, во всю силу легких своих кричала с балкона на весь белый свет, что она счастлива.

Завтракали, гуляли по саду, она знакомилась с тем, что окружало дом, его пристройками, деревьями, маленьким прудиком. Потом поехали на машине и Емельян показал соседские дома. Самый ближний нахо-

дился в полкилометре от них, соседей от знал, но заезжать не стали. Затем отправились той дорогой, которая вела к храму. Но Емельян вел себя весьма деликатно. Понимал, что она может и не быть готова к его посещению. «Если захотите, зайдем», — только и сказал он. Они постояли неподалеку, обошли церковь и в какой-то момент она все же сказала: «А платок же у меня есть, давайте зайдем».

Это была церковь 1812 года, прекрасно сохранившаяся, хоть и небольшая, но замечательно, самобытно сделанная. Преобладал густой голубой, почти бирюзовый цвет. Возвышалось несколько куполов и был даже колокол. Внутри она была особенно хороша своим и убранством, и высоким куполом, и сохранившимися иконами, которые так и тянули приблизиться своим неотчетливым матовым блеском.

Он протянул ей несколько свечей и отошел. Прежде всего Ильзе помолилась за мамочку, за упокой, за отца, за тетюшек, бабулю. А потом пожелела всем родным своим людям здоровья и долгих лет жизни. Всех перечислила и всем поставила свечи. Даже дяде Косте.

Она долго стояла под куполом и смотрела вверх. Самого разного свойства мысли насыщали ее ум. Она не хотела ничего необычного: просто быть счастливой и здоровой и полюбить по-настоящему этого необычного человека. Об этом и молилась.

У выхода они встретились и он сказал, что теперь батюшки нет, а то бы с удовольствием познакомил. Отец Михаил прекрасно поет и люди и с окрестных сел, деревень съезжаются сюда, чтобы послушать проповеди и его пение. «А уж если попадете к нему домой, да за накрытый стол, вообще удивитесь: такой голос!»

Дома они разожгли камин и долго сидели у огня, рассказывая и задавая вопросы о себе и друг о друге и все не могли наговориться. Под конец он сказал, что уже многие наслышаны об их приезде, знают, что она — врач.

И снова она уснула с легким сердцем, не размышляя ни о каких проблемах и постепенно приходя к пони-

манию, что этот человек ей необходим. Она думала только о нем и говорить хотелось только с ним. Его некоторый максимализм, который она уловила в Москве, здесь вообще не проявлялся и это было здорово.

А посреди ночи ее разбудил шум. Сначала моторов машины, затем голосов. Ильзе оделась быстро и спустилась вниз. Там стояли люди и громко говорили. Она успела уловить, что с кем-то плохо и что нужен врач. Когда она подошла, то увидела, что женщина — а были муж с женой, по-видимому, — плачет и говорит, что сильные боли в животе, температура и что нужно скорее что-то делать. Речь шла о дочери. А до главной больницы не дотянуть. Ильзе спросила, есть ли рвота и давно ли началось и быстро пошла собираться. Она заранее, еще только понимая, что подобные ситуации могут быть возможны, все необходимые инструменты взяла с собой. И перевязочный материал, и даже ампулы для местного наркоза. Огромная сумка была упакована именно этим, а не ее нарядами.

Они выехали вчетвером и добирались примерно минут пятнадцать. Когда вошли в дом, Ильзе вдруг поняла, что вот сейчас, сию минуту начинается то, ради чего и была вся эта затея, и что сейчас предстоит испытание, из которого она должна выйти с честью.

Комната, где лежала девочка лет десяти, была довольно просторная в ней, стоял стол. Ильзе увидела бледную, плачущую дочку хозяев и сказала, что очень скоро все должно измениться. Осмотр она производила тщательно и осторожно. И поняла, что это, к счастью, не перитонит, но аппендицит — точно. Она предложила доехать до больницы, поскольку в домашних условиях делать операцию было нельзя. Родители наскоро переговорили, велели тётке — а с девочкой находилась ее тётя — упаковать необходимые вещи и ехать.

Так и сделали. Добирались минут тридцать, не больше. В Москве на пробки ушло бы куда больше времени.

В приемном покое открывали долго и не слишком были любезны. Емельян и отец девочки попросили пригласить дежурного врача, но того не оказалось. Состояние Настеньки становилось все хуже. Тогда Ильзе сказала, что пока едет врач, если он придет действительно в эту пору, начнет оперировать она сама, пусть только откроют операционную. «А она и не закрыта, у нас сразу ничего не запирается», — сказала вахтерша и махнула на второй этаж.

На удивление, в операционной было чисто, инструменты находились в порядке и хранились соответствующим образом. И Ильзе приступила. Велела Емельяну помогать ей, научила, как помыть руки и подготовиться к операции. Он подчинился, но заметно нервничал. Она вынула из своих запасов апробированный наркоз, строго предупредила родителей, чтобы не мешали. В какой-то момент успела подумать, что дикие порядки позволили абсолютно постороннему человеку войти в святая святых больницы и делать операцию. Вахтерше, правда, растолковали, что она — докторша из Москвы и что девочку надо спасать, но толстая дежурная не особо сопротивлялась. «Только чтоб все убрали за собой», — сказала она и пошла в свою каморку досыпать.

Скальпель Ильзе взяла сама, как и приготовила в нужном порядке инструменты и сказала Емельяну, что будет показывать, какой подавать. Еще добавила, что надеется на успех и подбодрила его.

Когда она увидела внутренности ребенка, то поняла, что еще час-другой и все осложнилось бы перитонитом. Может, и раньше. И, скорей всего, что так. Она дала наркоз и приступила. Работала как тот виолончелист, слушала которого совсем недавно. Пальцы так виртуозно касались струн детского тельца, а музыка в ее голове звучала так пронзительно, что она и не заметила, как подошла минута, когда требовалось зашивать. Емельян выполнял все ее просьбы и указания, подавал нужные нитки и смотрел, как ловко и грациозно она справляется со своей задачей. Ильзе была так



сосредоточена, что не отвлекалась на мелочи. Это только в американских сериалах шьют и рассуждают о чем угодно, а еще лучше — препираются, прогоняют друг друга с операции и проч.

Она завершила свою работу, сбросила перчатки, велела сделать то же самое своему помощнику и попросила, чтобы он развязал ее халат. Так и стояла с вымытыми руками, простоволосая, покрасневшая, но счастливая. Она понимала, что промедление действительно могло погубить ребенка. Теперь предстояло, чтобы все было точно выполнено после операции. Ведь у нас любой деревенский врач такое умеет, а вот выводить человека — нет, не по нашей части. Не любим мы ухаживать за человеком, извлекать его из последствий тяжелых болезней. Тяп-ляп — пошли дальше.

В коридоре напуганные родители спросили, «как», она все рассказала и попросила выполнять все, что она скажет. Нашли бумагу, она написала врачу, что полагается делать, но ее стали умолять приехать еще разок и самой все рассказать врачу. «Куда ж я денусь, приеду, конечно», — сказала Ильзе, дописывая назначения. Договорились, что родители сами увидят врача больницы и все ему передадут. «Лишь бы он в обморок не упал от нашей самостоятельности», — сказала Ильзе, но отец девочки заверил ее, что обо всем сумеет договориться. «Езжайте с Богом. Благодарим вас так, что...» И стал засовывать ей в карман сверток. Она строго глянула на него и сказала, что благодарность видит в другом. «В чем, скажите», — забеспокоился родитель, но Ильзе уже выходила из маленькой старой больницы, где мирно досыпала свое вахтерша. А на улице во всю еще была ночь и только некоторые отдельные проблески, да странные, новые звуки говорили о том, что вот-вот начнется приближение утра.

Она заметила, как бережно усаживает ее Емельян, как приносит потом завтрак, как страется не говорить о происшествии, щадя ее. Все это было так очевидно, что ей стало даже весело. « Не носитесь со мной, как с писаной торбой. Я же вполне живая и здравствующая.

Только... только открою вам страшную тайну. Я когда-то оперировала, но чтобы быть практикующим хирургом — такого не было. Считайте, что сегодня у меня боевое крещение». Он ничего не сказал, но было и так ясно, что это сообщение его сильно удивило и по-настоящему восхитило. И придало сил. Он понял, этого и нельзя было не понять, что она здесь будет на своем месте. Если прежде он все это предполагал, то сегодняшняя ночь укрепила его надежды. Теперь он был уверен, что все сделалось правильно.

После этого события приезды к ним домой стали не такой уж редкостью. Ильзе всегда с готовностью откликалась на просьбы оказать помощь и саму ее частенько посещала мысль о том, что так постепенно она и станет настоящим сельским доктором.

Утром 25 января, в ее день рождения она проснулась довольно поздно и не спешила сойти вниз. Так и лежала, и все думала, как все завертелось в ее жизни, как изменилось, как все то, к чему она привыкла, отошло куда-то вдаль и теперь другие интересы и другие заботы волнуют ее все больше и больше. Вот недавно Емельян сказал, что привезет собаку и что к весне можно было бы обзавестись и какой-нибудь живностью: козой или коровой, к примеру. Что можно пригласить человека, помогающего по хозяйству или так, самим управляться.

Идея приглашенного человека Ильзе была не по душе, да она и понимала, что сказано это было больше для вежливости, понять, сможет ли она справиться сама. И он действительно был рад, что она отказалась от приглашения чужого человека в дом.

Когда она спустилась вниз, ее уже ждал накрытый стол, было много цветов, а на диване лежал внушительный пакет. Емельян сделал широкий жест рукой и сказал, что вот, даже утро к ее услугам: столько в нем света и тепла. Кажется, сама зима решила ослабить свои права и немножко поубавить леденящий пыл. Было и правда не так холодно.

Располагая средствами, Емельян не стремился изощренно и обильно накрывать столы. Он был более склонен к аскетизму, несмотря даже на такой внушительный дом и размах, с которым он был сделан. Все было, что называется, в меру. Но вот сегодня правила были нарушены и Ильзе увидела, что от яств стол, ломился.

Он вручил ей пакет и она заглянула в него. Там лежал клетчатый исландский плед, где преобладали желто-коричневые тона и чуть-чуть вкрапления розового. Очень похожий когда-то был у мамы. Ильзе даже выпрашивала его себе, но мама была непреклонна. Так и остался он в доме уже после ее ухода. И вот теперь — надо же, новый и очень напоминающий старенький. Тому исполнилось уже четверть века, а он все был гладким и неистертым.

Она обрадовалась и обняла Емельяна. Потом обмоталась им, закружилась и сказала, что сегодня непременно напишет стихи, а то уже целый месяц в простое. «Нравится?» — спросил он ее. — «Да, а почему особенно, расскажу как-нибудь. Очень нравится!»

Они долго гуляли по окрестностям, как и стало у них закрепляться это занятие и переходить постепенно в привычку. Много, как обычно, говорили и Ильзе поймала себя на мысли, что не просто проникается чувством к этому большому человеку с необычным именем, но у нее где-то внутри начинает позванивать колокольчик. И тогда хочется петь и кричать свое «а-а-а» от радости на весь белый свет. Она все еще сдерживалась, все еще стреножила себя. Но то, что внутри у нее сидел вулканчик и временами взрывался и так и рвался наружу, ей становилось все больше и больше понятно.

К вечеру послышался шум подъехавшей машины, вышли люди и она узнала в них родителей девочки, которую она прооперировала. Они приехали с грудой подарков, благодарили, сказали, что Настенька поправилась и сама нарисовала рисунок и прислала его тете-доктору.

Приезд был и кстати и неожидан одновременно. Сели за стол и они узнали, что у хозяйки день рождения. Стали оправдываться, говорить, что непременно заедут еще, чтобы по всей форме поздравить.

А потом наступил вечер и он сгущался и становилось совсем темно и, по обыкновению, тихо-тихо. Когда-то, еще в юности, у нее была идея стать учительницей и работать в сельской школе. Все знакомые старались, как могли, тормозить это желание и не поддерживать. Но в глубине души она все же знала, что мечта никогда не исчезает полностью, что ее искорки все-таки задерживаются и освещают путь человека, который он проходит. Надо же, вот и ее путь, такой, казалось, выверенный и понятный, вдруг оказался повернутым вспять. Во всяком случае, стал неожиданным и таящим многие тайны.

— Уклоняйся дорог исхоженных, ипользуй нехоженные пути. Это сказал Пифагор. — Емельян словно подслушал ее мысли и стал продолжать разговор, который сама с собой она вела уже давно.

— А вы авантюрный человек? — спросила она.

— А вы что скажете? Как вам кажется?

— Я — тоже, несмотря на кажущуюся устойчивость всего в жизни. В моей, естественно.

— Ага, значит, мы оба... Но только я не согласен с определением. Это не авантюризм, далеко не так. Для меня это выверенное решение. Не всегда решения ждут годами и проверяют их десятилетиями. Весь путь человека — уже подступы к принятию того или иного решения. Моя судьба, потеря жены, дальше — уход от светской жизни и сквозь и через все это — все равно осуществление своего пути. Здесь и книга, и находки в виде чисел и символов, знаков и ритмов. Благодаря всему этому я живу. Но потом появляйтесь вы... Я не ожидал такого поворота, совсем не ожидал. И не готовился. Так уж случилось. Что толку сотрясать мир словами? Мы здесь, оба здесь, вот и вся правда.

— Идем ко мне, я жду этого.

Он не сдвинулся с места, поднялся, потом подошел, порывисто обнял ее и так и не отпустил. Все стоял и держал ее, как дорожный хрупкий предмет. И боялся что-то потревожить в этом мгновении, которое, к счастью, все длилось и длилось.

Наконец они поднялись и пошли наверх.

А под утро, когда уже погасили свет и можно было поспать пару часов, Ильзе встала, подошла к окну и увидела, что мир тоже замер в ожидании. Чего? Да просто продолжения жизни, прихода дня, проблесков лучей солнца, и того необъяснимого, что хоть и зовется жизнью и каждому понятно по необыкновенным проявлениям, которые едва уловимы и так дороги, которые не выразить словом и не потрогать рукой, но которые, тем не менее, существуют и называются настроением, атмосферой, всеми теми тонкими вещами, без которых невозможно полноценное дыхание человека. Его, наконец, поглощение жизненных процессов. И она, вздохнув и покачнувшись от усталости, от того, что в одночасье перевернулся мир, подошла к окну и тихо встала. И стала смотреть на падающий изредка снег с деревьев, на пролетающих ворон, на ту тишину, что прочно поселилась у них в саду и увлекала все дальше в лес, в какие-то такие края, где она никогда не бывала, но которые очень хотела бы посетить.

Тишина, звеня, отступала за их сад, осторожными шагами отступала куда-то далеко, за ограду и дальше, унося с собой те ощущения, которые уже никогда, вероятно, не смогут повториться, но останутся в ее памяти, в иголочках, которыми покрыто все тело, в тепле, которое излучала и она сама, и тайл дом, и эта комната, где впервые по-настоящему она узнала, что такое восторг близости и обладания любимым. Он уже был любим, и это придавало не только силы, но мир, становился подвластен всему, всем помыслам, мечтам, соблазнам, планам. Всё можно было исполнить, сделать, всё поддавалось гармонии чувств, мыслей, фантазий.

Она прямо там, не отходя от окна, написала:

**Живой и нежный звук**

**Зеленой жизни**

**Жив!**

**Ах, погодите хоронить**

**Надежды.**

**Он — нежный, он — живой,**

**Набросьте на слова одежды**

**И вслушайтесь в мои молитвы.**

**Тревожит слух и ввысь уходит в небель**

**Святой и светлый звук —**

**Он равен небу.**

**Спасибо, свет, что осязает дух,**

**Что пробирается сквозь частокол объятий,**

**И нежность, и любовь — все превращает в пух**

**И отвергает ложное занятие,**

**Что продлевает чистый звук,**

**И солнца яркого свечение,**

**Мне истина — совсем не друг,**

**А так — сует вращенье.**

**Так что ж так долог и тревожен звук,**

**Что обрывает речь и перехватывает горло?**

**Напоминает сердца перестук,**

**И что-то, что давно прогоркло.**

Обернувшись, она увидела, что Емельян лежит, запрокинув руки за голову и смотрит на нее. Строго и почти не мигая.

— Я люблю тебя, — были первые его слова после этой ночи.

— Очень?

— Безумно. А ты?

— Я вообще безумная.

— Это точно, мы оба — сумасшедшие.

— Нет, сумасшедших еще можно лечить, а мы просто безумные. Скажи?

— Хорошо, мы — безумные. Но люблю я тебя как самый настоящий вменяемый и разумный мужчина. Нет, ты права, все же как безумный.

— Вот и хорошо.

— А ты хитрая какая, молчишь, да? А-а-а-а...

— А-а-а-а... Точно, полумные...

— Это великолепно!

— Пойдем в сад, пойдем гулять, пойдем куда-нибудь!

— Слушаюсь, моя госпожа!

Когда они спустились вниз, то увидели смешное зрелище. Их Блюз сидел посреди всего огромного дома на декоративном дубе, который облюбовал давно, в маленькой ложбинке и грыз плетеную веревочку, пояс Ильзе. Получалось, что почти тот самый знаменитый кот из сказки если и не ходит по цепи кругом, то уж на дубе сидит точно. Да и некое подобие цепи тоже имеется. И где он раздобыл этот поясок? Вообще Блюз вел себя очень необычно: сначала спрятался и его почти два дня не могли выловить в доме. Потом появился, понял, что все обширное пространство принадлежит также и ему и стал им охотно пользоваться. Бегал, играл, влезал на это самое дерево, по утрам скребся в комнату Ильзе, призывая ее спуститься вниз и наконец накормить его. Дом ему явно понравился и он, было понятно, никак не сожалел о прежнем жилище.

Хозяйка накрыли стол, а вкусовостей со вчерашнего торжественного вечера оставалось предостаточно, и решили, что после завтрака пойдут гулять. Чистить сегодня дорожки очень не хотелось, но Емельян, словно уловив настроение Ильзе, все же сам побежал в сад и перед домом все-таки вычистил тропинку. Обычно она тоже не ленилась и заправски махала лопатой и веником.

Пошли гулять. У них уже начинал складываться свой маршрут почти в три километра. Зимой это было немало, летом, сказал Емельян, предстоит увеличить расстояние. Что ж, план был вполне по силам.

Если ее что-то и беспокоило, то, скорее, ее вклад в

общий бюджет. Воспитанная мамой в лучших социалистических традициях, ей нет-нет, да мешала мысль о том, что же она? Как она станет восполнять расходы и вообще... Что означало это «вообще», понять несложно: ей хотелось участвовать не только на общественных началах в финансовых делах, не только быть к экономике жителя-бытия причастной, но и сознавать свою нужность и в этом плане. Конечно, ее частенько вызывали на всякого рода горячие случаи, она была нужна, ясно, но денег она не брала, а жить только на подарки — ну что ж, — не по ее характеру.

Об этом она и обмолвилась Емельяну, спросив, что, может, ей оформиться в местную больницу? Он выслушал ее, но привел два довода не в ее пользу. Во-первых, затраты на поездки, расстояния, вряд ли необходимы. Во-вторых, он бы хотел, чтобы его жена действительно находилась дома, да, такой типичный домохозяйка. А денег на пропитание у них хватит хотя бы еще и от того, что раз в неделю он собирается ездить в город на «промысел», как он выразился. Там у него и занятия, и издательские дела, и просто некоторый вид бизнеса. И пусть она не волнуется, они нищенствовать не будут. И ни о какой работе не думает и мыслью этой не тревожится.

Так, разговаривая, они шли и мечтали о будущем. А настоящее уже ворвалось в их судьбы и стало такой убедительной явью, что сомнений относительно предстоящей жизни не было и не могло быть. Точно, прав был валикий граф Толстой, когда говорил, что после брака, а вовсе не до него жизнь, отношения, сама любовь только начинаются.

— Вот, видишь, какие деревья, их множество. Но все имеют общий признак — они — деревья. Одно олицетворяет покой, другое — напротив, буйство движения и, соответственно, непокой. Стало быть, первое дерево, не может быть равно второму и в то же время равно ему, поскольку в частном есть и то и другое одновременно. И покой, и буйство движения есть мно-

гообразии одного и того же признака, то есть самого дерева. Устала? Вот на такой казуистике я и строю свои абстракции из чисел, звуков, формы, ритма и даже цвета. Какая-то математическая цветомузыка получается. Ты скажешь, кому это надо? Отвечу...

— Я не спрошу.

— Почему?

— Потому что знаю, что в таких, вроде бы оторванных от конкретной пользы, от функции вещах зарождается правда. Можно даже сказать — истина. Это потом она начинает перетекать в другие, более сложные формы, становясь понятной и все равно закрытой. Это — абстракция числа и смысла и это надо понять.

— Ты моя умница. Ты просто — моя зеленая мечта. Не возражаешь? Так вот, мои архиабстрактные цифры, оказалось, сгодились некоторым физикам, которые строят свою модель организованного ритмически и в цвете пространства. Гений Аристотель! Все веками идут за ним!

— А он иногда приходит ко мне.

— Ты серьезно?

— Вполне. Правда, во сне. Но тоже говорит потрясающие вещи.

— Понимаешь, мир так многолик... его можно понять и через дерево. И через лужу, и через любовь. Нет, я неправ, любовь не понять никогда, она — вне понимания и объяснения. Ты согласна? А мои ритм-числа, они нужны, через них объясняются и мировые константы, и сами сложные связи между числом и ритмом, между массой даже в атомной физике и энергией. В физику я не лезу, я только знаю свое и немножко то, что пока только нащупывается, осязается даже. В особенности мне открывается то ли истина, то ли важный смысл в храме, где начинают петь мои дорогие собратья. В таком купольном пении есть и свои вибрации, и свои частоты, свои ритмы, отличные от обыденных. Здесь очень помогает и меняет дело не просто акустика, но архитектура, композиция постройки, то

есть, сам купол. Ты не замечала, что когда долго стоишь в центральной, купольной части храма, выходишь не просто обновленной, но и действительно начинаешь лучше себя чувствовать. Этот овал, круг, от которого отражаются определенные частоты, эти звуки начинают воздействовать на органы человека, в особенности на сердце. Почему говорят, что есть в церкви некая энергетика, способная лечить, действующая умиротворяюще? Церкви недаром строили на высоких, энергетически активных точках земли. Отсюда молитвы, службы имеют такой резонанс — энергетика никуда не девается, купольность ее только увеличивает. А хорошее пение, отражаясь, еще более усиливает этот процесс. Физики мне объясняют эти процессы очень сложно и по-своему, на своем языке, я же, конечно, упрощаю и передаю только конечный результат происходящего. Он есть, он очевиден.

— Ты сильный, я горжусь тобой.

— Ильзе, зеленая моя, тебе не приходилось бывать в старом здании почтамта на Мясницкой? Там тоже в прежнем помещении клуба есть нечто, похожее на купол. Во всяком случае, именно в нём многие годы проходили концерты, в особенности струнные, духовые. Звучание там потрясающее. А когда-то это здание выстроил помещик, поселился там возле нынешних Чистых прудов. Но они уже были не запущенными, как до вмешательства Меньшикова, а когда он очистил их, то и стали называться Чистыми. Район этот особенный. Вроде бы сопряжен и с нечистотами, но ведь очистили, правда? Это здорово!

— У тебя эйфория! Ты сумасшедший.

— Согласен. Лишь бы не хандра. Я — безумец, вы слышите меня — а — а?!

— Молчи, спугнешь ворон, галок, сорок и соек.

— Ты ж мой орнитолог!

— Я теперь все в одном лице — орнитолог, патофизиолог, натуропат и просто психопат!

— У тебя эйфория!

— Я знаю.



Они шли и шли, говорили, смеялись и шутили, и между ними устанавливалась все более и более нечто такое, что обоим было понятно: то, что случилось и сегодня ночью, и еще раньше, — надолго, скорей всего — навсегда. Это чувство захлестывало с головой, оно пронизывало сам воздух, которым они дышали, делало его густым и щемящим. И даже сама окрестность, казалось, дышала по-другому и выглядела иначе: наполненное и масштабнее. Они и не пытались как-то охарактеризовать то, что между ними происходит, поскольку это было нереально, но то, что происходило, — несомненно. А пока что они просто шли, наслаждались зимой, ее проделками, природой. Он сказал, что, скорей всего, завтра ему нужно будет съездить в Москву. И что она, если захочет, может поехать с ним. Она хотела. Хотела посмотреть на город новым взглядом, увидеть свое прежнее жилище, сравнить и еще раз оценить то, что произошло в ее жизни.

Вечером они зажгли свечи и снова говорили, пили красное вино, которое любили оба, и зимняя ночь изумленно смотрела на двух людей, которым ни холод, ни предстоящие трудности были нипочем. Они только внимали друг другу, этой самой морозной ночи и все не могли поверить, что счастье почти осязаемо, что его можно едва ли не потрогать.

Легли рано и тут же уснули. А наутро поднялись и поехали в Москву. Решили, что Ильзе пока останется у себя дома, соберет оставшиеся вещи и просто побудет в старом привычном месте. Так и сделали.

По мере того, как все ближе приближался город, она начинала испытывать сильнейшее волнение. Нет, ее совсем не томила мысль сожаления; напротив, все больше она думала о тщетности усилий, потраченных на суету, достижение признания, на многие мелочи, которые, как оказалось, совсем не имеют ценности и значимости, которые она им приписывала.

Дома все было по-старому, но все же как-то холодно и пусто без хозяйки. Комната показалась совсем маленькой. Единственное, что по-прежнему радовало, —

это вид из окна, где не видно было домов, а только простор, река и сама природа. Но что она была в сравнении с той природой, в которой теперь жила Ильзе!

Она решила навести порядок, хотя и не собиралась здесь оставаться. Собрала необходимые вещи, любимые книги, кое-что из посуды, сгребла оставшиеся продукты из холодильника, который так и не успела отключить. В момент, когда она полезла на антресоли, чтобы забрать свой лыжный костюм, раздался звонок и она, запыхавшаяся, побежала открывать. В глазок не посмотрела и просто распахнула дверь. На пороге стоял господин Александр из славного города Санкт-Петербурга. Она отступила, теребя в руках тряпку, которой протирала шкаф наверху и только успела спросить, что случилось.

— Простите, ничего не случилось, я по делам в Москве, телефон очень давно не отвечал и я подумал...

— Это вы зря. Напрасно.

— Я понял. Позвольте, я только несколько слов.

— Ой, даже не знаю, мы ведь все решили, что еще, какие вопросы?

— Я очень много думал о вас. Может быть, я испугал вас своим натиском. Если хотите, я бы мог подождать. Исправиться, так сказать. Я не могу без вас, я это понял.

— Мне очень жаль. Понимаете, многое изменилось с тех пор.

— Ну что, что такое могло измениться? Я же видел, какой вы были тогда, во время конференции! Я не мог обмануться.

— Значит, могли.

— Но мы гуляли, читали стихи...

— И что же?

— Вы правы, это ничего не означает. Вот, возьмите, вышла моя книга. Это о ходе операций в экстремальных условиях. Я вообще живу в экстремальных условиях, мне кажется. А вы, как вы поживаете?

— У меня все хорошо. Я здесь... словом, не надо меня искать, я не бываю теперь здесь.

— Понятно. Теперь понятно. Тогда знайте. Я бы не хотел, чтобы у вас осталось плохое воспоминание о нашей встрече. Знайте, что где-то есть человек, которому вы ох, как не безразличны.

— Вы привыкли покорять, вот и вся история. А тут...

— Неверно, это превратное впечатление.

— Но оно есть, оно сложилось. Простите еще раз, у меня дела. Мне нужно спешить.

— Мне показалось... мне показалось, что и я не противен вам.

— А кто сказал, что противен? Просто не все люди подходят друг другу. Что ж тут не понять?

— Ясно, вы встретили человека, который вам... который подходит.

— Я не стану это обсуждать. Давайте простимся. Я и не собираюсь становиться врагами с вами. Кто его знает, может, когда-то встретимся? Хотя, не думаю. Прощайте, Александр.

— Желаю счастья.

Она закрыла за непрошеным гостем дверь и настроение несколько упало. Уже не было того восторга, беззаботности, легкого и беспечного состояния, когда, казалось, возможно, все. Она понимала, что прошлое еще не раз вторгнется в ее жизнь, хочет она того или нет.

Ильзе присела на диван и еще раз оглядела свое старое жилище. Как говорил Емельян о гармонии? Что это нарушенная симметрия? Вот — двери, окна, стол, диван. Что, если они вдруг возьмут и станут квадратными? Это ведь симметрия? Но однако, — выраженная дисгармония! И совсем не тот мир, в котором привычно и удобно жить!

Женщина прислушалась к звукам тридцать восьмой симфонии Моцарта, которую поставила, когда пришла и стала думать о том, что такое диапазон звучания и как это связано с числом. Не все ей было понятно из рассуждений Емельяна, но она точно усвоила одно: преобразование числа есть перевод его из одного диапазо-

на в другой. Вот ведь какие вибрации в этой музыке! Смешение ритмов и интонаций, но все же есть то, что проходит сквозь всю симфонию явно и настойчиво: это, как ни странно, мысль и настроение. А они то — же состоят из выбранных чисел, ритмов и качелей. Так посвоему она назвала то, о чем говорил Емельян. Качели — это когда верх и низ, когда есть раскачивание и взмывание вверх и снижение. О своих стихах она говорила, что они тоже что-то вроде качелей. Музыкальные качели есть у Моцарта, но настолько его музыка светла и ненавязчива, что и не скажешь, сочинена она человеком, или так существовало всегда. Опять легкость и гармония пространства. Как с их домом. Но только с музыкой, конечно, изысканнее и тоньше, сплошное волшебство. Это была такая абсолютная гармония, что и впрямь не хотелось думать, что руки конкретного человека слагали ритмы, писали ноты, сохраняли последовательность и даже каким-то определенным образом называли это сочинение. Нет-нет, Моцарт, конечно, был. Но он просто подсмотрел во вселенной нечто такое, что другому слуху, взгляду было попросту недоступно.

Наверное, пройдет время и она сможет глубоко проникнуться идеями Емельяна и поймет, что он хотел сказать. Сейчас же она по-новому воспринимала то, что слышала множество раз. И она начинала видеть другие смыслы и другие просторы в этой божественной музыке.

Пока наслаивались события и еще не было возможности сполна разобраться, что же такое по-настоящему случилось в ее жизни. Например, церковь. Раньше она была, как большинство: молилась в праздники и когда было страшно, ходила святить куличичи... Но тут! Все перевернулось в ее сознании. Она и представить еще короткое время назад не могла, что судьба свяжет ее с человеком, который — мало того, что пришел из монастыря — но для которого служение в храме стало составлять смысл жизни. Пусть и сопряженный с его

профессией изначальной, но все же. Не для эксперимента же он изучает церковное пение и связанные с ним ритмочисла и цвет. И еще. Он деликатно обходит пока вопрос веры, не торопит ее, а, может, и сам пока не готов.

Но его идеи увлекали ее и по другой причине. Во время своих операций она часто смотрела на купол света, который источала особая лампа в комнате. И в те самые минуты она, Ильзе, тоже начинала ощущать особую вибрацию, состояние, которое часто связывала либо с волнением, либо с возможной, возникающей опасностью во время операции. Но то, что какой-то ритм, напряженный и сдержанный, сопровождал все течение, весь ход действия, несомненно.

Она понемногу успокаивалась после визита странного гостя и когда около семи вечера позвонили в дверь снова, уже точно знала, что это — Емельян.

Так и было. Он обнял ее крепко-крепко и сказал, что очень, просто безумно соскучился и что ему показалось, что не виделись они целый год. Улыбнулся, когда увидел количество приготовленных вещей и стал выносить их к машине.

Снова ехали долго, так как московские пробки стали уже настоящим бедствием. Все-таки здорово, что там, где она теперь, ничего подобного нет!

Ночь наступила как-то сразу, внезапно. Преодолевали последний отрезок пути в кромешной темноте. А дома к ней сразу бросился ее дорогой котик и так и терся, пытаясь рассказать обо всем, что было за день и что ему снилось и что думалось. Она схватила его на руки и стала кружиться, переходя из одного пространства в другое, все более насыщаясь мыслью о причастности к этому редкостному дому, ее хозяину, к самой природе, наконец. В какой-то момент ей даже показалось, что она — часть ее, как та музыка, которую она только недавно слушала.

Емельян за ужином рассказывал, что там, в городе и в местах, где он был. Сказал, что в издательстве

торопят и что вот-вот выйдет его большая статья. И заверил, что скоро они получат приличный гонорар за его лекции и участие в бизнес-проекте. «Так что, не пропадем, козу еще рано заводить, прокормимся, не волнуясь».

Потом они пошли наверх и поняли, что страсть первой ночи не только не ослабела, но стала еще неистовей. Не было сил ни думать, ни сопротивляться, ни просто осознавать свое тело и понимать, что ты — есть ты и что, к счастью, ты еще жива и не растворена сполна в объятиях своего любимого.

Когда под утро она снова подошла к окну и увидела, как просыпается осторожно природа, и опять тишина подступила настолько близко, что становится почти нереальной. Лишь неведомые существа еще, наверное, посещали землю, но тоже не нарушая ее покой и смирение. Она села в кресло, стоящее у окна и снова стала писать.

**Летели ангелы в саду  
И пели птицы.  
Нет-нет, не буду я в аду,  
Пусть счастье длится.  
Пусть сон стреножит разговор,  
Пустой и странный,  
Ах, как же редок и остер  
Кинжал буланый.  
В шелках запутав рукава,  
Хочу согреться,  
В тумане синем острова —  
Куда мне деться?**

**Смеялись ангелы в саду  
И сердце пело.  
Я больше никого не жду —  
Любовь созрела.**

**Остался синий запах тьмы,  
Домов созвездья,  
Я снова выхожу из мглы  
И рву соцветья  
Зелено-желтых стебельков,  
Что где-то рядом,  
Порхают стаи мотыльков,  
И пахнет садом.**

**Стихают ангелы в саду,  
Земля теплеет.  
Из ада в рай я попаду,  
Душа хмелеет.**

Можно ли ответить на вопрос, что такое счастье? Что это, нечто бесформенное, лишённое логики и смысла? Но ведь в самом желании счастья уже присутствует воля! Когда-то в юности она выучила высказывание Мериме: «Счастье — это как желание спать». В ту пору эта мысль ее устраивала. Теперь ей этого казалось мало. Что значит — как спать? Разве в самом желании нет этого акта воли? Небытие и полное в нем растворение счастьем быть никак не могут. Счастья надо хотеть и оно может прийти. Желание! Оно движет, оно провозглашает этот путь и оно предвидит!

Ах, какая все же зима этот год! Вот она, просыпается, протирает глаза, начинает съпать, поскрипывать, что-то говорить, утверждая свое право быть на земле и рождать такие символы и такие причудливые мысли, что оно, счастье, кажется, вполне материализованным, воплотившимся в звук и прикосновение!

Они снова поутру чистили тропинки, убрали дом, затем Емельян уезжал в соседнее село, где его ждал хор. Там он репетировал, затем, возвращался, работал за письменным столом, и через все поездки, службу пророступало одно: их общность, их стремление каждую минуту сказать друг другу о своем присутствии.

Молча, только мыслью и чувством, постоянным вниманием.

Он иногда рассказывал Ильзе о своих сочинениях, а однажды в ворота въехала большая машина, из которой выгрузили... рояль. Втащили его в дом, нашли место и он занял его так, словно и не отлучался никогда.

И случился вечер, когда Емельян смог сыграть Ильзе свое сочинение. Предупредил, правда, что в храме и в сопровождении хора оно будет звучать несколько иначе, но все равно пусть послушает. Она физически, наконец, ощутила то, в чем он убеждал ее и что проповедовал в своих работах теоретического плана: она не только слышала, но и видела цвета той музыки, которая звучала под его руками. И она поняла, что дело его жизни должно быть настолько понято и принято ею, что это так важно для него, что решила и сама потихоньку начать вспоминать молодость и свое знание музыки. Когда-то она, как водилось в каждой приличной семье, закончила музыкальную школу, так что рассказы о музыке не были для нее невнятными и далёкими. Напротив, она очень чутко откликалась на все перемены и нюансы звука. А уж из-под рук своего Емельяна — и подавно.

Как-то под вечер ей стало плоховато: защемило сердце и все ныло и ныло. Она молчала, но Емельян спросил, что с ней. Потом, когда она не призналась, снова настойчиво уже стал спрашивать, и тогда она сказала, что у нее есть некоторые проблемы. Он уложил ее на диван, спросил, что нужно, какое лекарство и все дал ей. Это состояние в Москве бывало время от времени, но, как видно, и положительные эмоции тоже могут явиться стрессом.

Она лежала, он сидел подле нее и говорил, что они — так хочется думать — свое уже отмучились и отболели. Он — по-своему, она — тоже. Разве ее жизнь, пусть и без видимых потерь и трагедий сама по себе не есть бесконечный стресс, хотя бы в силу того, что происходит недореализация каких-то человеческих возможностей её личности, потенциала? Иногда легче бывает

пережить трагедию, нежели изо дня в день, из года в год проникаться ею вновь и вновь, не дотягивая до крещендо, а вяло и пожизненно провисая в ней! Это подтачивает гораздо больше и глубже.

Рассуждения Емельяна были Ильзе понятны, она и сама множество раз думала о подобном. Рутинка — вот что стало ее основным жизненным мотивом. Вроде бы ничего не происходит, но исподволь точит душу, ранит. Вот и состояние Ильзе, заверил Емельян, оно временное, оно должно пройти. Свобода и природа — лучшие лекари. И еще он убеждал ее в том, что не нужно маяться душой: принято решение, нечего сожалеть и подвергать сомнению то, что произошло.

«Как же он прозорлив», — подумала Ильзе, хотя и не испытывала явных сомнений или сожаления, но, однако, частенько анализировала происшедшее и не всегда могла успокоиться.

В тот вечер, спокойный и тихий, они много говорили. В основном он. И более всего — о предназначении женщины. Коечно, это не было пламенной речью оратора, но было понятно, что это наболело в нем и что молчать он не может. Только когда стало понятно, что Ильзе полегчало, он неожиданно спросил ее, как она сама относится к браку. Этот вопрос был так неожидан, если учесть их женитьбу, что она сначала и не нашлась, что ответить. Потом, вспомнив то, как ее увозили в ЗАГС, улыбнулась и сказала:

— Я бы солгала, если бы ответила, что в брак не верю и не хочу брака. Каждая нормальная женщина, каждая, хочет быть замужем. И это правильно.

— Да, а вот моя покойная жена очень странно относилась к союзу двух людей. Мы хоть и прожили почти двенадцать лет, срок немалый, я так и не понял, что же ей было нужно, зачем вообще она пошла замуж. Любил? — да, скорее всего, но больше, как родного человека, почти родню. Она занималась своими сценариями, я — тем, о чем рассказывал тебе. И мы... мы не пересекались. Это страшно. Каждый, что называется, жил своей жизнью. И дожил до того, что в какой-то

момент я узнал о ее измене, узнал и того господина, кстати, очень похожего на того, который приезжал к тебе из Питера. Одно лицо. Я едва сдержался, чтобы не спросить его, как он поживает без Лизы. Может быть, я ошибаюсь, но то, что это встреча не случайная — точно. Может быть, это и есть он. Он же доктор или околдокторская у него специальность, правда? Так вот, он так настойчиво стал ухлестывать за моей женой, что она в какой-то момент поддалась, уступила его натиску. Уверяю тебя, не окажись в твоей жизни я, он бы и тебя так же сгрэб своими ручищами. Но когда случилась беда и Лиза тяжело заболела, он исчез, представляешь, просто исчез. Прослышав про ее тяжелый диагноз, он не захотел связывать себя ухаживаниями и тратой времени, ушел. И это большой показатель. Поверь, только в горе и в какой-то тягости жизненной проверяется всё: любовь, преданность и всё то, что мы хотим считать этими чудными словами.

— А я думала, она погибла в катастрофе, внезапно.

— Для меня это все равно была внезапность. К смерти подготовиться нельзя. Невозможно, неподвластно человеческому уму, опыту, сознанию. Вот и... я не был готов до последнего. Какие бы отношения не были, уход человека — это страшно. Говорю, впрочем, банальности, но пережить это крайне тяжело. И потом... Потом начинается еще более страшная пора. Мне говорили люди, видимо, желающие меня успокоить, что она была грешна, что наказана, что ее покарал Господь и все в таком роде. Но что значит «покарал»? И почему не каждого из нас настигает такая участь, хотя каждый грешит, совершает подлости, просто ошибается? Вот я и пошел, как мне казалось, за ответом в монастырь. Был, конечно, в отчаянии, не знал, что делать и куда деться. Решил, что там найду успокоение и примирение с самим собой.

— И что?

— Что? Я говорил уже. Не нашел. Это все зряшные попытки достижения гармонии с самим собой и с миром. Вот почему Гамлету плохо? Что, только измена



матери так его доконала? Но он же уже большой мальчик, при чем тут мать? Внутренний разлад затем вызов, вызов всегда — вот что им руководит. А вызов — это так ничтожно мало. Что это за позиция? Но вот когда он заболевает истинно философским отношением к жизни, когда вопрос о бытие становится главнее всех вопросов на свете, тогда начинаешь верить, что не от капризов его дуэли, драки, убийство друга, то, как он отвергает Офелию, как он насмешничает. И тогда проникаешься сочувствием и сознаешь, что человек болен любовью к миру, который так раздет и необихожен, так горестен и находится в разладе со многим и многим, что он теряется в поисках смысла. Разных, причем, смыслов. В том числе и как жить, быть и быть ли вообще.

— Мы все живем в разладе с самими собой. Только до последнего, до самого крайнего мгновения, когда жизнь уже не в жизнь, не доходим. Ну, большинство из нас. Но то, что мы нездоровы и нездорово общество — это точно. Как оно относится к женщине? И почему?

— А все потому, моя зеленая, мечта моя зеленая, что нарушено то самое равновесие, о котором мы не раз уже говорили. Исчерпан баланс веры и стойкости. Отсюда роль женщины низведена до узкофункциональной. И это грустно. Женщина, как никто, ни один организм в мире, не должна так страдать, как страдает она теперь. Да и не только теперь. Почему она страдает, ты думала? Я тебе скажу самую малость: мы, мужики, делаем вас зависимыми, не верим в полноценность. Любую: профессиональную, личностную, полноценного родителя, да какую хотите. А так быть не должно. Другое дело, что инерция общества, привычки, его уклад действительно низвели женщину до обывательского уровня. И я разом разбить этот узел привычек не смогу. Тебе самой предстоит еще поверить, что преобразование возможно и что можно жить, не унижаясь, не находясь в зависимости.

— А счастье возможно?

— А как же! Еще как возможно. Я тебе скажу так. Я и жену свою любил и никогда бы не пошел на измену, на предательство. Я старался изучать, что она делает и — главное — что ею руководит. Почему она такая? Значит, что-то не так во мне? Но что? Бы у нас однажды откровенный разговор. И она сказала, что эти грешки усиливают какие-то в ней энергетические токи. Так и выразилась.

— Но это же ужасно!

— Что? Что ужасно? Знать, что тебе лгут и продолжать жить? А потом развестись и радоваться, что вот, мол, нашел другую, не изменяющую. А в ней еще тридцать три порока. Нет, так дело не пойдет. Человека, дай Бог, одного бы в жизни изучить. А не менять их...

— Вот ты какой!

— Какой уж есть, не на базар весть.

— А зачем люди лгут? Друг другу, другим? В поисках лучшей доли? В надежде, что, солгав, что-то изменится в лучшую сторону?

— Знаешь, есть логика лжи. По ней, в основном, в разных страшных кабинетах, выводят человека на чистую воду. Человек помнит правду. Запутать непрофессионала — плевое дело. Вот он и мается: от одной обманки — к другой.

— Но есть же, есть очень сильные, подкованные ребята, которые владеют всеми этими механизмами.

— Да, владеют. Но их, как правило, прошибает в какой-то момент инфаркт или еще что похуже. Прежде всего сам человек не выдерживает лжи. Это очень сложная цепочка эмоциональных превращений, которая на каком-то этапе дает сбой.

— Дай попить.

— На. Я заговорил тебя, не стоило, прости. Вот ведь узурпатор.

— А что, тот Александр действительно...

— Да, я уверен в этом. Она часто бывала в том городе, там все и началось. Стихи, прогулки и прочее. Он, наверное, и тебе стихи почитывал?

- Было.
- Будут силы, ты лучше мне почитай что-нибудь свое. Любовное-любовное. Ага?
- Вспомню, прочту. Вот, пожалуй.

Льет дождь, сбивая гребень с крыши,  
Я прохожу совсем неслышно  
И собираю милосердия дань.  
Я вам ее отдам,  
Однако не мешайте превращеньям,  
Скрепив булат, предаться прегрешеньям  
И вечность ждать.  
Я долг хотел отдать,  
Но все мешает суеты сомненье.

Оставим поиски виновных, погорюем,  
Помчимся вместе в путь, в дороге  
запируем.

И сбросим груз.  
Я так устал считать любви оброки,  
Сверять и подытоживать все сроки  
И не ложиться спать,  
И от луны бежать, и все тебя искать.  
Устал запаздывать на даты,  
И ждать и ждать лихой расплаты,  
Чтоб сердце не отдать.

Устал, душа меня тревожит,  
И тень любви цветы уложит  
И выстелит покров.  
Хоть мал и незаметен мой улов,  
Он все же безнадежно брошен,  
И, если путь мой не стреножен,

И не скорбит душа о юности шальной,  
И не пристанет новый день рядиться  
спесью,

И хоть на кол любовь мою повесьте, —  
Я знаю, — мой, он только мой,  
Удел из призрачных мечтаний,  
Телесных, томных очертаний,  
Бессилия покой.  
Такой прозрачный и беспечный,  
Стреноженный и быстротечный,  
Хоть в жизни этой я — изгой.  
Но нет, постой,  
Позволь еще сказать два слова,  
И если песня не готова,  
И мне не выразить толково  
Одно бессмысленное слово, —  
Я — твой,  
Да, все же твой  
И — Казанова, и изгнанник,  
Ровесник, бедолага, странник,  
Твоей души навек избранник  
И истины герой.

— Да, зеленая моя, все хорошо, только с Казановой не согласен. И почему от мужского лица? Я, впрочем, это давно заметил.

— А это, говорят, такой прием. Наверное, мне так кажется, я бы хотела это услышать из уст мужчины. Но — согласна — без Казановы!

Знаешь, что мне не дает покоя? Мои странные встречи то в лесу, то еще где-то. Во сне, например.

— Но, положим, в лесу ты и меня встретила.

— Да, но ты живой, реальный и просто замечательный.

— Рад, рад, дай, обниму тебя. Спасибо лесу.

— Но там было и другое. Я попадала в другие времена, в какие-то такие исторические провалы, что до сих пор не пойму, где правда, где мое заблуждение. Может, вообще... Может, это глюки?

— Брось, никакие это не глюки. Ты все запомнила? Вот и пусть это знание так и останется твоим завоеванием, твоей находкой. Рассказывать совсем необязательно. А если кто и пожалует, что ж, примем, попируем.

— Ты смеешься! А я серьезно.

— Нет, милая моя, зеленая моя, не смеюсь я. У какого нечто подобное случается. И ничего в этом странного нет. Надо просто делать правильные выводы, не отмахиваться и не говорить, что это все — ерунда.

— Мне кажется, я так чувствую, вот-вот произойдет еще встреча. Твой подарок, Аристотель, я чуть не упала. Он только накануне был у меня. Мы беседовали.

— Ну, вот видишь, как хорошо. Ничего не бойся! Со мной ничего не бойся. У нас с тобой будет история, которая опровергнет все предшествующие истории о любви. Там всегда были печали, испытания, что-то не залаживалось. А у нас, хоть и были испытания, но мы их прошли. Еще будут — преодолеем. Я так думаю!

— Ой, ты прямо как наш дядя Костя. Только он говорил «я так вижу».

— Тебе надо поспать.

— Может быть, я тут так и останусь?

— Ну уж нет! На руках донесу, но спать будешь в супружеской постели. Я так думаю!

Он действительно поднял ее как маленькую девочку и отнес наверх. Уложил, дал попить горячего чая, померил пульс и сказал, что все будет хорошо.

А наутро и правда она была полна сил, словно и не было вчерашнего недомогания. Емельян за завтраком сказал, что не только дорожки, но надо начинать и бегать. Потихоньку, каждый день прибавляя понемногу, но бегать непременно. Что она раздышится и все пороки, включая сердечные, просто-напросто разбегутся. Ре-

шили, что завтра уже начнут. А Ильзе засмеялась: «Можно сегодня? Я, например, готова» — «Точно»? — «Абсолютно». — «Тогда собираемся».

Они вышли за свою калитку, примерились, сделали несколько упражнений, размялись и побежали. Дорожка была слегка извилистая, но они бодро перестраивались и ровно и ладно преодолевали свой путь. Метров через пятьсот Емельян сделал знак рукой, что пора поворачивать и на ходу сказал, что на сегодня довольно. К калитке они уже возвращались шагом, оба были раскрасневшиеся, бодрые и оба понимали, что такие пробежки нужны ежедневно.

Когда Емельян собрался, чтобы ехать к своему хору, то велел Ильзе особо не перегружаться и не хлопотать. Первое есть, мол, а горячее сделать проще простого. Только мясо надо разморозить.

Он уехал и она принялась ходить по дому, иногда вовлекая Блюза в свои передвижения, играя с ним и даже бегая от него. И все же какое-то предчувствие не давало покоя. Ну, во-первых, полной неожиданностью было сообщение о том Александре. То-то он так плохо показался ей в последний раз. Лицо было одутловатым, сам он хотя и пыжился, но было заметно, что чувствует он себя неважно. «Вот и не верь в исторические совпадения и параллели!» Неужели и ему уготована участь Великого царя царей, глупая смерть от переизбытка выпитого и неправильного лечения?! Ужас, ее охватил настоящий ужас. Она понимала, ощущала, что еще одна встреча просто неминуема, что от нее никуда не деться, что вот-вот она состоится. Откуда взялось это убеждение, уверенность, она бы не сумела сказать, но то, что это случится, верила и знала.

Прошло еще несколько дней, которые были похожи на прежние. Они так же бегали по утрам, затем расчищали дорожки, потом Емельян уезжал по делам хора, работал за письменным столом. Раз в неделю ездил в Москву, но она уже не испытывала желания прокатиться вместе с ним, ей хотелось побыть дома.

Она охотно его прибирала, наводила порядок, что-то вносила свое. Верхнюю спальню, что была ее комнатой, переоборудовали в общую комнату, оставив, конечно, кресло у окна.

И вот однажды, когда Емельян отправился в город по делам и за покупками и она осталась одна, неожиданно услышала шорох. Не тот, что издает Блюз, а звук новый, не похожий на прежние. Она оглянулась, но никого не увидела. И вдруг внезапно услышала голос: « Все-таки еще раз нам суждено встретиться. Наверное, последний». Она резко повернулась снова и тут увидела идущего на нее того, другого Александра. Который умер еще в рассказах Аристотеля и который говорил с ним уже даже после своей смерти. И все же это был он. В каких-то неприбранных коричневатого цвета одеждах, в руке — нечто вроде свертка или папируса. Был он очень утомлен, даже измучен и все не мог приступить к тому, что в действительности привело его в этот дом.

— Ты не бойся, я не сделаю тебе ничего страшного. Я так много в своей жизни совершал нужных и ненужных убийств, что мне не до них. Я пришел с другой целью. Да и времени у меня совсем в обрез.

— Я...я даже не знаю, что сказать. Что вы хотели?

— Я хотел предупредить тебя. Вы, сегодняшние, очень полагаетесь на аналогии. Был таким: плохим, хорошим... Был — надо сказать — сложным и противоречивым. Кто-нибудь из вас видел это? Я любил свою мать. Не как царь Эдип, без этих, без комплексов. Я просто боготворил ее. И был у меня друг, который погиб за год до моей смерти. Но очень похоже. Подозрительно похоже. И самое главное, что был у меня учитель, которого приставил ко мне не верящий ни в бога, ни в дьявола отец, по имени Филипп. Самое лучшее время, которое было в моей жизни, — это годы с Аристотелем в роцце Миезы. Он привил мне любовь к Гомеру, к «Илиаде». Она вся исчеркана была моими и его замечаниями. Я знал Еврипида почти наизусть.

**Смертные, это безумье,  
Что острой лишь медью копейной  
Доблесть добыть сердцем горите вы  
Или предела страданьям  
Не будет для смертного рода?  
Если кровавым лишь боем решать  
Споры будем, они не умолкнут.**

Однако я всегда пренебрегал этими советами. И заплатил. Я вызнал так много к своим небольшим годам, что не сумел израсходовать планомерно и по достоинству все то, что мне досталось. Я был слишком неистов. И еще. То высокомерие, что вело меня, та непреклонная упрямая убежденность, что есть только я, а все остальные — так, ничего особенного, во многом тоже стубила меня. Я не поверил себе, но подчинился почему-то своим друзьям, из которых большинство были недруги.

Верил Аристотелю, который сочинил «Гимн добродетели», но и он же уверял, что варвары — рабы по природе, что с греками надо вести себя как с друзьями и родственниками, а с варварами поступать как с животными и даже растениями. Вот и пойми этих мудрецов!

— Ничего нового я не услышала. Подобное говорили и Демосфен, и Исократ.

— Верно. Да и сам Аристотель не был так кристально чист, как потом его представили в веках. Но он говорил о двух главных вещах и вы их запомните. Первая — непобедимость, вторая — непреклонное желание добиться цели. И еще — уверенность в собственной исключительной судьбе.

— Зачем вы говорите все это мне?

— А вот для чего. С вами незаурядный человек. Его поймут не сразу. Может, и не при жизни. Может, и бедствовать будете. Но знайте, он идет вслед за Аристотелем в своем понимании построения и гармонии мира. И вы — его ангел, его муза, его очаг, да что хоти-

те. А главная, самая, быть может, главная причина в том, что вы — мой Гефестион, только живший в другой эре. Вы — его потомок, его наследница, его прообраз. А ваш избранник — даже и не знаю, из какого он мира. Пусть это так и останется загадкой. Не предайте его. Он на том самом пути, с которого не сворачивают.

— Скажите, а с Аристотелем вы больше не виделись?

— Нет. Но, думаю, это еще не финал истории. Все может быть. И вы, может быть, тоже что-то еще прослышите. Пока — прощайте.

Он исчез так же внезапно, как и появился, и только шорох и тень выдали присутствие здесь человека, который был и растворился столь же незаметно, как и оказался здесь.

Ильзе не знала, что и думать. Рассказывать или нет Емельяну? А, может, пусть это так и останется ее историей, ее сказкой, мечтой, запредельным попаданием в какое-то иное измерение, мир, где действуют совсем иные законы. Да и действуют ли?

Она поднялась на второй этаж, присела к окну, это стало уже любимым ее местом и стала думать. Она размышляла о том, что всё, оказываеся, и вправду связано: прошлое и настоящее, предки и их следующие поколения. Даже черты характера, пороки и достоинства тоже могут перетекать и передаваться через время. Но какое она, женщина, может иметь отношение к далекому своему предшественнику, воину, любимшему выпить, побалагурить, идти на рискованные шаги и поступки? Быть настоящим другом, преданным Александру? Наверное, всего две вещи. Она тоже имела такую же черту, как преданность. Но — не была, естественно, воином и выпивохой, однако страсть к непознанному, следование этим путем, стремление вслушиваться в чужую судьбу — что ж, этим ее небеса наградили сполна. Но главное, пожалуй, заключалось в том необъяснимом, что составляло обаяние и аромат самой натуры. И в ней это было, как было и в пылком юноше Гефестиионе. Маленькие черточки, которые,

пересекаясь, все равно находят общие точки соприкосновения, попадания.

Вот и тот, главный Александр. Разве нет в нем знакомых черт, которые проступают в питерском господине, напыщенном и идущим сквозь все преграды? Надо же, о своем опыте любовном, которое не имело отношение к семейным его отношениям он, однако, не рассказал. Умолчание, уход в себя — для обоих характерная черта. Но размах и страсть побеждать Македонского, конечно, не могла сравниться ни с чем. Он был столь неистов, для него не существовало авторитетов, он один, только он во всей вселенной знал, что нужно и как нужно. И — побеждал!!! Недаром всю жизнь он сравнивал себя с Ахиллом, героем, описанным Гомером. Уже после кончины, в разговоре с Аристотелем он вспоминал строки из «Илиады», звучащие предупреждением: «Но приближается день твой последний». И еще: «Должен он... от немощи тяжелой в оконечности в отеческом доме скончаться». Гефестион умер, несмотря на все молитвы и жертвоприношения Александра. Он, как и теперь Александр, тоже являлся к нему из загробного мира, нравилось это тому или нет. Напоминал ли он Александру о днях юности, проведенных в роще возле Миезы, расположенной к югу от Пеллы, новой столицы Македонии? То было особое время, время приготовлений, когда Александр впервые ощутил в себе бессмертные устремления — непоколебимое желание стать таким, как его любимый герой Ахилл.

Словом, закольцованность и перетекаемость жизненных процессов совершенно очевидна и без знания даже евклидовой геометрии, пифагоровых законов или построения мира через гармонию Аристотеля. И все это есть, работает и по сей день, и до сих пор движет не одними лишь светилами, но людьми, их отношениями. Их любовью и ненавистью, спасительной привязанностью и всепобеждающей силой прощения или — горе — мстостью и непрощением. Ну, а что любовь? Просто слово, термин, чувство, которое, как кажется, извест-



но всем? Или это повод жить иначе, иначе, чем жил ДО любви: созидательно и бескорыстно? Что? — трудно сказать, да и вряд ли это чувство нуждается в определениях. Оно есть, безусловно, есть и — слава Богу.

И она жила в последние месяцы так, как не жила никогда. Ей все было важно в этом человеке: его продвижение в своих идеях, которые она стремилась постигать, когда он уезжал на работу и сидела и вчитывалась в хитроумные сплетения чисел, ритмов, звуков и цветов. Ей тоже хотелось проникнуть в тот мир, который был дорог Емельяну. Она понимала, что образование многое не позволяет, тормозит. Но шла к пониманию через собственные ассоциации, через аналогии и примеры своей жизни.

Но не только проникновение в его научные интересы стало составлять предмет ее заботы и интереса. Она стала замечать, что частенько из города он стал привозить ей книги по медицине, которые она просматривала и, к своему удивлению, находила тоже некие точки сопряжения. Они касались не ритмов и цвета, но тоже вещей отчасти ирреальных. Таких, например, как душа человека. Как вибрирует она, или нечто схожее с ней, но не одни лишь кровеносные сосуды, трепетание сердечной мышцы и прочее движение органов. Нет, что-то там не так просто происходит, не все так безупречно ясно и подвластно анализу. Что-то посреди операции вдруг возьмет и так всколыхнет и так встревожит, что анатомические подробности лежащего существа начинают меркнуть перед тем загадочным и непонятным, что видно становится при расхристанном напрочь теле, когда его раскрыли так, что не осталось, кажется, никаких тайн. Но вряд ли! Тайна, она только в тот момент и начинается, когда бездыханное почти и беспомощное, оно начинает управлять своими потрошителями и спасителями. Оно — главное и оно это ощущает. И там она не раз видела некое свечение, которому то придавала значение, то просто отмахивалась от него, но оно было, это точно. Что это? — светилась душа или элементарный отблеск ламп сотворял

свое обыденное дело? А тот то ли призрак, то ли и вправду повисшая тень человеческого тела в операционной еще осенью? Ей казалось, что, как обычно, это заметила она одна, а оказалось иначе: и другие увидели то же самое. Стало быть, есть нечто такое, что не только тревожит душу, но насыщает процесс проникновения в человека еще более тонким и почти непостижимым знанием. Мы знаем, где применить зажим, когда понадобится скальпель и тампон, но бессильны перед непредсказуемостью тела, которое так порой повернет, что никакой логикой не уловишь всей последовательности происходящего.

И постепенно, изо дня в день, проникаясь идеями и сверхфантазиями Емельяна, она совершала поход и по своим профессиональным путям и тропам. И там находила такие точки, такие общие мотивы, что становилось страшно: как в жизни не только все переплетено и замешано одно на другом, но имеет определенную циклическую зависимость, причинно-следственную обоснованность и закономерность! И это никакая не эклектика, так оно и есть, и было, и — скорей всего — так будет! В этом «будет» скрывался весьма обнадеживающий смысл. Это говорило, как минимум, о двух простых вещах. Что мир вечен и будет всегда, и что следует искать и устанавливать такие сложные, такие парадоксальные зависимости и ходы, которые одни и способны подчеркнуть всю стройную незыблемость его, вместе с его колебаниями, его вечно устремленными в будущее нейтринами и прочими крошечными частицами, увидеть и потрогать которые невозможно, но которые существуют и вносят удивительно оптимистическую ноту в понимание мироздания. Значит, не только то, что видно глазу, что слышно, что имеет запах есть доказательство незыблемости мира. Нет, и в невидимых частицах, которые совершают и совершают свое праведное дело, заключен не менее значимый и глубокий смысл. Он один, незримый, но существующий, управляет земными делами.

Она с сожалением подумала, что там, в городе, в престижном медицинском учреждении, при работе и уважении она, тем не менее, была чем-то вроде серой мышки. Мышки — работа. Работа — с работы. Редкие встречи с редкими поклонниками, кошка, чтение — все! И так живет большинство. Но можно, можно, конечно, на все глянуть иначе: у нее прекрасная работа, ее ценят и любят, с ней считаются, каждый день наполнен борьбой за жизнь человека, смыслом. И то, и другое — правда. Чего больше в твоей душе — вот в чем вопрос. Дожить до тридцати с хвостиком и не иметь полноценной семьи, налаженного быта, ежедневного обеда. Вот и жила — прав дядя Костя был — в полножки, как-то неглубоко, как мелкая рыбёшка. Все на поверхности. Где-то она слышала или читала в толстом журнале (и такие она покупала, как же, интеллигентия!), что нынешний герой — это сёрфинг — герой, то есть, плавающий по поверхности, решающий так же легко, не погружаясь в глубину и суть свои проблемы, словом, нечто среднее между рыбкой и пловцом.

А ведь точно! Где теперь сильный, благородный, с шиллеровскими страстями, с роستانовской иронией, с чеховской истомленностью по любви — герой? Нет такого. Нет, да и быть не может: время, его пожрало и выплюнуло время. Остался остов, легкое напоминание о нем в виде плавущей рыбки. Или хищника-рыбы, которая грызет, сжирает, кусается, не щадя и не сопе-реживая. Такой тоже в ходу.

И вот она. А она встречает лесного человека, внешне ничем не примечательного, однако с таким внутренним стержнем, что никакой рыбке не снилось. И место попало ей то, что надо. Еще есть время, чтобы окреп, вызрел характер, воля, обновились чувства. А Емельян ей в этом только в помощь. Нет, не идиллия, а долгое и многотрудное преодоление своих слабостей и привычек, умение потворствовать себе и накопление разлада в самом себе. Отсюда — всевозможные депрессухи, апатия, отсутствие друзей и просто отсутствие интереса к жизни.

Она встала, заглянула в окно и поняла, что зима не только отступает, но даже начала свирепствовать в этом своем нежелании сдавать права. Ей все казалось — мало, мало набедокурила, наследила, наломала веток, мало засыпала путей и дорог, мало застудила и просто запугала нерадивых граждан. Ах, ей всего было мало! Какая же она все же ненасытная! И чего беснуется? Апрель уже наступил, первые числа, а она все держится, не уходит. Да и правда, подустали они от нее, скорей бы засветила весна!

Зазвонил телефон и она услышала голос Емельяна.

— Не возражаешь, если заеду сегодня со своими друзьями, помнишь, свидетелями нашими в ЗАГСе?

— Заезжай, конечно. Только что приготовить?

— А ничего особенного. Напитки, в смысле компотов, отваров у нас есть, а мясо или что поесть мы привезем.

И тут снова она начала волноваться. Как примет, что подаст, в чем будет сама? Вот ведь неистребимая провинция! Нет бы, обрадоваться, да и все, как никак — выход в люди, в свет, так сказать.

Она стала накрывать на стол, расставлять приборы, достала запасы разнообразных отваров, которые научил ее варить Емельян и пошла прихорашиваться. И все смотрела время от времени на дорогу, по которой он обычно ездил. Машины было две, а когда они въехали во двор, то мужчины замешкались, наклонились куда-то внутрь салона и стали присвистывать. Наконец все разъяснилось. Из машины выпрыгнула собака довольно внушительных размеров. Породы было не разобрать, но Ильзе сразу почувствовала, что собака не злая. То ли овчарка, то ли лаечка — трудно определить было, поскольку уже стемнело. Мужчины шумно вошли в дом, стали отряхиваться, смеяться и Емельян, увидев Ильзе, тут же обнял ее и сказал: «Вот, помнишь наших посаженных отцов? Прибыли наконец, в полном здравии и не одни. Наверное, видела в окно? Это их подарок нам. Говорят, живете в глуши, так хоть

пес вас тут пусть охраняет. Выходи, посмотришь, какой красавец!»

Ильзе набросила полушубок и вышла на крыльцо. К ней тут же подошел пес, крутя хвостом и всячески демонстрируя свою готовность любить, жить в мире и согласии. Оказалось, что это какая-то сложная помесь кого-то с кем-то, но ребята сказали, что он очень умный и не доставляет хлопот. Просто член семьи!

Принесли гости много продуктов, разложили, стали мыть, пошли во двор, чтобы сделать мясо. Замамино оно было заранее, а шашлык делать недолго. Стоял приятный гомон, шум, Ильзе тоже была рада неожиданному приходу гостей. Затем решили тепло одеться и все же первые порции съесть во дворе, на фоне елок и самой природы. Емельян был главным поваром, все поддувал, размахивал какой-то жестяной. И откуда у него все было припасено, Ильзе так и не знала. Но — было! Открыли вино и выпили за чудную ночь. «Не дойти бы нам, чтобы под свет луны, как у классика», — сказал Станислав и все смеялись и чокались. Шашлык удался, а зима, словно почувствовав свою уже ненужность, ослабила поводья, то есть холода стало поменьше, хотя все еще пробирал, и тогда все чокнулись и выпили за наступление весны, которой от роду уже было ровно пять дней. Балагурили, шутили, а потом на полном серьезе спросили, не скучно ли им здесь, в такой-то глуши? Но тут же и перебили себя: «Емельяну? Да ни за что в жизни! Его хоть в каменный застенок засади, он найдет дело и найдет применение себе. Мужик он у нас деловой», — заключил Игорь. Стали говорить, что в городе уже давно пахнет весной и нет таких выраженных признаков неотступающей зимы.

— В городе все вообще иначе. Иные привычки, традиции, способ общения. Там, а не здесь глушь и почти что болото. Здесь — рай, — подытожил Станислав.

— Вот и последуйте нашему примеру, — возразил Емельян. — Как скажешь, Ильзе?

— Скажу, что в Москве ты полностью растворен и раздавлен. Здесь начинается возрождение.

— Точно, за возрождение, — вскричали гости и чокнулись.

— А вообще-то подумайте об этом серьезно. Можно и работу сместить на несколько километров. Ничего страшного.

— Но, Емельян, мы же не такие талантливые, не пишем, не поем, все больше считаем и подсчитываем. Но честно — честно очень заманчиво.

— И жен ваших уговорите. Пусть не так далеко, и не коттедж какой-то там, а настоящее житье-бытье. Всерьез, понимаете? Все надо делать всерьез!

— Согласен, — сказал Игорь, но пока держит работа и никуда от этого не уйти.

— Не работа вас держит, а инерция, привычка. Все можно поменять. Были бы ценности.

Это прозвучало несколько двусмысленно и все засмеялись, сказав, что по части ценностей никаких проблем: ценности отсутствуют.

— Будет вам, — сказал хозяин и приобнял Ильзе. — Жить надо легко и свободно. И в этом нет никакой большой премудрости.

— Тебе, Емельяша, уже проповеди пора читать. Прославишься.

— Посмотрим, может, и это будет.

— Ильзе, а вы как, не завянете здесь?

— Я, пожалуй, больше в городе увядала. Лес спасал. Гуляла там часто.

— Что, рядом с домом?

— Да, именно. Одно утешение и было. Кого там только не встретишь!

— И кого же вы встречали, леших?

— Отчего же леших? И людей, и нелюдей, разное было.

— Она и меня в лесу нашла, — добавил Емельян.

— Ну, тогда все понятно, вам сам бог велел здесь обосноваться. Живите. А мы поучимся.

Легкий и непринужденный этот разговор вдруг пре-

рвался странным звуком, похожим на выстрел. Мужчины сразу сообразили, что это за звук. Прислушались, звук повторился, тогда они, не сговариваясь, завели машину Станислав, махнули Ильзе и выехали за ворота. Она осталась одна.

Когда она вошла во двор к ней тут же подбежал их новый член семьи. Она потрепала его за шею и спросила, как бы его называть. А? И сразу вспомнила, что живет почти на стыке сказки, что вокруг лес и что, пожалуй, авторы самых главных детских сказок вполне подойдут. «Ты будешь Grimm, были такие братья, но ты хоть и без родственника, но все равно — Grimm. Согласен?» Пес твякнул и вопрос был решен.

Очень скоро машина вернулась назад с Емельяном и Станиславом. Они рассказали, что к соседям накануне приехала дочка Наташа и что раньше положенного у нее начались роды. В доме только отец. Все, что он мог придумать, — пальнуть ружьем. Соседи и отозвались. «Так что, собирайся, поехали», — сказал Емельян и Ильзе засобиравалась. Взяла все необходимое, спросила, есть ли в доме вода, а то, может, сгонять в магазин за балонами? Но ей ответили, что есть и что вообще в доме очень чисто и они, мужчины, велели приготовить пока много белья.

Поехали. Когда Ильзе увидела роженицу, весь запал радости от встречи с друзьями испарился мгновенно: девочка была хрупкая, таз узкий и вся она напоминала осколочек лунной ночи: так была бледна. Ильзе приступила к действиям. Измерила давление, оно было в норме, спросила, есть ли карта, та тоже находилась при девочке и увидела, что головка уже показалась. Она, только пару раз принимавшая роды и то, по случаю крайнего стечения обстоятельств, действовала решительно и уверенно. Там, в поле, где случилось рожать их сотруднице в первый раз, она и получила свое крещение. Память пальцев, воспоминание все й последовательности действий в экстремальных условиях взяли свое и она нисколько не растерялась. Говорила, что делать, как дышать, на сколько задерживать дыхание,

как тужиться. И — о, чудо! — ребенок показался, шел правильно, головкой и через несколько минут все было закончено: малыш, девочка появилась на свет! Не было даже разрывов, вот тебе и узкий с виду таз. Не было особенной кровопотери. И давление никуда не отклонялось. Единственное, что беспокоило, это, конечно, слабость, мамыши. Ильзе выгатила послед, обработала ребенка, благо, белого, чистейшего белья было предостаточно. Спросила, а весов у вас, случайно нет? Отозвался отец, который все ходил около двери и понял, что все завершено. Он и не вошел, а только деликатно заглянул в комнату. «Есть, матушка, есть, наша спасительница», — и побежал куда-то. Когда он принес весы, все покатались со смеху. На таких обычно взвешивают скот. Но хозяин дома уверял, что весы скрупулезные (так и сказал) и что малейший оттенок чувствуют. Постелили одеяло, примерились с весом, потом положили ребеночка. Надо же, такая тонюсенькая, а ничего себе, родила 3400. И длину сумели измерить — 51 см. Все было в норме!

Теперь, — сказала Ильзе, — надо вызывать врачей, чтобы увозили в больницу, это необходимо. Хозяин, правда, неохотно на это дело отреагировал и спросил, может, лучше дома? — Сейчас дома, но завтра, вернее, сегодня уже к утру — в больницу. Там и прививки, и стерильность и все остальное.

Видно было, что отцу, вернее, новоиспеченному деду очень не хотелось никаких больниц, но докторша требовала и надо было подчиняться.

А хлопот было много. Стали сооружать что-то вроде люльки, мужчины помогали, а хозяин спешил собрать на стол все свои разносолы и припасы. Но, прежде чем сесть, он поманил рукой всех на улицу, взялся за ружье, видно тот еще проказник был, и пальнул. «За нашу Наташку, за новорожденную! Ура-а-а!» Все присоединились и стали спрашивать, приготовили ли имя для ребеночка. «Да, — гордо сказал дед, — будет наречена Дуняшей. А по отчеству Фроловной. Вот так — Евдокия Фроловна, не хухры-мухры». Все выпили за

Наташку еще раз, за дочь ее Дуняшу, за доктора Ильзе, за весь чудесный белый свет.

Стали прощаться. Ильзе еще раз строго сказала, чтобы не медлили с больницей. Спросила даже, есть ли телефон и что лучше они сами вызовут и правильно все объяснят. Дед был счастлив!

Друзья довели молодых до их дома, распрощались и отбыли. Гримм ждал на улице и решено было завести его в дом, с непривычки он мог и замерзнуть. И не оборудовано еще не было жильё для него.

Спать не хотелось, оба были перевозбуждены и Емельян сел к роялю. Заиграл какую-то композицию, очень похожую на звуки Скрябина, но не в его чистейшей манере, а с примесью джазовых интонаций. Что-то очень волнующее и вместе с тем ритмическое. Ильзе поднялась, сделала несколько па, вспомнила, как последний раз танцевала перед Новым годом на работе у себя и дух ее захватило. Она слегка пританцовывала, а сама подпевала себе тоже довольно странными словами.

**Тандю — батман —  
И — раз, и — два,  
Прощай, туман.  
И — раз, и — два,  
Монблан, плие,  
И — раз. И — два.  
Ах, как кружится голова.  
Раз-два, раз-два.  
И — раз, и — два,  
Поэт, привет,  
И — раз, и — два.  
Готовь ответ,  
И — раз, и — два,  
Плезир, мой сир,  
И — раз, и — два,  
Ну, как эфир,  
Почем молва?**

**Готовь обед,  
И — раз, и — два,  
И дай обет  
О том, что та,  
Что вечно путает слова.  
И все слагает два и два,  
Должна навек лишиться сна.  
Та-та-та-та,  
Та-та-та-та.  
Ах, да, пропал туман,  
И мне едва  
Взамен и лета, и тепла  
Все еле слышатся слова,  
Что жизнь прекрасно была.  
Она прошла,  
И ты ушла,  
И я вникаю в дважды два.  
Что бесконечно и до тла  
Сожгло меня.  
Раз-два, раз — два  
И я станцую все сполна,  
И выпью море слез до дна,  
Лишь только б в танце ты была.  
И знаменитое «раз — два»  
Смогла оттачивать всегда.  
Но свет погас, настала мгла,  
Теперь услышишь ты едва  
Любимое тобой раз-два.  
Тандю-батман, и раз, и — два,  
Горит свеча едва-едва.  
И вспоминаю я слова.**



**Без тени зла,  
В объятьях сна.  
И все ж кружится голова.  
Раз-два, раз-два,  
Раз-два, раз-два**

Где-то в середине ее танца он оставил рояль, подошел к ней, обнял ее и так, без музыки, но в определенный такт, ею установленный, они медленно переступали, кружась и обнимая друг друга...

Утром она проснулась от того, что что-то влажное коснулось ее руки. Она открыла глаза и вспомнила, что теперь они не одни и у них поселился пес. «А ты знаешь, как я его назвала?» — «Нет. Как?» — «Гримм. Он сказочный, правда. Ты согласен?» — «Сударыня, как скажете, Гримм, так Гримм. Он есть хочет. Пойду».

Оба ждали, какотреагирует Блюз на появление нового жильца. Сначала кот начал рычать, увидев необычное существо на своей территории, затем аккуратно, медленно приблизился, ну, а когда поставили миски и положили еду — каждому свою — он вполне успокоился и только изредка посматривал, как уплетает, чавкая, свою порцию огромный пес. Нет, Блюз был более воспитан и не позволял себе подобных хрюканий. Но после завтрака, когда он понял, что никакая опасность ему не угрожает, он прилег возле собаки и позволил полизать себя. Нрав у Гримма был явно получше, нежели у избалованного котяры. Но про себя он решил, что непременно обломает этого забияку. И прежде всего — нежностью. Ну, иногда и строгостью можно. Это ж воспитательный процесс, как никак!

Пасха в этом году, 2004-ом, была ранняя — 11 апреля, и весь месяц было очень холодно. Емельян работал помногу дома, потом ехал в храм к своим братьям по хору. Много репетировал и все ждали приезда важного лица из Москвы. Относились к Емельяну хорошо, все не только ждали буквально занятий, но и его многочисленные рассказы о строении космоса, о связи

чисел и ритмов. Он охотно рассказывал, а потом даже находки, которые извлекал из своих рассказов, бежал и вставлял в книгу.

Ильзе начала осваивать новую для себя вещь: не просто экстремальную хирургию, которой в этих местах ей приходилось заниматься все чаще и чаще, но еще и устанавливать связь с лунными приливами и отливами, способностью к заживлению в этот период. Она много занималась и незаметно стала рождаться статья. Емельян, видя творчество своей дорогой зеленой веточки, как он часто называл Ильзе, взялся ей помочь и похлопотать в престижном журнале о выходе статьи. Так что, не одними прогулками и песнями с танцами жили эти двое, но очень плодотворно занимались творчеством, пусть каждый в своей области, но все же — творчеством. А это — спасение от многих душевных хворей и недугов. Оба испытали на себе живительную силу рождающейся мысли, образа, размышления, которое, обрамляясь в нечто оформленное и объемное, превращается в твой взгляд на вещи. На мир, в конце концов.

И еще она писала стихи, но не придавала им важного значения. Однако Емельяну многие ее опусы нравились и он однажды сказал, что она создает свой не только мир профессии, населенный хирургическими страстями, но мир, для которого совсем не важна твердая земля под ногами. Он в ней просто не нуждается. А родовая черта поэзии — жить собой, создавать миры, не нуждаясь ни в чьих оценках и даже ни в чьем признании. Это такая запредельная область человеческого знания или не-знания, которая насквозь ирреальна и иррациональна. Что-то охватывает тебя в некий момент и не нужен письменный стол, прочие атрибуты удобства, ты сидишь, стоишь — неважно — и пишешь. И в этом — огромное освобождение и познание одновременно. Часто можно потом и не узнать, твои ли это взаправду стихи или чьи-то. Процесс сиюминутного творчества, описанный множество раз и лучше всего и непревзойденнее Пушкиным, все равно нуждается в

собственном осмыслении и собственной точке зрения. Своей, самостоятельной опоре.

И Ильзе писала, порой невзирая на обстоятельства, которые, казалось, никак не соответствовали прямому порыву творчества. Нечто необъяснимое шло из груди, выгалкивалось наружу, как тот ребенок, которого она приняла недавно, — и все, и ничего с этим поделаться было нельзя. Ей хотелось писать в машине, на ступеньках у крыльца, на подоконнике — уже любимое в этом доме место — но только не на специально убранном чистом столе, где все готово вроде к полету мыслей. Но — нет! Не все так просто! Полет не возникает по указочке, по взмаху даже самой волшебной палочки. Он настигает тебя порой в самый неподходящий момент, которого ты и не ждешь, кажется, и застает тебя врасплох. Врасплох! — вот что самое главное. Какие-то там ассоциации роятся, дремлют; наконец, им становится тесно и вот, бегут тогда наружу и обнаруживают себя в прихотливом клубке вихрей чувств и чего-то такого непонятного, что объяснить логикой и здравым смыслом невозможно. Это — роды. Но не мучительные и болезненные, а куда ж без болезненных-то, но все же роды. И главное в них — появление живого существа, дышащего и трепещущего. Оно и есть стихотворение.

Сегодня она особенно жадно ждала приезда своего мужа. Он отлучился ненадолго и должен был вот-вот быть. Дело в том, что накануне посвятили куличи, были в церкви, а сегодня, в особенный день они решили снова пойти в церковь. Обоим хотелось послушать и хор, и само торжество, и увидеть люлей, которые ликуют по поводу Рождества Христова.

Наконец появился Емельян и они сразу отправились в храм. Народу было много, поскольку прибывали и из других деревень, и из соседнего даже городка. Церковь эту любили и часто ехали именно сюда, потому что было в ней нечто особенное: и в ее куполах, и в самом внутреннем убранстве, и в особой ауре, которую не заметить, не ощутить было невозможно. И был

еще отец Михаил, который тоже нравился прихожанам. Он был еще достаточно молод, и, наверное, поэтому вел себя не так смиренно и формально. Бывало, и запоет на крестинах, и в гости зайдет к кому-нибудь, кто попросит. Петь очень любил и делал это замечательно. Потому и поддерживал все хлопоты, связанные с хором. Благосклонно относился к его репетициям, сам принимал в них участие.

И вот сегодня впервые Ильзе услышала, как поет хор, который подготовил ее муж и в котором пел и сам. Ничего подобного она не слышала. Это было не то хоровое пение, с которым она была знакома, бывая в филармонии, в консерватории. В исполнении этих людей слышалась совершенно иная интонация. Не просто обусловленная особенностью церковного пения, но сдержанная и глубокая. Сам общий голос звучал так призывно и вместе с тем отрешенно, словно с людьми говорили не такие же люди, а сами небеса зывали к стоящим и молящимся.

Емельян познакомил Ильзе с батюшкой и неожиданно для нее сказал, что они хотят венчаться. И лучше бы на Красную Горку. Отец Михаил рассмеялся, приобнял за плечи женщину и сказал: «Милости просим. Готовьтесь. Хор вас поддержит. А главное — и он посмотрел вверх — чтобы воля божья была и благословение. Так и будет. Приходите».

Когда Ильзе с Емельяном вышли из церкви и пошли по дороге, поскольку машину оставили довольно далеко, то ей неожиданно захотелось остановиться около одного куста, который еще и не зацвел, конечно, и был гол. Одни веточки торчали в разные стороны. И вдруг Ильзе почувствовала необычный запах: пахло малиной, хотя никаких признаков даже ее появления и в помине не было. И она вспомнила. Она вспомнила Зинку, которая в больнице пару раз жаловалась на этот преследующий ее запах. И все тогда отчетливо поняли причину такого странного обоняния. Что говорить, и Ильзе вдруг начала догадываться, отчего это вдруг ни с того, ни с сего неожиданно

запахло малиной. Ягод не было, один лишь терпкий запах бил в нос, становился таким назойливым, что закружилась голова. Ее подхватил Емельян и спросил, что с ней.

Придя в себя, она улыбнулась и просто ответила, что почему-то запахло малиной. И что у нее закружилась голова. Емельян помолчал, покрепче обнял жену и почему-то перекрестился. «Слава богу», — отчего-то снова сказал он и она поняла, что за мысли одолевают его.

Шли медленно и когда добрались до машины, все стало на свои места, Ильзе была в полном порядке. Однако сомнение посетило ее, более того, она поняла, что и у Емельяна возникла та же догадка, что коснулась и ее. Но — она решила положиться на время и... да мало ли, отчего вдруг в апреле пахнет малиной?!

Но последующие события, а главное — состояние Ильзе все более убеждало ее в правоте той апрельской догадки. Все, как и положено: с утра не хотелось есть, а только тошнило, изменились запахи, вкусовые пристрастия. Словом, в какой-то момент сомнения почти оставили ее и она решила, что, может, и нужно показаться врачу.

Однажды утром, наблюдая за женой, Емельян предложил отвезти ее в город и там показать доктору. Она, скорей всего, и отказалась бы, но мысли о не совсем здоровом сердце подтолкнули ее к необходимости такого визита.

Оказывается, Емельян уже заранее выбрал центр с многопрофильной медицинской помощью и повез Ильзе туда. Доктор был мужчина, в возрасте, с окладистой бородкой, малоразговорчив и что самое удивительное — весьма деликатен. В этой-то профессии?!

— Ну что ж, как говорят в таких случаях, вас можно поздравить. Сами-то рады?

— А что? Правда?

— Конечно, вне всяких сомнений, 7 недель точно. Теперь анализы и все по форме. За сегодня многое успеете.

— Мне бы к кардиологу.

— Что, проблемы?

— Да, порок у меня.

— Ну, во-первых, не тот, с которым противопоказано рожать, это и по вас видно. Нет отеков. Цвет лица тоже кое-что значит, да и еще некоторые нюансы. А направление — пожалуйста. Потом снова покажитесь. Лучше, если через неделю, посмотрим анализы.

— Доктор, вы вполне уверены?

— Вполне, можете не сомневаться. А с сердцем — что ж, будем беречься. Вам бы в лес, отсюда подальше.

— А я и так из леса, из самой его глубины.

— Вот и славно.

Однако у кардиолога беседа и осмотр не были столь гладкими. Посмотрев Ильзе, сделав кардиограмму и эхограмму, врач с сомнением отреагировала на беременность пациентки. Тем более, назвала еще ее и старородящей. Конечно, для них — 35 — уже возраст. Но Ильзе не сдавалась, сказала, что станет выполнять все предписания и что вместе они победят. «Я же в лесу, а там воздух лечит. Сплошные витамины тебя окружают. Доктор, если что, я сразу к вам». Врач попросила следить за давлением, измерять пульс и вообще... вообще относиться к себе бережно и осторожно.

В машине Ильзе сказала только хорошую часть своего посещения. О сомнениях доктора умолчала.

— Ну что, все правда? — спросил Емельян.

— Конечно, мой дорогой.

— Все будет хорошо?

— А как же иначе? Еще ты меня спрашиваешь!

Поехали. Она даже не стала заглядывать домой, так скорей хотелось на природу, в свой необыкновенный дом. Тем более, что там ее ждали главные его хозяева, Гримм и Блюз. Она ехала, а про себя думала, что какое удивительное совпадение: зима с ее метелями и метаниями осталась почти позади и наступала весна — под стать ее нынешнему состоянию. Она прислушивалась к просыпающейся за окном природе и понимала, что зряшных совпадений быть не может, все

предусмотрено где-то и кем-то свыше. Надо же, именно весной будет самая приятная пора, когда только завязь, только начало соединится с самим началом нового жизненного цикла, когда весна и маленькая пока жизнь в ней станут развиваться, держась почти что за руки.

И вечером того же дня, и много позже она все более пыгливо всматривалась в Емельяна и все пыгалась разглядеть в нем нечто такое, что не нравилось бы, раздражало. Но — не находила. Были у него свеобразные, очень для него только характерные движения, оговорки, слова, но они только прибавляли ему индивидуальности, никак не портили общий облик и впечатление.

Обычно, например, он, когда пыгался на чем-то активно настаивать или что-то защищать, как-то странно приподнимал плечи и делал это движение среди разговора несколько раз. Когда же успокаивался, плечи тоже возвращались к своей привычной линии, не дергались и не ходили туда-сюда. Как он ел, какая у него была походка, немножко бочком, словно он приоткрывал не сильно закрытую дверь — все это было его, его свойство, его характерность и не больше. Она множество раз и слышала, да и сама убеждалась в том, что если не любишь человека, не нравится все в нем. Все раздражает. Это в последний год она стала замечать в себе, когда еще встречалась с Алексеем. Было в его манере говорить и особенно молчать нечто такое, что заводило и постепенно действительно начинало мешать в общении. Паузы он делал обычно неоправданно большие, часто кривил лицо, эти гримасы в особенности доставали ее. Но теперь она понимала, что это просто не было любовью, вот и все. Даже Зинка однажды сказала, что все ей намекают на неопрятность ее жениха, что волосы у него всегда, мол, как немые. «А я и не вижу. Мне так кажется, что блестят и только!», — говорила в восторге от своего возлюбленного Зинка и ее ничуть не смущало, что мо-

жет те, кто говорил это, были и правы. Она этого не видела и этим все было сказано.

В середине апреля, на Красную Горку, они поехали в церковь и тихо, без особых торжеств и помпы повенчались. Был все тот же отец Михаил, который сам в тот день пел и пел прекрасно. Хор, конечно, тоже был, да и сам жених после всего события, таинства венчания присоединился к певшим и долго и замечательно пел. Ильзе стояла внизу и слушала. Слушала и думала, как это неожиданно у нее повернулась жизнь. Еще несколько месяцев назад она и не предполагала, что такое вообще-то возможно и — тем более — с ней. Но не столько даже фактическим переменам они изумлялась, а тому, например, что раскованность и чувство свободы стали более отчетливо ощущаться ею. И это было самое большое завоевание. Она и не знала, чье: ее или Емельяна.

Так она жила, занимаясь домом, хозяйством, иногда писала свою работу по хирургии, благо конкретных примеров накапливалось все больше; а самое главное, что происходило в ее жизни — это новые ощущения, к которым она прислушивалась, которые все более и более становились явными. Так, летом она испуганно схватилась за живот руками: ей показалось, что что-то там не так. Потом успокоилась, вслушалась и поняла: началось шевеление. И с каждым шагочком, с каждым продвижением вперед она все яснее и отчетливее осознавала, что то новое, что вошло в ее жизнь, делает ее насыщенной и ей по-настоящему интересной.

Но как-то, когда шел не такой уж и сильный летний дождь, она почувствовала себя плохо, чего не было все предыдущие месяцы и пришлось ехать в клинику. Хорошо, что было начало дня и врачи оказались на месте. Осмотрели и приговор был единым у всех: надо ложиться на сохранение.

Что ж делать, пришлось слушаться. Первые три недели она только лежала и подниматься было запрещено. Но потом, после многочисленных уколов и абсо-

лютного физического покоя состояние стабилизировалось и ей разрешили гулять. Не подолгу, но все же. Приезжал Емельян, они шли во двор и ходили мимо фонтанов, стояли около них, даже плескались, слышали шум проезжающих электричек и поездов, которые Ильзе всегда любила и о многом говорили. И всегда находились темы, которые волновали обоих, и она все больше понимала смысл и суть того большого труда, которым был занят ее муж. Работа его была почти завершена, оставалось отдать в издательство, где тоже предстояло пройти многотрудный путь: редакторы, корректоры, читки и т.д. Она тоже попросила себе экземпляр и читала, и делала пометки, когда ей становилось непонятно, и на следующий день он подробно и обстоятельно объяснял ей, что означает то или иное понятие, сам ход рассуждений.

Она, например, все больше вникала в его идею о параллельности и — все же — связанности ритмообразующих колебаний, самого цвета, который не сам по себе и с ним тоже все не так просто, а он всегда имеет отношение к той или иной группе цифр, числу, ритмически организованному началу.

Она получила в свое время очень хорошее образование: и школьное, и институтское, и всегда грамотно писала. Поэтому первую редактуру сделала сама. Он иногда, увлекаясь, пропускал буквы, запятые, вылетали какие-то точные обороты, разрушался иной раз смысл. Она терпеливо и тщательно возвращала рукописи ее стройность и ту целостность, которую видел в ней Емельян и которая должна была ей соответствовать.

Ее образование подчас подбрасывало ей и двойственные мысли. О том, например, что вне конфликта и противоречий жизни быть не может. Та идиллия, в которой она пребывала, иногда страшила ее. Но она успокаивала себя простой мыслью: не тем, что они возьмут, да и разрушат извечные законы диалектики, но что в попытке, в самом желании достижения понимания уже таится скрытый конфликт. Он может быть не обозначен, но что он имеется в подтексте, что он

занесен в само их существование помимо их воли, что он — та данность, которая управляет миром и делает его богаче и многограннее, — было неоспоримо. Но это нисколько не пугало ее. Подумаешь, конфликт! Главное, чтобы в глобальках они сходились и не было бы разделения. А за этим дело не станет. Мелочи? — ну кто ж обходится без них? Ничего страшного. Другое дело, что та основа, которая составляла источник их отношений, питающий и увлекательный, была создана. И они не так уж были заняты ее лепкой: все складывалось само собой. А началось еще в тот самый день, когда она повстречала странного человека в своем лесу. Одно так и оставалось непроясненным: кому принадлежал тот женский голос, который несколько раз говорил с ней, то возвещая о чем-то, то предостерегая? Может, это был ее внутренний, свой собственный голос, который хотелось услышать? А, быть может, желание чего-то невероятного, почти чуда так было нестерпимо, его так хотелось, что он взял, да и зазвучал? Кто ж это знает?!

Она часто в своей палате смотрела в окно. Вообще мир из окна, через прорезь двери, просто на открытом пространстве был так заманчив и притягателен, что она и не отказывала себе в удовольствии наслаждаться им и размышлять о нем. Так, например, она со всей отчетливостью заметила, что очертания этого мира, который виден был из всех щелей, закоулков, распахнутых дверей и откровенных пустых площадей, изменились. Как изменились вообще многие вещи и представления о них. Изменилось — самое главное — чувство той необъяснимой свободы, которая не так давно ей и не снилась. Она думала когда-то, что такое чувство недостижимо. Постоянно чего-то опасалась, находилась часто в смятенности чувств, она полагала, что это состояние и есть норма. Но оказалось, пребывание в другом, отнюдь не цивилизованном месте возбуждает такие мысли и ощущения свободы, меняя о ней все известные представления. Она и правда почти не жила, а только выполняла некий круг обязанностей и обязательств.



И делала это превосходно, не нарушая привычного хода вещей. Тогда она не знала, не догадывалась, что существует, другая жизнь, которая предоставляет такие права и свойства, и такие неожиданные ощущения, что все прежнее, пережитое и ранившее достаточно больно, оказывается второстепенным, почти позабытым. У нее проснулись совсем непривычные чувства и потребности. Даже походка стала не такая, как прежде: не летела теперь, не замечая ничего на своем пути, а спокойно и размеренно ходила. Если и погружалась в какое-то размышление и ее донимала какая-то мысль, то она позволяла себе такую роскошь, как додумать ее до конца, до самого доньшка, находя многочисленные ассоциативные ходы, течения и подтексты. Она наслаждалась самим процессом наблюдения и изучения простых вещей. Как разговаривает какая-то пара, мимо которой прежде она просто бы пробежала, не заметив; как, в каком ритме работает какая-нибудь медсестра, которая к середине дня так устает, что может повторно что-то назначить, принести, или наоборот — пропустить. Но в ней и это не вызывало теперь раздражения, а порой она только улыбалась ее забывчивости и сама напоминала ей о чём-то. И такое спокойное, незанудливое напоминание тоже в ответ никого не раздражало. Она стала сознать, что мир не так уж и агрессивен, как ей казалось прежде, когда от него она убегала в свой лес и пряталась там. Что всегда можно найти общий язык даже с теми, с кем раньше вряд ли могла бы договориться.

Может быть, эти ощущения еще только накапливались, были подчас зыбкими и нестойкими, но что очертания наблюдаемого ею мира стали точно иными — в этом она не могла ошибиться. Временами этот мир колебался, становясь каким-то сиреневым и даже фиолетовым и тогда начинала звучать мелодия Скрябина и она въяве понимала сделанное Емельяном: звук, как и цвет не возникает случайно, по прихоти одних ассоциаций, он — сложнее и многограннее.

Однажды вечером, когда влага и жара сплелись

воедино и дышать становилось все трудней, приехал ее муж и они вышли снова в прекрасный сад клиники. Ходили, гуляли и вдруг он спросил: «Ты ведь можешь сказать, как относишься ко мне?» Она сжала сильнее его руку у локтя и подумала, мгновенно подумала, что, наверное, не может без него жить. Просто не может жить. И уже не сможет. И сказала: «Я не смогу без тебя жить. Будь всегда. И только со мной». Она снова не сумела сказать эти вечные слова о любви, но то, что она была в ее душе, сердце, — несомненно. Это было так. Но что-то большее переполняло ее саму и не хотелось говорить именно эту фразу. Она в одно мгновение ощутила, как, впрочем, знала это уже очень давно, что все, что она ощущает, значительно больше того, о чем он хочет услышать. И она снова повторила: «Не могу и никогда не смогу». Больше об этом не говорили, но видно было, что Емельян переполнен такой страстью, что едва сдерживается. Да и сама страсть у них была целомудренная что ли. Такая целомудренная страсть и целомудренная любовь. И роман о них можно было бы назвать «Целомудренный роман о страсти». И написать о ее свойствах, но не как у Пастернака в знаменитом стихотворении, а рассказать роман судьбы, судьбы двух героев.

Она провела в клинике около двух месяцев. Иногда Емельян увозил ее домой, но случалось это крайне редко, всего раза три: не хотели рисковать. И там к ней, конечно же, бросались ее любимцы, которые так скучали, что излизывали ее лицо, руки и даже пытались залезть в волосы, особенно Блюз.

А потом незаметно наступила осень и стали появляться все ее приметы. И пушкинский багровый лес, и совсем современный город с его слякотью и глухой замкнутостью толпы, которая, впрочем, почти всегда одинакова: что зимой, что летом, что в осень.

Вот о загороде, об их глуши такого почему-то не скажешь: слякоть. Там даже непогода проявляла себя как-то иначе, но только не слякотью. Ильзе очень любила эту пору — от начала сентября до самых после-

дних чисел ноября. Дата, которую ей определили в ее медицинских бумагах, рассчитав все сроки, была 27-29 ноября. Она про себя думала даже о том, что хорошо и то, что и зачатие, и рождение, дай Бог, придется на один год. Ей это почему-то очень нравилось.

Все сложности первой половины беременности миновали, чувствовала она себя хорошо, только почему-то часто хотелось мороженого. Емельян смеялся и говорил, что застудит сына. Она не делала УЗИ, хотя в клинике настаивали, естественно, на этом исследовании, но почему-то оба были уверены, что родится непременно сын. И про себя она даже знала, какое имя было бы самым подходящим, но до времени не говорила об этом мужу. «Придет еще пора», — думала Ильзе и молчала.

Когда 12 октября у него случился день рождения, он сказал ей об этом лишь накануне. Раньше он просто говорил: осенью, мол. Но о числе как-то речь не заходила. А тут вечером он и говорит: «Завтра-то у меня, однако, день рождения». Она чуть было не напустилась на него, но так, шутя, конечно. Спросила только, приедут ли его друзья. Но оба решили: потом, что лучше побыть вдвоем, все-таки первый его день рождения вместе!

«У меня даже нет подарка», — сокрушалась Ильзе, но Емельян гладил ее по животу и приговаривал, что подарок — вот он, другого и не надо. Он как-то особенно серьезно относился к предстоящему событию, а, стало быть, и к тому, как чувствует себя Ильзе, ко всем назначениям врачей. Для него акт рождения — был действительно самым значительным событием в жизни и он не скрывал этого.

А ей доставляло удовольствие произносить его емкое необычное имя — Емельян. И делала она это как-то нараспев, внутренне радуясь тому, как оно звучит.

Внезапно он остановил ее, смущенно посмотрел и сказал, что у него как раз и есть для нее сюрпиз. Только пусть не смеется над ним. Потому что он — вообще-то музыкант, а стихи у них пишет Ильзе. Но и его очередь пришла. Он заглянул в ее лицо, еще помедлил, а потом прочитал.

**И мир рассыпется кусочками осколков,  
Напастями страстей, обугленностью снов,  
Расстает тьма и медленно и колко  
Заворожит зима в священнодействе снов.**

**И я пойму, что выиграл наудачу  
Такие чудеса в сверканье позолот,  
Что потеряю сон и горько лишь заплачу,  
И, может, отыщу к тебе плывущий плот.  
Соединю мосты обвальных наслоений,  
Прорежу заросли запущенных полей,  
Предвосхищу судьбу грядущих поколений,  
Росу, как собранные слезы — не пролей.**

**И не томись прддверием разлуки,  
И не храни былого дня запрет.  
Я в нежности твои целую руки  
И приношу себя как истины обет.**

Он замолчал и стало тихо-тихо, и было понятно, что Ильзе не спешит что-либо говорить, так как сама в смятении. «Приношу себя...» — это очень щедро. Она обняла его и сказала, что когда-нибудь они издадут одну совместную книгу, где будет и слово, и музыка. Он согласился.

Осень была, как и удивившая в этом году зима, на редкость щедро на хорошую погоду. Дождей почти не было и только с каждым днем все более меняющие цвет деревья словно напоминали о том, что время не стоит на месте. Действительно, каждый почти день приносил новые оттенки красок, Ильзе отмечала особенно понравившиеся ей деревья, или те, которые выделялись и хорошо были видны из окон дома, напоминала на текущий день их состояние, окраску, даже трепетанье листвы, а уже на другой буквально могла сравнить, что произошло за сутки всего лишь: как ме-

нялся цвет листьев, сама нежность дерева, как постепенно оно все более утрачивало свое прелестное одеяние и наконец, к концу октября — совершенно невиданное дело — оказалось почти обнаженным. Но это те деревья, которые всякий год обновляют свою листву. Однако были и такие, и их было большинство, которые стояли так, словно никакая осень не властна над ними, так они были устойчивы и хороши в своих несменяемых зеленых одеждах.

Она вспоминала прошедшую зиму с обилием событий и перемен в ее жизни. А теперь смотрела и впитывала в себя новое время года, которое контрастировало с зимним периодом своим необыкновенным спокойствием, невозмутимостью и уверенностью.

В доме почти все время звучала музыка. Блюз, конечно, давно привык к классике и воспринимал ее спокойно, даже замирал иногда, лежа на своем любимом кресле. Но Гримм не сразу воспринял такое необычное для себя дело. Он, когда бывал в доме, а не во дворе, и когда Ильзе включала музыку, напрягался, но через некоторое время даже начинал подпевать или точнее, подвывать звукам. Синхронности не получалось, зато возникал неравный союз живых существ, ибо для Ильзе музыка виделась вполне живой и даже дышащей, где побеждали все-таки нежнейшие и щемящие виолончельные звуки.

Постепенно пес успокоился и стал воспринимать классику с присущим ему вообще достоинством: молча и не завывая.

А между тем деревья совсем оголились и наступил ноябрь. Приближалась все ближе дата ее срока родить. Только ночами было трудновато поворачиваться, но это было самой большой неприятностью в ее нынешнем положении.

Емельян ее вечерами работал меньше, стараясь как можно больше времени посвятить ей. Они так же гуляли, беседовали и если и случались размовки, то касались они в первую очередь ее Блюза, который в последнее время так и норовил залезть к ним в кровать и

спать там. Как его не выпроваживал хозяин, как ни укладывал в такое же замечательное кресло у окна, как и внизу у кота, нет, он все равно полз к ним. Емельян считал, что это не очень хорошо для жены, а она мирилась и даже была рада, когда котяра обнимал ее своими лапами.

Как — то, когда было уже довольно поздно и ноябрьский вечер давно накрыл их дом и всю округу, Емельян сказал:

— Осталось не так много времени. Скажи, что бы ты хотела, чтобы было в комнате к твоему возвращению?

— Что хотела бы? Ой, ну, наверное, высокий столик, чтобы легче было пеленать. А остальное — что решишь.

— Нет, я знаю, что ты давно хотела иметь одну вещь.

— Не помню.

— Еще один столик, такой, на колесиках, чтобы барышня чай могла попить, не спускаясь вниз. — Она засмеялась, так как понимала, что все не о том говорит и что Емельян ждет чего-то еще. Но чего? — она просто забыла.

— Ладно, сам соображу. Однажды в городе мы были в магазине и ты высматривала одну вещь. Но промолчала. А я запомнил.

— Какую же?

— Смеяться будешь. Скажи, что не станешь?!

— Не стану. Говори.

— Гамак.

Она засмеялась так безудержно, что он даже смутился: не ошибся ли? Но она успокоила:

— Все, вспомнила, да, с детства, с раннего детства мечтала о гамаке. Но при чем тут он сейчас? На дворе осень, скоро зима.

— А мы его в комнате оборудуем. Будешь лежать и покачиваться. Идет?

— Хорошо. Но можно и до лета потянуть.

— Что ж тянуть, когда моя веточка должна быть довольна и вообще...

— Что?

— Ну, быть вся в зелени.

— Где ты ее возьмешь среди зимы?

— Дайте, сударыня, только добро, а я разберусь.

К 26 ноября решили заранее отправиться в больницу, чтобы не быть застигнутыми врасплох.

Ильзе положили в отдельную палату и она много времени проводила в раздумьях. И даже писала про свои хирургические опыты и наблюдения. Она знала, что книга непременно получится. Раз у Емельяна получилась, то и у нее непременно допишется. Такое пособие многим будет полезно и интересно.

Прошло 27 и 28, то есть те числа, которые были для нее определены, но никаких признаков приближения родов не наступало. Все то же безмятежное состояние. Она даже спросила у врача, может быть, что-то ускорить? Но у врача были свои подсчеты и она ответила, что еще время есть.

Часто, глядя в окно, она вспоминала прошедшую зиму, которая, как казалось, была давно-давно: столько минуло событий. Природа за окном давно меняла свои цвета и от осени уже почти ничего не осталось. Зима, правда, еще не так бойко распоряжалась повсюду, но ее дыхание, приближение чувствовались определенно.

Когда запотевали окна, Ильзе рассматривала их узор и вспоминала своих дорогих импрессионистов. Эта неспешность кадров, их некоторая размытость, спокойствие и умиротворенность действовали на нее всегда тоже успокаивающе. Почему-то ей вспомнилось, как Сислей сказал, что писать любую картину он начинает с неба. В этом что-то было. Вот и она начинает рассматривать все, что за окном, сначала глядя на небо. Потом уже проступают деревья и все остальное. И картинки — то ей виделись все больше не зимние, а пронеслись перед ее глазами виды воды. «Водопой» того же Альфреда Сислея, образы воды, как, например, «Лодки на Сене» Ренуара и все, что так или иначе связано с пахнувшей, цветущей листвой и травой, с водой и

мостоми. Ничего, что так или иначе напоминало бы зиму, она почти не представляла. Вообще деревенские или загородные пейзажи все больше занимали ее воображение. Она даже не думала о городе, почти не вспоминала о нем.

Утром 30 ноября в семь часов она проснулась от необычного ощущения ломоты и резкой боли. Через некоторое время боль отпустила, а спустя минут двадцать возникла снова. Ильзе прислушалась к себе и поняла, что все, началось. Она поднялась и пошла на пост. Хотя могла и вызвать медсестру к себе. Но понимала, что та спит еще и просто хотела прогуляться и до конца понять, что с ней.

Ирочка, что дежурила сегодня, была уже на ногах и даже выговорила Ильзе за то, что та поднялась. Пошла сразу же за дежурным врачом и велела Ильзе ложиться. Пришла докторша, сказала, что очень все вовремя и что через часик все подтянутся остальные и что пора приступать. Ее перевели в другую палату, пред родовую, стали проводить всякие манипуляции, означающие подготовку. Ильзе отмечала, что схватки, а начались, естественно, схватки, становятся то чаще, то отпускают совсем. И подумала еще, как хорошо, что она дотянула до этого числа, ей так хотелось именно эту цифру.

Действительно, пришла врач, которая все время наблюдала ее и сказала, что вся история еще часов на пять, не меньше.

Ильзе не стала звонить мужу, решила, что не стоит беспокоить его раньше времени. Пусть все идет своим чередом!

И начались эти последние часы перед родами. Было и очень тяжело, и казалось, что она уже не вынесет боли и такого напряжения. Но потом что-то отпустило в ее внутреннем механизме и она могла хоть чуточку отдышаться. И действительно, время шло, а пока ничего еще не произошло. Она спрашивала, когда же, ей отвечали, что уже скоро, и что все пройдет без всяких операций, которые тоже рассматривались

как вариант. Среди этих перепадов страха, боли и почти покоя она вспоминала свои встречи со странными людьми из прошлого, задавалась вопросом, зачем в ее жизни это необходимо было и находила единственный ответ, простой и ясный: значит, так было надо. Для умножения сил, для сравнения, для возможности разобраться в себе и в подлинной силе. Для лучшего и более глубокого познания самой себя, наконец. Почему-то она была уверена, что больше не встретит их, что связь прервалась и она вступила совершенно в иную полосу своей жизни.

А-а-а! — кричала она, не веря, что когда-то все закончится. Ей что-то кололи, поддерживая сердце, утирали со лба пот, а все не получалось разрешиться. «Господи, помоги мне, помоги, прости меня», — шептала Ильзе, со страхом и надеждой ожидая того, что вот-вот, совсем скоро должно было свершиться. Как ей хотелось всего: счастья, прихода Емельяна, пробежки по их найденной уже тропинке, пирожков, которые она научилась печь, бани, которую можно было бы истопить и помыться, нового платья, непременно сиреневого цвета, ладно, можно и песочного а — а — а — а и еще... еще услышать звук колокола там, в церкви Емельяна, а потом, потом... Это потом расплылось в огромный красный шар, который становился почти нереальным по своей величине и яркости и наконец она поняла неведомым, вовсе даже неосязаемым своим чувством, что это уже не она кричит а — а — а — и что, наконец, это ей говорят, говорят, но что? А-а, кажется ей... Говорят, —поздравляем, смотрите, это ваш малыш... Но что такое? Почему малыш? Почему не говорят «мальчик»? Что это, так принято? Кто ее так ласково поглаживает? А-а, понятно, вижу: мальчик, мой мальчик. Господи, где я? Я еще живая? Спаси меня, Господи, я все, я все снесу, я научусь. Это он, мой... правильно, мой сын... И зовут его, его зовут... Илия. Я давно так решила, потому что и я была тогда, еще давно, еще неизвестно, в какие времена таким мальчишкой... Ладно, потом.

**Дым обрывает мысль,  
Молчанье в доме,  
Цепляюсь за карниз,  
7-я сверху в томе.**

**Кричу — спасите,  
Вы видите — вишу.  
Меня, пропащую, найдите,  
Я на небо спешу.**

**Раздайте за меня  
Все слезы нищим,  
Очарованью вопреки —  
Бросайте вниз,**

**Я никогда не стану  
Лишней,  
А только плавно  
Протанцую брыз.**

**Запомнили? 7-я сверху!  
Вы там найдете мой ответ  
На тот вопрос,  
Что все не задаете  
И так и длится  
Вечный ваш допрос.**

**Прошу вас, хватит,  
Не томите больше,  
Веревка еле держит  
За балкон,  
И не зовите маму больше,  
Мне руки режет,  
Жизнь — на кон!**



**Все! Полетела, падаю, не ждите,  
И не зовите быстрых лошадей.  
Меня увидите? Так звездам не скажите,  
Что их любила больше, чем людей.**

**И так хотела превратиться в чудо  
Весны и снега, падающих звезд  
Тебя, беспечного, я ждать не буду,  
А только вслушиваться в шум берез.**

Ее отвезли в палату, где уже находился, где ее ждал муж, Емельян Обручев. И у нее родился сын, Илия Емельянович Обручев. Но отчетливо соображать она еще не могла. У нее даже не было мыслей, как когда-то, наверное, у тех перволюдей, которые жили одними инстинктами, а не мыслями и уж тем более не чувствами. Она перемещалась в другое, свое, земное измерение через боль, через обретение, через слабое пока понимание появившейся новой жизни. Что-то стало с сознанием и она провалилась в сон. И там, держа своего малыша на руках, в прелестном своем зеленом платье и на пуантах кружилась вместе с ним и напевала:

**Тандю— батман —  
И раз — и два**

Потом действительно кружилась голова, уплывала земля, которая еще вчера, кажется, поменяла свои очертания на более отчетливые и в которых присутствовал он, ее муж, которому она так и не сказала эти вечные слова... Непременно, потом, не теперь. Теперь танец... Все кружится...

**Так что же? Знаю, ты спала,  
И вряд ли сон свой сберегла,  
А нынче, выгорев дотла,**

**Ты норовишь дойти до дна,  
Где песня танец обняла.  
И все звучат, звучат слова:  
Раз — два, раз-два, раз-два, раз-два.**

Емельян склонился над ней, вытер полотенцем ее лицо, прекрасное лицо своей зеленой веточки и заплакал. Его никто не видел, он знал, что только один в этой палате может видеть свою жену, что напряжение, в котором он пребывал последние три часа, наконец рассыпалось. Ильзе спала и ему показалось, что она улыбается во сне.

Потом в палату снова пришли, сказали, что она теперь долго должна отдыхать, что с малышом все в порядке, а а ему лучше уехать и тоже набраться сил.. Он кивал головой и помнил лишь одно: что там у заветной двери услышал крик и понял, что это не голос его жены, а новый, еще незнакомый, но уже вполне родной голос его ребенка. Он уехал. Потом приезжал еще неделю и целую неделю она была в клинике: так надо было из-за сердца, берегли его. И только на восьмой день решили: можно ехать домой.

Ильзе уже ходила по коридору, уже разговаривала со своим мужем, но главное — она уже кормила своего сына и могла видеть его каждую минуту, каждое мгновение, когда только не спала.

Когда их стали готовить к выписке и одевать в распашонку и заворачивать в голубого цвета одеяльце, она не выдержала: обняла толстую сестру Ирочку и заревела. «Что это с вами? Ведь все хорошо!» — «Ничего, я так...» — «Это вы от счастья, я уж знаю». — «Наверное».

Когда, наконец, они вышли к машине, простившись с целой свитой медперсонала, она посмотрела на небо и подумала, что сегодня пойдет дождь. И точно. Ехали медленно, не гнали, и где-то к середине дороги начался дождь. А ведь была уже зима, и был декабрь. И снова ей вспомнилась такая же прошлогодняя пора

и как наращивала свои права зима и все же не устояла: и тогда, вот так же неожиданно пошли дожди и все лили и лили. Словно перепутали все на свете правила природного свойства, а устанавливали свои, никому пока неведомые, но такие живительные и светлые, что не было большой разницы: дождь ли, снег ли — лишь бы продолжалась жизнь и можно было бы смотреть на небо, которое даже в непогоду излучало свой особый свет.

## ЭПИЛОГ

Мальчик Илия рос крепким и выносливым. Постепенно мужал, становился старше, а потом и вовсе стал взрослым. Его родителям тоже прибавлялись годы, но с возрастом они все больше укреплялись как в профессии, так и в своей любви, которая никуда не подевалась с годами. У Емельяна вышла долгожданная книжка, да не одна, Ильзе завершила большую работу по экстремальной хирургии. И ничто не омрачало жизнь двух людей, которые словно взялись сказать миру, что не только в драмах и конфликтах зреет и совершенствуется чувство, что бывает достаточно верить, любить и делать свое дело.

Ильзе узнали очень многие люди, обращались за помощью и она стала для своего края незаменимой. Емельян по-прежнему служил в храме, отлучался в город, преподавал. Каждый был занят делом. И — домом. Своим Илией — тоже.

Однако всю жизнь подле себя ребенка не удержишь. Вот и у них сложилось так, что сын, став взрослым, поехал сначала учиться, затем и работать в другую страну. Нет, не в Грецию. Это была далекая Аргентина, и ничего общего не имел этот край с прекрасной Грецией. Поехал он туда с другом, которого звали Александром и с которым они дружили еще со времен института. Оба были рослые, красивые, знали языки и механику.

Потом, как и положено, у Илии образовалась собственная семья и он нередко навещался к своим немолодым уже родителям на свою родину. Летом помогал отцу мастерить что-то в доме, на крыше, в саду. У тех уже имелось небольшое хозяйство: куры, козы и лошадь. Ее почему-то звали Парус. Наверное потому, что взгляд у нее всегда был устремлен куда-то вдаль, словно она ждала кого-то или была готова к встрече с кем-то.

Никто из предыдущей жизни больше не встречался Ильзе и только изредка, совсем нечасто вспоминала

она то время, когда запросто могла переместиться в другое пространство и встретиться со своим предком.

Как скажешь, что люди жили счастливо? Что это означает? — конец страсти, романа, любви? Совсем нет. Просто то созидательное, что было в обоих, устремилось не на ссоры и препирательства, а на благо и во благо других. Уйдя из привычного мира, они совсем не стали отшельниками, одиночками. Просто выбрали такой путь и он был им ближе самого прекрасного города на Земле и самого престижного дома. Они жили, любили и были счастливы. А это — такая редкость.

*6 сентября – 25 ноября 2008 года.*

*г. Москва*

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Несколько слов в преддверии романа

**3**

Часть первая  
**ПРИУГОТОВЛЕНИЕ**

**9**

Часть вторая  
**ЕМЕЛЬЯН**

**148**

Эпилог

**301**

ЭТОТ ТЕКСТ БУДЕТ НА ОБЛОЖКЕ!!!

Автор этой книги – доктор искусствоведения, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова. Ее перу принадлежат книги, посвященные современному состоянию телевидения, театра, а также ведущему направлению в современном искусстве – постмодернизму. Писатель, поэт, драматург, Наталия Барабаш соединяет в своем творчестве приверженность русской классической традиции, в частности, психологическому насыщению образов героев, иронию, стремление погрузиться в мир вымышленный, ирреальный, однако, все же существующий. Часто даже научные монографии пронизаны стихами, что в конечном счете «работает» на основную идею произведения, полнее и многограннее раскрывая его.

Настоящий роман продолжает линию, начатую в «Отступнике», где герой легко перемещается из реальности в мир фантазий и где философская лирика сочетается с глубиной раскрытия характеров.

*Наталия Александровна КРИВИЦКАЯ-БАРАБАШ*

## ПРОЛЬЁТСЯ ДОЖДЬ ЗИМОЙ

Оригинал-макет *О. Колмиссарова*

Сдано в набор 14.01.09. Подписано в печать  
Формат 84x108/32. Гарнитура «Баскервиль».  
Тираж 500 экз. Заказ  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19.

Издательство «Серебряные нити»  
129224, Москва, Варсонофьевский пер., 8

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в Коломенской межрайонной типографии